

Марк Твен

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОЮЗДЕТКНИЗДАТ»

В историко-фантастическом романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» повествуется о приключениях американского мастера-оружейника, который переносится из XIX века в век VI.

- [Марк Твен](#)

- [Предисловие](#)
- [Несколько пояснительных замечаний](#)
- [Рассказ незнакомца](#)
- [Повесть о пропавшей стране](#)
 - [1. Камелот](#)
 - [2. Двор короля Артура](#)
 - [3. Рыцари Круглого Стола](#)
 - [4. Сэр Дайнадэн-Шутник](#)
 - [5. Вдохновение](#)
 - [6. Затмение](#)
 - [7. Башня Мерлина](#)
 - [8. Хозяин](#)
 - [9. Турнир](#)
 - [10. Первые ростки цивилизации](#)
 - [11. Янки в поисках приключений](#)
 - [12. Медленная пытка](#)
 - [13. Свободные люди!](#)
 - [14. «Защищайся, лорд!»](#)
 - [15. Рассказ Сэнди](#)
 - [16. Фея Моргана](#)
 - [17. Королевский пир](#)
 - [18. В темницах королевы](#)
 - [19. Странствующее рыцарство как ремесло](#)
 - [20. Замок людоеда](#)
 - [21. Паломники](#)
 - [22. Священный источник](#)
 - [23. Восстановление источника](#)
 - [24. Маг-конкурент](#)
 - [25. Конкурсный экзамен](#)
 - [26. Первая газета](#)
 - [27. Янки и король путешествуют инкогнито](#)
 - [28. Дрессировка короля](#)
 - [29. Оспа](#)
 - [30. Трагедия усадьбы](#)
 - [31. Марко](#)
 - [32. Посрамление Даули](#)
 - [33. Политическая экономия шестого века](#)
 - [34. Янки и король проданы в рабство](#)
 - [35. Печальное приключение](#)

- [36. Встреча во мраке](#)
- [37. Ужасное положение](#)
- [38. Сэр Ланселот и рыцари приходят на помощь](#)
- [39. Поединок янки с рыцарями](#)
- [40. Три года спустя](#)
- [41. Отлучение](#)
- [42. Война](#)
- [43. Битва в Песчаном Поясе](#)
- [44. Постскрипtum Кларенса](#)
- [Заключительный постскрипtum автора](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
-

Марк Твен

Янки из Коннектикута при дворе короля Артура

Предисловие

Грубые законы и обычаи, о которых говорится в этой повести, исторически вполне достоверны, и эпизоды, их поясняющие, тоже вполне соответствуют тому, что нам рассказывает история. Автор не берется утверждать, что все эти законы и обычаи существовали в Англии именно в шестом веке; нет, он только утверждает, что раз они существовали в Англии и в других странах в более позднее время, то можно предположить, не опасаясь стать клеветником, что они существовали уже и в шестом веке. У нас есть все основания считать, что, если описанный здесь закон или обычай не существовал в те отдаленные времена, его с избытком заменял другой закон или обычай, еще более скверный.

Вопрос о том, существует ли в действительности такая вещь, которую называют божественным правом королей, в этой книге не затронут. Он оказался слишком сложным. Очевидно и бесспорно, что главой исполнительной власти в государстве должен быть человек высокой души и выдающихся способностей; столь же очевидно и бесспорно, что один только бог может, не опасаясь ошибиться, избрать такого человека; отсюда с очевидностью и бесспорностью следует, что избрание его нужно предоставить богу и что размышление приводит к неизбежному выводу, что главу исполнительной власти всегда избирает бог. Так по крайней мере казалось автору этой книги до тех пор, пока он не натолкнулся на таких представителей исполнительной власти, как мадам Помпадур, леди Кастлмен^[1] и прочие в том же роде; их до такой степени трудно было зачислить в разряд божьих избранников, что автор решил эту книгу (которая должна выйти к осени) посвятить другим вопросам, а потом, накопив побольше опыта, приналечь и вопрос о наследственном праве королей разрешить в следующей книге. Вопрос этот должен быть разрешен во что бы то ни стало, а зимой мне, кстати, делать будет нечего.

Марк Твен.

Несколько пояснительных замечаний

С забавным незнакомцем, о котором я собираюсь рассказать, я встретился в Варвикском замке^[2]. Он мне понравился тремя своими свойствами: искренним простодушием, изумительным знанием старинного оружия и еще тем, что в его присутствии можно было чувствовать себя совершенно спокойно, так как все время говорил он один. Благодаря своей скромности мы очутились с ним в самом хвосте людского стада, которое водили по замку, и он сразу же стал рассказывать мне в высшей степени любопытные вещи. Его речи, мягкие, приятные, плавные, казалось, незаметно уносили из нашего мира и нашего времени в какую-то отдаленную эру, в старую, позабытую страну; он постепенно так околдовал меня, что мне стало чудиться, будто меня окружают возникшие из праха призраки древности и будто я беседую с одним из них! О сэре Бедивере, о сэре Ворсе де Ганисе, о сэре Ланселоте Озерном, о сэре Галахаде и о других славных рыцарях Круглого Стола он говорил совершенно так же, как я говорил бы о своих ближайших личных друзьях, врагах или соседях; и каким старым-престарым, невыразимо старым, и выцветшим, и высохшим, и древним показался мне он сам! Внезапно он повернулся ко мне и сказал так просто, как говорят о погоде или других обыденных вещах:

— Вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую?

Я ответил, что не случалось. Он не обратил на мой ответ никакого внимания, как будто бы и в самом деле разговор шел о погоде. Наступило молчание, которое сразу же нарушил скучный голос наемного проводника.

— Древняя кольчуга шестого века, времен короля Артура и Круглого Стола, по преданию, принадлежала рыцарю сэру Саграмору Желанному^[3]. Обратите внимание на круглое отверстие между петлями кольчуги с левой стороны груди; происхождение этого отверстия неизвестно, предполагают, что это след пули. Очевидно, кольчуга была пробита после изобретения огнестрельного оружия. Быть может, в нее выстрелил из озорства какой-нибудь солдат Кромвеля.^[4]

Мой знакомый улыбнулся, — улыбка у него была какая-то странная; так, быть может, улыбались много сотен лет назад, — и пробормотал про себя:

— Что скрывать! Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга. — Затем, помолчав, прибавил: — Я сам ее пробил.

При этом замечании я вздрогнул, как от электрического тока. Когда я пришел в себя, его уже не было.

Весь вечер я просидел у камина в Варвик-Армсе, погруженный в думы о древних веках; за окнами стучал ветер. Время от времени я заглядывал в старинную очаровательную книгу сэра Томаса Мэлори, полную чудес и приключений, вдыхал ароматы позабытых столетий и опять погружался в думы. Была уже полночь, когда я прочел на сон грядущий еще один рассказ — о том...^[5]

...как сэр Ланселот убил двух великанов и освободил замок

«...Вдруг появились пред ним два огромных великана, закованные в железо до самой шеи, с двумя страшными дубинами в руках. Сэр Ланселот прикрылся щитом, отразил нападение одного из великанов и ударом меча раскроил ему голову. Другой

великан, сие увидев и опасаясь страшных ударов меча, кинулся бежать, как безумный, а сэр Ланселот помчался за ним во весь дух и ударом в плечо разрубил пополам. И сэр Ланселот вступил в замок, и навстречу ему вышли трижды двенадцать дам и дев, и пали перед ним на колени, и возблагодарили господа и его за свое освобождение. „Ибо, сэр, — сказали они, — мы томимся здесь в заточении уже целых семь лет и вышиваем шелками, чтобы снискать себе пропитание, а между тем мы благороднорожденные женщины. И да будет благословен тот час, в который ты, рыцарь, родился, ибо ты более достоин почестей, чем любой другой рыцарь во вселенной, и должен быть прославлен; и мы все умоляем тебя назвать свое имя, чтобы мы могли поведать своим друзьям, кто освободил нас из заточения“. — „Прелестные девы, — сказал он, — меня зовут сэр Ланселот Озерный“. И он покинул их, поручив их богу. И он сел на коня и посетил многие чудесные и дикие страны и проехал через многие воды и доли, но не был принят подобающим ему образом. Наконец однажды, к вечеру, ему случилось приехать в прекрасную усадьбу, и там его встретила старая женщина благородного происхождения, которая оказала ему должный прием и позаботилась о нем и его коне. И когда настало время, хозяйка отвела его в красивую башню над воротами, где для него было приготовлено удобное ложе. И сэр Ланселот снял латы, положил оружие рядом с собой, лег в постель и сразу уснул. И вот вскоре подъехал всадник и стал торопливо стучаться в ворота. И сэр Ланселот вскочил и глянул в окно и при свете луны увидел невдалеке трех рыцарей, которые, пришпорив коней, догоняли стучавшего в ворота. Приблизившись, они замахнулись на него мечами, а тот повернулся к ним и, как подобает рыцарю, защищался. „Поистине, — сказал сэр Ланселот, — я должен помочь сему рыцарю, который один сражается против трех, ибо если его убьют, я буду повинен в его смерти и позор падет на меня“. И он надел латы, и спустился из окна по простыне к четырем рыцарям, и громким голосом прокричал: „Эй, рыцари, сражайтесь со мной и не троньте этого рыцаря!“ Тогда они все трое оставили сэра Кэя и набросились на сэра Ланселота, и началась великая битва, ибо рыцари спешили и стали наносить сэру Ланселоту удары со всех сторон. Сэр Кэй двинулся вперед, чтобы помочь сэру Ланселоту. „Нет, сэр, — сказал Ланселот, — я не нуждаюсь в вашей помощи; если вы действительно хотите помочь мне, дайте мне одному расправиться с ними“. Сэр Кэй, чтобы сделать ему удовольствие, исполнил его желание и отошел в сторону. И сэр Ланселот шестью ударами поверг их на землю.

Тогда они, все трое, взмолились: „Сэр рыцарь, мы покоряемся тебе, ибо нет тебе равного по силе!“ — „Я не нуждаюсь в вашей покорности, — ответил сэр Ланселот, — вы должны покориться не мне, а сэру Кэю, сенешалю. Если вы согласны покориться ему, я дарую вам жизнь; если не согласны, я убью вас“. — „Прекрасный рыцарь, — возразили они, — мы не хотим лишаться своей чести, ибо сэра Кэя мы преследовали до самых ворот замка, и мы одолели бы его, если бы не ты; зачем же нам ему покоряться?“ — „Как хотите, — сказал сэр Ланселот, — вам предстоит сделать выбор между жизнью и смертью, а покориться вы можете только сэру Кэю“. — „Прекрасный рыцарь, — сказали они тогда, — чтобы спасти жизнь, мы поступим так, как ты нам повелеваешь“. — „В ближайший троицын день, — сказал сэр Ланселот, — вы должны явиться ко двору короля Артура, изъявить свою покорность королеве Гиневре, препоручить себя ее милосердию и сказать ей, что вас прислал к ней сэр Кэй и повелел вам стать ее пленниками“. Наутро сэр Ланселот проснулся рано, а сэр Кэй еще спал; и сэр Ланселот взял латы сэра Кэя, и его щит, и его оружие, пошел в

конюшню, сел на его коня и, простившись с хозяйкой, уехал. Вскоре проснулся сэр Кэй и не нашел сэра Ланселота; и заметил, что тот унес его оружие и увел его коня. „Клянусь, многим из рыцарей короля Артура придется испытать немало горя, ибо, введенные в заблуждение моими доспехами, они будут храбро нападать на сэра Ланселота, принимая его за меня. Я же, надев его латы и прикрываясь его щитом, доеду в полной безопасности“. И, поблагодарив хозяйку, сэр Кэй отправился в путь...»

Не успел я отложить книгу, как в дверь постучали, и вошел мой давешний незнакомец. Я предложил ему трубку и кресло и принял его как мог любезнее. Я налил ему стакан горячего шотландского виски, налил еще стакан, надеясь услышать его историю. После четвертого стакана он заговорил сам, просто и естественно:

Рассказ незнакомца

Я американец. Родился я и вырос в Хартфорде, в штате Коннектикут ^[6], в пригороде, сразу за рекой. Я янки из янки и, как подобает настоящему янки, человек практичный; до всякой чувствительности, говоря иначе — поэзии, я чужд. Отец мой был кузнец, мой дядя — ветеринар, и сам я в юности был и кузнецом и ветеринаром. Потом я поступил на оружейный завод и изучил мое теперешнее ремесло, изучил его в совершенстве: научился делать все — ружья, револьверы, пушки, паровые котлы, паровозы, станки. Я умел сделать все, что только может понадобиться, любую вещь на свете; если не существовало на свете новейшего способа изготовить какую-нибудь вещь быстро, я сам изобретал такой способ, и это мне ровно ничего не стоило. В конце концов меня назначили старшим мастером; две тысячи человек работало под моим надзором.

На такой должности надо быть человеком боевым — это само собой понятно. Если под вашим надзором две тысячи головорезов, развлечений у вас немало. У меня во всяком случае их было достаточно. И в конце концов я нарвался и получил то, что мне причиталось. Вышло у меня недоразумение с одним молодцом, которого мы прозвали Геркулесом. Он так хватил меня ломом по голове, что череп затрещал, а все швы на нем разошлись и перепутались. Весь мир заволочла тьма, и я долго ничего не сознавал и не чувствовал.

Когда я очнулся, я сидел совершенно один под дубом на траве, в прелестной местности. Впрочем, не совсем так: рядом находился еще какой-то молодец, он сидел верхом на лошади и смотрел на меня сверху вниз, — таких я видывал только в книжках с картинками. Весь он с головы до пят был покрыт старинной железной броней; голова его находилась внутри шлема, похожего на железный бочонок с прорезями; он держал щит, меч и длинное копье; лошадь его тоже была в броне, на лбу у нее торчал стальной рог, и пышная, красная с зеленым, шелковая попона свисала, как одеяло, почти до земли.

— Прекрасный сэръ, вы готовы? — спросил этот детина.

— Готов? К чему готов?

— Готовы сразиться со мной из-за поместий, или из-за дамы, или...

— Что вы ко мне пристаёте? — сказал я. — Убирайтесь к себе в цирк, а не то я отправлю вас в полицию.

Что же он тогда, по-вашему, сделал? Он отъехал ярдов на двести и поскакал во весь опор прямо на меня, склонив свой железный бочонок к шее лошади и выставив вперед длинное копье. Я увидел, что он не шутит, и когда он доскакал до меня, я был уже на дереве.

Тогда он объявил, что я его собственность, пленник его копья. Доводы его показались мне весьма убедительными; и так как на его стороне были все преимущества, я решил не возражать ему. Мы заключили соглашение: я пойду с ним, куда он прикажет, а он не будет меня обижать. Я слез с дерева, и мы отправились в путь; я шагал рядом с его конем. Мы двигались с ним, не торопясь, через поля и ручьи, и я очень удивлялся, что никогда прежде этих полей и ручьев не видал; сколько я ни вглядывался, никакого цирка я так и не увидел. Наконец я перестал думать о цирке и решил, что незнакомец сбежал из сумасшедшего дома. Но и сумасшедшего дома не было видно, и я стал в тупик. Я спросил его, далеко ли мы от Хартфорда. Он ответил, что никогда не слыхал такого названия; я решил, что он врет, но пререкаться с ним не хотел. Через час мы заметили вдаль город, лежавший в долине, на берегу извилистой реки, а над городом, на холме, стояла большая серая крепость с башнями и бастионами, — впервые в жизни я увидел такую крепость наяву.

— Бриджпорт? ^[7] — спросил я, указав рукой на город.

— Камелот^[8], — сказал он.

Моему незнакомцу, видимо, очень хотелось спать. Он сам несколько раз ловил себя на том, что клюет носом, и, наконец, улыбнувшись своей трогательной старомодной улыбкой, сказал:

— Я больше не в силах рассказывать. Идемте ко мне, у меня все записано; я дам вам свои записи — если хотите, можете прочесть их.

Когда мы вошли к нему в комнату, он проговорил:

— Вначале я вел дневник, а потом, много лет спустя, переработал его в книгу. О, как давно это было!

Он вручил мне рукопись и указал место, с которого я должен был начать чтение.

— Начните отсюда, — все, что случилось прежде, я вам уже рассказал.

Он совсем засыпал. Направляясь к двери, я услышал, как он сонно пробормотал:

— Доброй ночи, прекрасный сэра.

Я сел у камина и принялся разглядывать свое сокровище. Первая и большая часть записей была сделана на пергаменте, пожелтевшем от времени. Я тщательно изучил один листок и убедился, что это палимпсест^[9]. Из-под неразборчивых древних строк, написанных историком-янки, выступали следы других строк, еще менее разборчивых и еще более древних, — латинские слова и фразы, вероятно отрывки древних монашеских сказаний. Я перелистал рукопись до места, указанного мне незнакомцем, и стал читать...

Вот что я прочел:

1. Камелот

— Камелот... Камелот... — говорил я себе. — Нет, никогда не слышал я такого названия. Вероятно, так называется сумасшедший дом.

Местность вокруг нас, спокойная и мирная, была прелестна, как мечта, и совершенно пустынна. Воздух был полон аромата цветов, жужжанья насекомых, пения птиц, но нигде не было видно ни людей, ни повозок. Дорога, по которой мы двигались, была в сущности узкой извилистой тропкой с отпечатками копыт и кое-где по бокам со следами колес на примятой траве, — колес с ободьями шириной в ладонь.

Внезапно мы повстречали хорошенькую девочку лет десяти, с золотыми волосами, струившимися по плечам. На голове у нее был венок из огненно-красных маков. Приятно было на нее глядеть, так шел к ней этот венок. Она брела не торопясь, и на невинном ее личике отражалось спокойствие души. Мой спутник не обратил на нее никакого внимания, наверно даже не заметил ее. А она? Она несколько не удивилась его фантастическому наряду, словно ежедневно встречала людей в латах, и прошла мимо него так же равнодушно, как прошла бы мимо коровы. Но что стало с девочкой, когда она увидела меня! Она подняла руки и окаменела от удивления; рот ее раскрылся, глаза испуганно расширились; вся она была воплощением любопытства, смешанного со страхом. Так она и стояла, глядя на меня, словно прикованная, пока мы не скрылись за поворотом лесной дороги. И я никак не мог понять, почему девочку поразил я, а не мой спутник; и почему она именно мне уступила честь считаться диковинным зрелищем, в то время как эта честь по праву принадлежала ей самой? Такое великодушие достойно удивления в столь юном существе. Тут было над чем призадуматься. Я шел как во сне.

Чем ближе мы подходили к городу, тем оживленнее становилось вокруг. Мы проходили то мимо какой-нибудь ветхой лачуги с соломенной крышей, то мимо небольших полей или садов, возделанных допотопным способом. Попадались нам и люди — похожие на рабочий скот здоровяки с длинными жесткими нечесаными волосами, падавшими им прямо на лицо. И мужчины и женщины были одеты в домотканые рубахи, спускавшиеся ниже колен, на ногах у них была грубая обувь, похожая на сандалии. У многих я видел на шее железный обруч. Маленькие мальчики и девочки ходили совсем голые, но никто, казалось, этого не замечал. И все эти люди глазели на меня, говорили обо мне, кидались со всех ног в лачуги и вызывали оттуда родных — посмотреть на меня. Вид же моего спутника несколько их не удивлял; они ему смиренно кланялись, но он не отвечал на поклоны.

В городе среди разбросанных в беспорядке лачуг с соломенными крышами стояло несколько больших каменных домов без окон; вместо улиц были кривые немощеные дорожки; полчища псов и голых ребятишек шумно играли на солнцепеке; свиньи рылись повсюду, — одна из них, вся облепленная грязью, разлеглась в огромной вонючей луже посреди главной улицы и кормила поросят. Внезапно издали донеслись звуки военной музыки. Звуки приближались, становились все громче, и я увидел кавалькаду всадников, которая казалась необычайно пышной благодаря султанам на шлемах, и сверканию лат, и колыханью знамен, и богатству одежд, и конским попонам, и золоченым остриям копий. Кавалькада торжественно двигалась по грязи среди свиней, голых ребятишек, веселых псов, ободранных лачуг, и мы последовали за нею. Мы шли в гору, все выше и выше, миновали одну грязную улочку, потом другую, пока, наконец, не взобрались на вершину холма, где стоял огромный замок. Протрубил рог; в замке в ответ тоже протрубил рог; начались переговоры; нам отвечали со стен, где под кольшущимися знаменами с грубыми изображениями драконов расхаживали воины в шишаках и панцирях, с алебардами на плечах. Затем распахнулись огромные ворота, опустился

подъемный мост, и предводитель кавалькады двинулся вперед, под суровые своды; и мы, следуя за ним, оказались на просторном мощеном дворе, огороженном башнями и башенками, со всех четырех сторон поднимавшимися в голубизну небес; вокруг нас раздавались учтивые приветствия, всадники слезали с коней, шла веселая суета, полная пестроты, беготни, веселой неразберихи и шума.

2. Двор короля Артура

Улучив минуту, я ускользнул в сторонку, толкнул в плечо одного старичка, попроще на вид, и доверительно шепнул ему:

— Сделайте, друг, одолжение. Скажите, вы служите в этом сумасшедшем доме или просто пришли навестить кого-нибудь из родных?

Он тупо поглядел на меня и сказал:

— Прекрасный сэр, мне кажется...

— Довольно, — сказал я. — Вы, я вижу, тоже пациент.

Я отошел и, призадумавшись, стал поглядывать, не замечу ли где случайно прохожего в здравом уме, который мог бы что-нибудь мне объяснить. Наконец мне показалось, что я нашел такого. Я подошел к нему и шепнул ему на ухо:

— Как бы мне на минутку повидать старшего смотрителя? Только на одну минутку...

— Не препятствуй мне...

— Как вы сказали?

— Не мешай, если тебе это слово понятней.

Он объяснил, что он помощник повара и что у него сейчас нет времени на болтовню; потом он охотно со мной поболтает, так как ему до смерти хочется узнать, где я достал свою одежду. Тут он ткнул куда-то пальцем, сказав, что вот более подходящий для меня собеседник — у него много свободного времени, и к тому же он, без сомнения, меня ищет. Передо мною стоял тоненький мальчик в ярко-красных штанах, которые придавали ему сходство с раздвоенной на конце морковкой; верхняя его одежда была сшита из голубого шелка и кружев; на длинных светлых кудрях сидела розовая атласная шапочка с пером, кокетливо сдвинутая на ухо. Судя по лицу, он был добр, судя по походке — весьма доволен собой. Хорошенький мальчик — хоть вставляй в рамку!

Он подошел ко мне, улыбнулся и, осмотрев меня с нескрываемым любопытством, сказал, что послан за мною и что он глава пажей.

— Какая ты глава, ты одна строчка! — сказал я ему.

Это было несколько жестоко с моей стороны, но я не мог сдержать раздражения. Впрочем, он, кажется, даже не заметил, что ему следовало обидеться. Идя со мною рядом, он болтал и смеялся легкомысленно, радостно, по-мальчишески, и мы с ним сразу подружились; он задавал мне множество вопросов и обо мне и о моей одежде, но ответов не дожидался, а продолжал болтать напропалую, забыв о том, что только что спрашивал; так он болтал до тех пор, пока нечаянно не выболтал, что родился в начале 513 года.

Я вздрогнул, остановился и спросил слабым голосом:

— Я, кажется, ослышался. Повтори... повтори медленно, отдельно... В каком году ты родился?

— В пятьсот тринадцатом.

— В пятьсот тринадцатом! Глядя на тебя, этого не скажешь! Послушай, мой мальчик, я здесь чужой, друзей у меня нет; будь со мною честен и правдив. Ты в своем уме?

Он ответил, что в своем уме.

— И все эти люди тоже в своем уме?

Он ответил, что они тоже в своем уме.

— А разве здесь не сумасшедший дом? Я имею в виду заведение, где лечат сумасшедших.

Он ответил, что здесь не сумасшедший дом.

— Значит, — сказал я, — либо я сам сошел с ума, либо случилось что-то ужасное. Скажи

мне честно и правдиво, где я нахожусь?

— При дворе короля Артура.

Я помолчал минуту, чтобы вполне усвоить смысл этих слов, затем спросил:

— Какой же, по-твоему, теперь год?

— Пятьсот двадцать восьмой, девятнадцатое июня.

У меня заняло сердце, и я пробормотал:

— Никогда больше не увижу я моих друзей, никогда, никогда. Им суждено родиться через тринадцать с лишним столетий.

Я почему-то поверил, что мальчик сказал правду, — сам не знаю почему. Я поверил ему сердцем, но разум верить отказывался. Мой разум восставал, и вполне естественно. Я не знал, как справиться со своим разумом, свидетельства других людей не могли бы мне помочь, — мой разум объявил бы этих людей безумными и не принял бы их доводов во внимание. И вдруг, по какому-то наитию, мне в голову пришла замечательная идея. Я знал, что единственное полное солнечное затмение в первой половине шестого века произошло 21 июня 528 года, и началось оно ровно в три минуты после полудня. Знал я также, что астрономы не ожидали полного солнечного затмения в том году, который я считал текущим, то есть в 1879. Следовательно, если тревога и любопытство не сокрушат окончательно моего сердца за ближайшие сорок восемь часов, я буду иметь возможность с достоверностью установить, правда ли то, что сказал мне мальчик, или нет.

А потому, будучи практичным коннектикутцем, я отложил разрешение всей этой загадки до намеченного дня и часа, перестал об этом думать и сосредоточил все свое внимание на обстоятельствах данной минуты, чтобы использовать их по возможности выгоднее. «Приберегай козыри!» — вот мой девиз, но уж ходить так ходить, хотя бы у тебя на руках ничего, кроме двоек и валета, не было. Я принял два решения: если сейчас все-таки девятнадцатый век, и я нахожусь среди сумасшедших, и мне отсюда не выбраться, — я не я буду, если не стану хозяином этого сумасшедшего дома; если же, напротив, сейчас действительно шестой век, так тем лучше, — я через три месяца буду хозяином всей страны: ведь я самый образованный человек во всем королевстве, так как родился на тринадцать веков позже их всех. Я не из тех людей, которые, приняв решение, теряют время, — и я сказал пажу:

— Послушай, Кларенс, мой мальчик, если я верно угадал твое имя, введи меня, пожалуйста, в курс дела. Как зовут того, который привел меня сюда?

— Моего и твоего господина? Это славный рыцарь и благородный лорд сэра Кэй, сенешаль, молочный брат нашего повелителя, короля.

— Хорошо, продолжай, расскажи мне все, что ты о нем знаешь.

Он рассказывал долго. Но вот что в его рассказе имело непосредственное ко мне отношение. По его словам, я был пленником сэра Кэя и согласно обычаю, меня заточат в темницу и будут держать там на воде и хлебе до тех пор, пока мои друзья не выкупят меня, если я сам прежде не сдохну. Я видел, что у меня гораздо больше шансов сдохнуть, чем быть выкупленным, но не стал расстраиваться, чтобы не терять даром драгоценного времени. Паж сказал далее, что обед в большом зале уже подходит к концу и что, чуть только начнется беседа и попойка, сэра Кэй повелит позвать меня, покажет королю Артуру и его славным рыцарям, сидящим за Круглым Столом, и начнет хвастать подвигом, который он совершил, захватив меня в плен; при этом он, по всей вероятности, будет немножко преувеличивать, но мне не следует поправлять его: это неучтиво, да и не безопасно; а когда на меня вдоволь насмотрятся — марш в темницу; но он, Кларенс, непременно найдет способ навещать меня время от времени и постарается передать весточку моим друзьям.

Передать весточку моим друзьям! Я поблагодарил его: мне ничего другого не оставалось.

Тут к нам подошел лакей и сказал, что меня зовут; Кларенс ввел меня в замок, усадил и сам сел рядом со мной.

Я увидел зрелище забавное и прелюбопытное. Огромный зал с почти голыми стенами, в котором все было полно кричащих противоречий. Он был очень, очень высок, этот зал, так высок, что в сумраке, сгущавшемся наверху, едва можно было различить знамена, свешивавшиеся со сводчатых балок и брусьев потолка. По обеим концам зала шли высокие галереи, огороженные каменными перилами, — на одной сидели музыканты, а на другой женщины, ослепительно ярко одетые. Пол был вымощен большими каменными плитами, истоптанными, щербатыми и нуждавшимися в замене. Украшений, говоря по правде, не было никаких; впрочем, по стенам висели большие ковры, которые, вероятно, считались произведениями искусства; на них были изображены битвы, но кони напоминали тех, которых лепят из пряничного теста или которых дети вырезают из бумаги, а люди были покрыты чешуйчатой броней, причем чешуйки заменялись круглыми дырочками, так что казалось, будто по всей кольчуге прошла вилка, которой накальвают печенье. В зале находился камин, такой огромный, что в нем мог расположиться целый лагерь; обрамленный колоннами из резного камня, он напоминал врата собора. Вдоль стен стояли воины в панцирях и шлемах, они держали в руках алебарды — никакого другого оружия у них не было — и стояли так неподвижно, что их можно было принять за статуи.

Посреди этой крытой и мощеной рыночной площади стоял дубовый стол, который называли Круглым Столом. Он был обширен, как цирковая арена; вокруг него сидело множество мужчин в таких пестрых и ярких одеждах, что глазам было больно смотреть на них. На головах у них были шляпы с перьями; они приподнимали эти шляпы только тогда, когда обращались к королю.

Большинство было занято выпивкой, — они пили из цельных бычьих рогов; некоторые жевали хлеб или глодали бычьи кости. На каждого человека приходилось не менее двух псов; псы сидели выжидая и, когда кто-нибудь швырял им кость, разом кидались к ней целыми бригадами и дивизиями; начинался бой — головы, туловища, мелькающие хвосты смешивались в беспорядочную кучу, поднимался такой неистовый вой и лай, что всякий разговор приходилось прекращать; но на это никто не жаловался, потому что собачьи драки были интереснее любого разговора; мужчины порой вскакивали, чтобы лучше видеть, и бились об заклад, которая собака победит, а дамы и музыканты перегибались через перила; и со всех сторон раздавались восторженные восклицания. В конце концов пес-победитель удобно вытягивался на полу, рядом с полсотней других победителей, держа в лапах кость, и с ворчанием грыз ее, пачкая пол, а придворные принимались за прежние свои занятия и развлечения.

В общем речи и манеры этих людей были изящны и учтивы; и, насколько я мог заметить, они в промежутках между собачьими драками выслушивали своих собеседников дружелюбно и внимательно. Притом они были по-детски простодушны; каждый из них чудовищно врал с обезоруживающей наивностью и охотно слушал, как врут другие, всему веря. Представление о жестоком и страшном не вязалось с ними; а между тем они с таким искренним упоением рассказывали о крови и муках, что я даже перестал содрогаться.

Я был не единственным пленником в зале. Кроме меня, было еще человек двадцать, а может и больше. Многие из этих несчастных были изувечены, исцарапаны, изранены самым страшным образом; их волосы, их лица, их одежда были выпачканы засохшей черной кровью. Они, безусловно, очень страдали от усталости, голода и жажды; и никто не дал им умыться, никто из простого милосердия не позаботился об их ранах; и, однако, сколько бы вы ни слушали, вы никогда не услышали бы от них ни одного стога, сколько бы вы ни смотрели, вы не

заметили бы никакого беспокойства, никакого желания пожаловаться. И я невольно подумал: «Они, как видно, в свое время сами так же обращались с другими; и теперь, когда настала их очередь, они ничего лучшего не ждут. Следовательно, их философское смирение вовсе не результат мысли, самообладания, силы ума; они терпеливы, как животные; они попросту белые индейцы».

3. Рыцари Круглого Стола

Беседы за Круглым Столом были в сущности монологами. Рыцари рассказывали друг другу, как они захватывали пленных, убивали их друзей и сторонников и забирали коней и оружие. Насколько я мог судить, эти убийства совершались не из мести за обиду, не из старой вражды, не из-за внезапных ссор; нет, это по большей части были поединки между незнакомыми людьми, между людьми, которые не были даже представлены друг другу и не сделали друг другу ничего дурного. Не раз случалось мне видеть, как два мальчика, незнакомые и случайно встретившиеся, говорили в один голос: «Вот я тебе задам!» — и принимались драться; но до сих пор я полагал, что так поступают только дети и что это свойственно исключительно детскому возрасту; однако эти большие дети поступали точно так же и гордились своими поступками, несмотря на почтенный возраст. И все-таки в этих больших простодушных существах было что-то милое и привлекательное. Правда, мозгов в этой огромной детской не хватило бы и на то, чтобы насадить их на рыболовный крючок для приманки; но мозги в подобном обществе и не нужны, — напротив, они только мешали бы и всех стесняли, лишили бы это общество его законченности и, пожалуй, сделали бы невозможным самое его существование.

Почти у всех были приятные и мужественные лица; многие из этих рыцарей держались с таким достоинством и такой учтивостью, что всякая критика невольно должна была бы умолкнуть. Особенной добротой и чистотой дышало лицо того, кого они называли сэром Галахадом, и лицо короля; а в огромном теле и в горделивой осанке сэра Ланселота Озерного было много настоящего величия.

Внезапно случилось происшествие, которое привлекло к сэру Ланселоту всеобщее внимание. По знаку какого-то человека, по-видимому церемониймейстера, шесть или восемь пленников выступили вперед, упали на колени, подняли руки к галерее, на которой сидели дамы, и принялись просить о позволении молвить слово королеве. Дама, сидевшая на самом видном месте в этом цветнике женской красоты и изысканности, наклонила голову в знак согласия. Тогда один из пленников от лица всех заявил, что он предает себя и всех своих товарищей в руки королевы, предоставляя ей право помиловать их, потребовать за них выкуп, заточить в темницу или предать их смерти, как она пожелает; далее он заявил, что обращается к ней по повелению сэра Кэя, сенешаля, который всех их взял в плен, победив в честном бою.

Изумление появилось на всех лицах; благодарная улыбка исчезла с лица королевы, — услышав имя сэра Кэя, она была явно разочарована; и паж с язвительнейшей насмешкой шепнул мне на ухо:

— Сэр Кэй, как же! Так я и поверю! Можете назвать меня девчонкой, милые мои, или морской крысой! Людям придется две тысячи лет ломать себе головы, чтобы придумать еще одну такую же чудовищную чепуху.

Глаза всех испытующе и строго устремились на сэра Кэя. Но он оказался на высоте положения. Он встал и величаво взмахнул рукой. Он объявил, что сейчас расскажет все, как было, придерживаясь только фактов; он расскажет истинную правду, без всяких добавлений.

— И тогда, — сказал сэр Кэй, — вы воздадите честь и хвалу сидящему здесь могущественнейшему из героев, когда-либо носивших щит и сражавшихся мечом в рядах христианских воинств! — И он указал рукой на сэра Ланселота.

Это было здорово придумано, он поразил всех. Затем Кэй рассказал, как сэр Ланселот в поисках приключений убил семерых великанов одним взмахом своего меча и освободил сто сорок томившихся в плену дев; как он двинулся дальше, навстречу новым приключениям, и увидел его (сэра Кэя) в неравном бою с девятью иноземными рыцарями; как сэр Ланселот один

вызвал их на бой и победил всех девятерых; как следующей ночью сэр Ланселот встал потихоньку, надел латы сэра Кэя, взял коня сэра Кэя и поехал на том коне в дальние страны и в одном бою победил шестнадцать рыцарей, а в другом бою — тридцать четыре; и как всех побежденных, и этих и прежних, он заставил поклясться, что в троицын день они явятся ко двору Артура и предадут себя в руки королевы Гиневры, назвав себя пленниками сэра Кэя, сенешаля, и добычей его рыцарской доблести; и вот полдюжины уже явилось, а остальные явятся, чуть только излечатся от своих жестоких ран.

Трогательно было видеть, как улыбалась и краснела королева, как смущена и счастлива была она и как бросала украдкой такие взгляды на сэра Ланселота, что, будь это в Арканзасе [\[10\]](#), его сразу бы застрелили.

Все восхваляли доблесть и великодушие сэра Ланселота; а я дивился тому, каким образом один человек может победить и взять в плен столько опытных воинов. Я высказал свое недоумение Кларенсу, но этот ветреный насмешник ответил:

— Если бы сэр Кэй успел влить в себя еще один мех кислого вина, побежденных было бы вдвое больше.

Внезапно по лицу мальчика пробежало облако такого глубокого уныния, что мне стало жаль его. Я глянул туда, куда глядел он, и заметил очень старого белобородого человека в развевающемся черном одеянии, который, стоя перед столом на нетвердых ногах и слабо покачивая дряхлой головой, обводил присутствующих мутным, блуждающим взором. На всех лицах появилось то же страдальческое выражение, что и на лице пажа, — предчувствие мучений, на которые нельзя даже пожаловаться.

— Господи, опять! — вздохнул мальчик. — Опять теми же самыми словами расскажет ту же самую древнюю скучную историю, которую он уже так часто рассказывал и будет рассказывать до самой смерти всякий раз, когда от кружки вина у него заработает воображение. Почему я не умер и дожил до этого дня!

— Кто он?

— Мерлин, могущественный чародей и великий лжец. Пропади он пропадом! Он так надоел нам своей единственной сказкой! Все боятся его, потому что он повелевает бурями и молниями и дьяволы ада послушны ему, — а то мы давно выпустили бы ему кишки, чтобы покончить с его сказкой. Он всегда рассказывает ее в третьем лице, делая вид, будто он так скромн, что не хочет прославлять самого себя. Да будь он проклят! Да разразит его гром! Разбудите меня, пожалуйста, когда он кончит.

Мальчик опустил голову ко мне на плечо и притворился спящим. Старик начал свой рассказ; и мальчик сразу же заснул по-настоящему; заснули псы, заснули придворные, заснули лакеи и воины. Однообразно звучал скучный голос, со всех сторон доносился мерный храп, словно приглушенный аккомпанемент духовых инструментов. Кто сидел опустив голову на руки; кто откинулся назад и храпел, широко раскрыв рот; мухи жужжали и кусались — их перестали отгонять; из сотен нор вылезли крысы и бегали повсюду, чувствуя себя, как дома; одна из них, словно белка, взобралась на голову короля, в лапках она держала кусочек сыру и грызла его, с простодушным бесстыдством посыпая лицо короля крошками. Это была мирная сценка, успокоительная для усталого зора и измученной души.

Вот что рассказывал старик:

— ...Итак, король и Мерлин отправились в путь и приехали к отшельнику, который был добрым человеком и великим знахарем. Отшельник осмотрел раны короля и дал ему славные снадобья; и король прожил там три дня, и раны его исцелились; и они двинулись в путь. И в пути Артур сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал Мерлин, — я добуду тебе меч». Они доехали до большого, глубокого озера; и видит Артур: из озера, на самой его середине,

поднялась рука в белом парчовом рукаве, и в руке той — меч. «Вот, — сказал Мерлин, — тот меч, о котором я говорил тебе». Они увидели деву, которая шла по берегу озера. «Что это за дева?» — сказал Артур. «Это владычица озера, — сказал Мерлин. — Посреди озера есть скала, на которой стоит замок — самый прекрасный замок на всей земле, сейчас эта дева приблизится к тебе и, если ты будешь говорить с ней учтиво, даст тебе тот меч». И дева подошла к Артуру и приветствовала его, и он ее тоже. «Дева, — сказал Артур, — чей это меч держит рука над водою? Я хотел бы, чтобы он стал моим, ибо у меня нет меча». — «Сэр Артур, король, — сказала дева, — это мой меч, и если ты дашь мне в дар то, что я у тебя попрошу, то этот меч станет твоим». — «Клянусь, — сказал Артур, — я подарю тебе все, что ты попросишь». — «Хорошо, — сказала дева, — садись в ту лодку, гребки к мечу и возьми его вместе с ножнами, а я явлюсь к тебе за обещанным даром, когда придет время». Сэр Артур и Мерлин слезли с коней, привязали их к двум деревьям, сели в лодку и поплыли к руке, державшей меч; и сэр Артур схватил меч за рукоять и вырвал его. И рука скрылась под водой, а они вернулись на сушу и поехали дальше. И сэр Артур увидел роскошный шатер. «Чей это шатер?» — «Это шатер сэра Пеллинора, — сказал Мерлин, — рыцаря, с которым ты недавно сражался, но сейчас его нет в этом шатре, он отправился сражаться с твоим рыцарем, славным Эгглемом; и они бились долго, и Эгглем бежал, спасаясь от неминуемой смерти, и сэр Пеллинор гнал его до самого Карлиона, и мы сейчас встретимся с ним на большой дороге». — «Я рад этому, — сказал Артур, — теперь у меня есть меч, и я вступлю в бой с этим рыцарем и отомщу ему». — «Сэр, ты не должен вступать с ним в бой, — сказал Мерлин, — ибо этот рыцарь сейчас утомлен битвой и долгой погоней и мало чести сразиться с ним; кроме того, этот рыцарь таков, что нет ему равного на свете; и вот тебе мой совет: не трогай его, дай ему проехать мимо, ибо вскоре он сослужит тебе хорошую службу, а когда он умрет, тебе будут служить его сыновья. Настанет день, когда ты будешь счастлив выдать за него свою сестру». — «Увидев его, я поступлю так, как ты мне советуешь», — сказал Артур. Сэр Артур осмотрел свой меч и остался им доволен. «Что тебе больше нравится, — сказал Мерлин, — меч или ножны?» — «Мне больше нравится меч», — сказал Артур. «Не мудр твой ответ, — сказал Мерлин, — ибо эти ножны в десять раз драгоценней меча; до тех пор пока на тебе эти ножны, тебя никто не ранит и ты не потеряешь ни капли крови; никогда не расставайся с этими ножнами». Возле Карлиона они встретили сэра Пеллинора; однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил Артура и проехал мимо, не сказав ни слова. «Удивляюсь, — проговорил Артур, — отчего этот рыцарь ничего не сказал?» — «Сэр, — ответил Мерлин, — он не видел тебя; ибо если бы он тебя увидел, вы расстались бы не так легко». И они прибыли в Карлион, где веселились рыцари Артура. Слушая рассказ о приключениях своего короля, рыцари дивились тому, что король так охотно подвергает опасности свою королевскую жизнь. Но наиболее прославленные из них заявили, что приятно служить королю, который подобно простым бедным рыцарям, странствует и ищет приключений.

4. Сэр Дайнадэн-Шутник

На мой взгляд, эта странная небылица была рассказана просто и прелестно; но я слушал ее впервые, а это совсем другое дело, — она и остальным, без сомнения, нравилась, пока не надоела.

Сэр Дайнадэн-Шутник проснулся первым и разбудил остальных шуткой, которую нельзя было назвать слишком остроумной. Он привязал большой кувшин к хвосту пса и отпустил его; пес, обезумев от страха, широкими кругами помчался по комнате; остальные псы с воем и лаем устремились за ним, опрокидывая и ломая все, что попадалось, подняв невообразимый шум и грохот. Мужчины и женщины хохотали так, что слезы капали из глаз; многие попадали со стульев и в восторге катались по полу, — совсем как дети. Сэр Дайнадэн-Шутник был столь горд своей выдумкой, что не мог удержаться и без конца надоедливо рассказывал, как пришла ему в голову эта бессмертная мысль; и, подобно всем шутникам такого сорта, он продолжал смеяться, когда кругом уже никто не смеялся. Он был так доволен собой, что решил произнести речь, разумеется шуточную. Никогда в жизни я не слышал столько избитых шуток. Он острил хуже любого эстрадника, хуже любого циркового клоуна. Как грустно было сидеть там за тридцать сотен лет до своего рождения и снова слушать жалкие, плоские, изъеденные червями остроты, от которых меня уже корбило тринадцать столетий спустя, когда я был маленьким мальчиком. Я почти пришел к убеждению, что новую остроту выдумать невозможно. Все смеялись этим древним шуткам, — но что поделаешь, древним шуткам смеются всегда и везде; я уже заметил это много столетий спустя. Однако настоящий насмешник не смеялся, — я говорю о мальчике. Нет, он подтрунивал над шутником, — он всегда и над всем подтрунивал. Он говорил, что большинство шуток сэра Дайнадэна просто глупы, а остальные — настоящие окаменелости. Я сказал ему, что слово «окаменелость» в применении к остротам мне очень нравится; я убежден, что древние остроты следует классифицировать по геологическим периодам. Но мальчик не вполне понял мою шутку, потому что в те времена геология еще не была изобретена. Однако я записал это удачное сравнение в свою записную книжку, надеясь осчастливить им общество, если мне когда-нибудь удастся вернуться в девятнадцатый век. Не бросать же хороший товар только оттого, что рынок еще не созрел для него.

Снова поднялся сэр Кэй, и снова заработала его фабрика вранья, но на этот раз топливом был я. Тут уж мне стало не до шуток. Сэр Кэй рассказал, как он встретился со мной в далекой стране варваров, облаченных в такие же смешные одеяния, как мое; одеяния, созданные волшебством и обладающие свойством делать тех, кто их носит, неуязвимыми. Однако он уничтожил силу волшебства молитвой и в битве, длившейся три часа, убил тринадцать моих рыцарей, а меня самого взял в плен, сохранив мне жизнь, чтобы показать как достойное удивления чудо королю и его двору. При этом он все время лестно именовал меня то «громادным великаном», то «подпирающим небеса чудовищем», то «клыкастым и когтистым людоедом»; и все простодушно верили этой чепухе, и никто не смеялся, никто даже не замечал, сколь не соответствуют эти невероятные преувеличения моей скромной особе. Он говорил, что, пытаясь удрать от него, я вскочил на вершину дерева в двести локтей вышины, но он сбил меня оттуда камнем величиной с корову, причем переломал мне все кости и затем взял с меня клятву, что я явлюсь ко двору короля Артура на суд. Кончил он тем, что приговорил меня к смерти. Казнь мою он назначил в полдень 21-го числа; при этом он был так равнодушен к моей участи, что даже зевнул, прежде чем назвать дату.

Я пришел в такое отчаяние, что даже не мог внимательно следить за спором о том, каким именно способом меня казнить; впрочем, многие вообще выражали сомнение, что меня удастся

убить, ибо на мне заколдованная одежда. А между тем на мне был самый обыкновенный костюм, купленный за пятнадцать долларов в лавчонке готового платья. При всем своем отчаянии я все-таки заметил одну подробность: эти знатнейшие в стране господа и дамы, собравшись вместе, произносили невзначай такие словечки, которые заставили бы покраснеть и дикого команча^[11]. Сказать, что они выражались неделикатно, было бы слишком мягко. Однако я читал «Тома Джонса» и «Родерика Рэндома» и другие книжки в том же роде и знал, что знатнейшие леди и джентльмены Англии еще столетие назад были столь же непристойны как в своих беседах, так и в своем поведении; только в нашем, девятнадцатом веке появились в Англии, — да, пожалуй, и в Европе, — первые настоящие леди и джентльмены. Что было бы, если бы Вальтер Скотт, вместо того чтобы вкладывать собственные слова в уста своих героев, позволил им разговаривать так, как они разговаривали в действительности? Ревекка, и Айвенго, и нежная леди Ровена заговорили бы так, что смутили бы любого бродягу нашего времени. Впрочем, бессознательная грубость — не грубость. Приближенные короля Артура не сознавали, что они невоспитанны, а я был настолько тактичен, что не дал им этого заметить.

Моя заколдованная одежда так беспокоила их, что они почувствовали большое облегчение, когда старый Мерлин дал им совет, полный здравого смысла. Он спросил их, почему они, тупицы этакие, не хотят раздеть меня. Через полминуты я был гол, как каминные щипцы! О боже, в этом обществе я оказался единственным человеком, которого смутила моя нагота. Все разглядывали и обсуждали меня с такой бесцеремонностью, словно я был кочан капусты. Королева Гиневра смотрела на меня с тем же простодушным любопытством, как и все остальные, и даже сказала, что никогда в жизни не видела таких ног, как у меня. Это был единственный комплимент, которого я удостоился, если подобное замечание можно назвать комплиментом.

В конце концов меня потащили в одну сторону, а мою заколдованную одежду — в другую. Я был брошен в темную и тесную камеру темницы, где должен был довольствоваться какими-то жалкими объедками вместо обеда, охапкой гнилой соломы вместо постели и множеством крыс вместо общества.

5. Вдохновение

Я был так утомлен, что, несмотря на страх и тревогу, сейчас же крепко заснул.

Проснулся я с ощущением, что проспал очень, долго. И прежде всего подумал: «Какой удивительный я видел сон! Не проснись я сейчас, меня повесили бы, или утопили, или сожгли, или... Подремлю еще до гудка, а там пойду на оружейный завод и посчитаюсь с Геркулесом».

Но тут загремели ржавые цепи и петли, свет хлынул мне в глаза, и передо мной возник этот мотылек Кларенс! Я разинул рот и чуть не задохнулся от изумления.

— Что! — сказал я. — Ты еще здесь? Сон кончился, а ты остался? Пропади!

Но он, со свойственным ему легкомыслием, только рассмеялся и принялся потешаться над моим печальным положением.

— Ну что же, — сказал я, сдаваясь. — Пусть сон продолжается. Я не тороплюсь.

— Какой сон?

— Как какой? Мне снится, что я нахожусь при дворе короля Артура, которого никогда не было, и что я разговариваю с тобой, хотя ты тоже всего только плод моего воображения...

— Ах, вот как! А то, что тебя завтра сожгут, — это тоже сон? Хо-хо! Ну-ка, что ты мне на это скажешь?

Эти слова заставили меня содрогнуться. Я начал понимать, что сон это или не сон, но положение мое крайне серьезно; ибо я по опыту знал, что сны порой бывают ярки, как настоящая жизнь, и быть сожженным, хотя бы во сне, далеко не шутка, и нужно во что бы то ни стало попытаться всеми правдами и неправдами избежать этого. И я начал умолять пажа:

— Ах, Кларенс, милый мальчик, мой единственный друг... ведь ты мне друг, не правда ли?.. Не покинь меня. Помоги мне бежать отсюда!

— Да ты понимаешь, о чем ты говоришь! Удрать? Да тут во всех проходах стоят воины.

— Верно, верно. Но сколько их, Кларенс? Неужели их много?

— Человек двадцать. На побег нет никакой надежды.

Помолчав, он нерешительно добавил:

— Побег невозможен и по другим причинам, более важным.

— По другим причинам? По каким же?

— Говорят... Нет, я не смею!.. Не смею!..

— Мой бедный мальчик, в чем дело? Отчего ты побледнел? Отчего ты так дрожишь?

— Ох, как мне не дрожать! Я бы все рассказал тебе, но...

— Полно, полно, будь отважен, будь мужчиной! Расскажи мне все, мой славный мальчик! — Он колебался между желанием рассказать и страхом; затем он подкрался к двери, выглянул, прислушался, наконец подошел ко мне вплотную, нагнулся к самому моему уху и сообщил мне ужасную тайну; он ежился от страха, словно говорил о вещах, одно упоминание о которых грозит смертью.

— Мерлин, полный злобы, оплел чарами эту темницу, и теперь во всем королевстве не найти столь отчаянного человека, который согласился бы перешагнуть ее порог вместе с тобой! Ну вот, я все тебе сказал, и да спасет меня господь! Ах, будь добр ко мне, будь милосерд к несчастному мальчику, который пожелал тебе блага, — ибо если ты выдашь меня, я пропал!

Давно уже я так от души не смеялся. Я закричал:

— Мерлин оплел чарами темницу! Мерлин, вот оно что! Этот дешевый старый обманщик, этот болтливый старый осел! Вздор, чистейший вздор, глупейший вздор на свете! По-моему, из всех ребяческих, идиотских, дурацких и трусливых суеверий это самое... Да ну его к черту, этого Мерлина!

Не успел я кончить, как Кларенс уже стоял передо мной на коленях; он, казалось, обезумел от страха.

— О, берегись! Твои слова ужасны! Если ты будешь так говорить, эти стены могут обрушиться и задавить нас. О, отрекись от своих слов, пока еще не поздно!

Этот странный испуг навел меня на размышления и внушил хорошую мысль. Если все здесь столь же честно и добросовестно, как Кларенс, верят в жульнические проделки Мерлина и так его боятся, так почему бы умному человеку вроде меня не воспользоваться своими преимуществами? Я стал размышлять и выработал план действий. Затем сказал:

— Встань. Возьми себя в руки. Посмотри мне в глаза. Ты знаешь, отчего я смеюсь?

— Нет, не знаю, но, ради пресвятой богородицы, не смейся больше.

— Я скажу тебе, отчего я смеюсь. Оттого, что я сам чародей!

— Ты?!

Пораженный мальчик отпрянул от меня и затаил дыхание — этого он не ожидал! Он сразу же проникся ко мне необычайным уважением, я это заметил; по-видимому, в этом сумасшедшем доме от обманщика не требуют никаких доказательств, все готовы и без доказательств поверить ему на слово. Я продолжал:

— Я знаю Мерлина уже семьсот лет. Он...

— Семьсот...

— Не перебивай меня. Он тринадцать раз умирал и тринадцать раз воскресал под новыми псевдонимами: Смит, Джонс, Джексон, Робинсон, Питерс, Хаскинс, Мерлин, — каждый раз у него новый псевдоним. Триста лет тому назад я встречался с ним в Египте; я встречался с ним в Индии пятьсот лет назад; всюду он мне становился поперек дороги, и это мне в конце концов надоело. Колдун он ерундовый: знает несколько старых трюков, никогда не шел он дальше самого начала — и никогда не пойдет. В провинции он еще может сойти — «только один раз, проездом»... Но выдавать себя за знатока, да еще в присутствии настоящего мастера, — это уже нахальство. Слушай, Кларенс, я всегда буду твоим другом, и ты тоже должен поступать со мной по-дружески. Сделай мне одолжение. Скажи королю, что я сам чародей, Великий Эй-Ты-Плюхни-В-Грязь, вождь всех чародеев, и втихомолку подготавливаю для них такое бедствие, что от них перья полетят, — пусть только посмеют послушаться сэра Кэя. Ты согласен передать это от меня королю?

Несчастный мальчик находился в таком состоянии, что с трудом отвечал мне. Он был до того напуган, растерян, сбит с толку, что жалко было смотреть на него. Однако он все обещал, а от меня потребовал только клятвы, что я навсегда останусь его другом и никогда не обращу против него свое чародейство. Затем он ушел, держась рукой за стену, словно у него кружилась голова.

Внезапно я сообразил, что поступил очень неосторожно. Успокоившись, мальчик, конечно, удивится тому, что я, такой могущественный чародей, прошу его, ребенка, помочь мне выбраться из темницы; он попробует связать одно с другим, все сопоставит и сразу поймет, что я обманщик.

Целый час я сетовал о своем промахе и ругал себя всякими словами. Но вдруг мне пришло в голову, что эти глупцы не рассуждают, что они никогда не связывают одно с другим, ничего не сопоставляют, что все их разговоры доказывают полную неспособность замечать противоречия. И я успокоился.

Но так уж устроено на свете, что человек, перестав беспокоиться об одном, начинает беспокоиться о другом. Я вдруг сообразил, что сделал еще одну ошибку: послал мальчика к его повелителю с какими-то страшными угрозами; он наговорит, что я, сидя здесь, в уединении, собираюсь наслать на них какую-то беду, — а ведь люди, столь жадно верящие в чудеса,

несомненно столь же жадны и до самих чудес. Что будет, если меня попросят сотворить какое-нибудь чудо? Предположим, меня спросят, какое именно бедствие я готовлю? Да, я сделал ошибку, нужно было сперва придумать это бедствие. Что сделать? Что сказать им, чтобы оттянуть время? Я снова волновался, отчаянно волновался... Шаги! Идут. На размышление у меня только одна минута... Готово! Придумал. Все в порядке.

Меня спасет затмение. Я внезапно вспомнил, как не то Колумб, не то Кортес, не то кто-то другой в этом роде, находясь среди дикарей, воспользовался затмением, как лучшим козырем для своего спасения; и в душе моей проснулась надежда. Этот козырь выручит и меня; я могу воспользоваться им, не боясь упрека в подражании, потому что я применю его почти на тысячу лет раньше, чем они.

Вошел Кларенс, покорный, подавленный, и сказал:

— Я поспешил передать твои слова нашему повелителю, королю, и он тотчас же вызвал меня к себе. Он до смерти перепугался и хотел уже отдать приказ немедленно тебя освободить, нарядить в роскошные одеяния и поселить с подобающими тебе удобствами; но тут вошел Мерлин и испортил все: он стал убеждать короля, что ты безумец и сам не понимаешь того, что говоришь; он заявил, что твоя угроза — глупость и пустая похвальба. Они долго спорили, но в конце концов Мерлин насмешливо сказал: «Почему он не назвал того бедствия, которое он нам готовит? Потому, что он не может его назвать». Этим он заткнул рот королю, и король ничего не мог ему возразить; но, поневоле вынужденный поступить с тобой неучтиво, он умоляет тебя войти в его положение и назвать бедствие, которым ты угрожаешь, — что это за бедствие и когда оно произойдет? О, прошу тебя, не медли; всякое промедление удвоит и утроит опасности, собравшиеся над твоей головой. О, будь благоразумен, назови то бедствие, которое ты собираешься нам ниспослать.

Я долго молчал, чтобы ответ мой прозвучал внушительнее, и затем проговорил:

— Сколько времени я сижу в этой яме?

— Тебя бросили сюда вчера под вечер. Сейчас девять часов утра.

— Ага! Значит, я прекрасно выспался. Сейчас девять часов утра! А тут темно, как в полночь. Итак, сегодня двадцатое?

— Да, двадцатое.

— А завтра меня сожгут живьем?

Мальчик задрожал.

— В котором часу?

— Ровно в полдень.

— Ну ладно, я тебе скажу, что передать королю.

Я умолк и целую минуту простоял перед мальчиком в зловещем молчании, затем заговорил глубоким, размеренным, роковым голосом, — и голос мой постепенно нарастал и нарастал, пока не стал громовым; и я торжественно и величаво провозгласил свою волю, — никогда в жизни я не говорил с таким благородным подъемом:

— Ступай к королю и скажи ему, что завтра в полдень я покрою весь мир мертвой тьмой полуночи; я потушу солнце, и оно никогда уже больше не будет сиять; земные плоды погибнут от недостатка света и тепла, и люди на земле, все, до последнего человека, умрут с голода!

Я сам вынес мальчика за порог, так как от страха он потерял сознание, передал его солдатам и вернулся в камеру.

6. Затмение

В тишине и мраке воображение мое заработало. Само по себе знание факта бледно, но когда вы начинаете представлять себе этот факт, он обретает яркие краски. Совсем разные вещи: услышать о том, что человека пырнули ножом в сердце, и самому увидеть это. В тишине и мраке сознание того, что я нахожусь в смертельной опасности, становилось все глубже и глубже; понимание этой опасности вершок за вершком проникало в мои жилы и леденило кровь.

Но благословенная природа устроила так, что ртуть в термометре человеческой души, упав ниже определенной точки, снова начинает подниматься. Возникает надежда, а вместе с надеждой и бодрость, и человек снова получает способность помогать самому себе, если еще возможно помочь. Я скоро воспрянул духом; я сказал себе, что затмение неизбежно спасет меня и сделает самым могущественным человеком во всем королевстве; и ртуть в термометре сразу же прыгнула кверху; все мои тревоги рассеялись. Я стал счастливейшим человеком на свете. Теперь я даже с нетерпением ждал завтрашнего дня, я жаждал насладиться своим великим торжеством, насладиться удивлением и благоговением всего народа. Кроме того, я сознавал, что с чисто деловой точки зрения это принесет мне немало выгод.

Тем временем в глубине моей души возникла новая догадка. Я почти уверился в том, что, когда этим суеверным людям сообщат, каким бедствием я им угрожаю, они испугаются и пойдут на компромисс. И, услышав приближающиеся шаги, я сказал себе: «Вот он, компромисс. Ну что ж, если он будет выгоден, я соглашусь на него; если же он будет невыгоден, я настою на своем и доведу игру до конца».

Дверь распахнулась, и в темницу вошли воины. Их предводитель сказал:

— Костер готов. Идем!

Костер?! Силы покинули меня, и я чуть не упал. В такие минуты трудно совладать с дыханием: спазмы сжимают горло. Однако, едва я настолько овладел собой, что мог говорить, я сказал:

— Это ошибка, казнь назначена на завтра.

— Приказ изменен: казнь перенесена на сегодня. Торопись!

Я погиб. Ничто мне уже не поможет. Я был ошеломлен, растерян, я потерял власть над собой, я метался из угла в угол, как помешанный; солдаты схватили меня, вытащили из камеры, поволокли по длинным подземным коридорам и вытолкнули наверх, на яркий дневной свет. Очутившись на просторном огороженном дворе замка, я вздрогнул, ибо прежде всего я увидел столб, торчавший посреди двора, а возле него кучу хвороста и монаха. Со всех четырех сторон двора высились ярусами скамьи, на которых ряд за рядом сидели зрители, сверкая пестротой одежд. Король и королева восседали на своих тронах, — их сразу можно было узнать в толпе.

Все это я разглядел в первое же мгновение. А во второе мгновение возле меня, вынырнув откуда-то, очутился Кларенс и, смотря на меня блестящими торжеством и счастьем глазами, зашептал мне на ухо:

— Это я их заставил перенести казнь на сегодня! Ну и пришлось же мне поработать! Едва я сообщил им, какое бедствие ты готовишь, и увидел, как они струсили, я понял, что удар нужно нанести немедленно. И я сразу же стал шептать одному, и другому, и третьему, что твоя власть над солнцем достигнет своей полной силы только завтра и что, если они хотят спасти солнце и вселенную, тебя нужно убить сегодня, пока твои чары еще не успели созреть. Клянусь честью, все это только ложь, случайная выдумка, но, замученные страхом, они так ухватились за эту выдумку, словно само небо ниспослало ее, чтобы спасти их; я сначала посмеивался про себя, а

потом возблагодарил господу за то, что он сделал ничтожнейшее из своих созданий орудием твоего спасения. Ах, как счастливо все сложилось! Тебе незачем гасить солнце навсегда, — смотри, не забудь об этом! Заклинаю тебя, напусти немножко темноты, самую малость, а потом дай ему сиять по-прежнему. Этого будет вполне достаточно. Они увидят, что я их обманул, — невольно, конечно, — и, чуть начнет темнеть, сойдут с ума от страха; они освободят тебя и возвеличат! Ступай же навстречу своему торжеству! Но помни... ах, милый друг, не забудь моей просьбы и не причиняй вреда благословенному солнцу! Ради *меня*, твоего вернейшего друга!

Угнетенный горем, я невнятно обещал пощадить солнце; и в глазах мальчика заблестала такая глубокая и влюбленная благодарность, что у меня не хватило духу выругать его за добросердечную глупость, которая погубила меня и обрекла на смерть.

Когда солдаты вели меня через двор, стояла такая тишина, что, будь у меня завязаны глаза, я мог бы вообразить, будто вокруг меня безмолвная пустыня, а не толпа в четыре тысячи человек. Все это огромное скопление народа было неподвижно; люди с побледневшими лицами застыли, как каменные изваяния; в глазах у них был ужас. Это безмолвие длилось, пока меня приковывали к столбу; оно длилось, пока обкладывали хворостом мои щиколотки, мои колени, мои бедра, мое туловище. И оно стало еще глубже, это молчание, когда к ногам моим склонился человек с пылающим факелом в руке! Толпа, вглядываясь, потянулась вперед; все невольно привстали со скамеек; монах простер руки над моей головой, воздел глаза к голубому небу и что-то забормотал по-латыни; он бормотал довольно долго и вдруг умолк. Я прождал несколько мгновений, затем взглянул на него: монах окаменел. Вся толпа, охваченная одним порывом, поднялась на ноги и смотрела в небо. Я тоже глянул в небо: черт возьми, затмение начинается! Я воспрянул духом, я ожил! Черный ободок все глубже входил в диск солнца, и мое сердце билось сильнее и сильнее; толпа и священнослужитель, застыв, не сводили глаз с неба. Я знал, что сейчас все они глянут на меня. И когда они на меня глянули, я был готов. Я придал своей осанке величавость и устремил руки к солнцу. Эффект получился потрясающий! Дрожь волной пробежала по всей толпе. И тут прозвучали два голоса, один вслед за другим:

— Зажигай!

— Зажигать запрещаю!

Первый — был голос Мерлина, второй — голос короля. Мерлин вскочил с места — вероятно, он хотел сам зажечь костер. Я сказал:

— Не двигайтесь! Того, кто двинется без моего разрешения, будь он самим королем, я поражу громом и испепелю молниями!

Как я и ожидал, вся толпа покорно опустилась на скамьи. Один только Мерлин несколько мгновений колебался; я с трепетом следил за ним. Но, наконец, сел и он, и я облегченно вздохнул, — теперь я был господином положения.

Король сказал:

— Будь милосерд, прекрасный сэр, останови это страшное дело, предотврати беду. Нам сказали, что твое могущество достигнет полной силы только завтра, но...

— Вы, ваше величество, хотите сказать, что вам солгали? Вы правы.

Это произвело необычайный эффект. Все простерли руки к королю, пламенно умоляя его откупиться от меня любой ценой, лишь бы я прекратил бедствие. Король охотно согласился. Он сказал:

— Назови свои условия, почтенный сэр! Можешь потребовать у меня хоть половину моего королевства, но положи конец этому бедствию, пощади солнце!

Удача мне была уже обеспечена, но я не в состоянии был остановить затмение: об этом не могло быть и речи. Я попросил, чтобы мне дали время на размышление. Король сказал:

— Долго ли ты будешь размышлять, добрейший сэр? Будь милосерд, погляди, с каждым мгновением становится все темнее. Прошу тебя, ответь, сколько времени нужно тебе на размышление?

— Немного. Полчаса, быть может — час.

Раздались тысячи страстных возражений, но я не мог сократить срок, так как не помнил, сколько времени продлится затмение. Да и вообще я не все понимал и хотел поразмыслить над своим положением. С затмением вышло что-то неладное, и это меня очень смущало. Если это не то затмение, на которое я рассчитывал, как мне узнать, действительно ли я перенесен в шестой век, или это мне только снится? Господи, как бы я хотел убедиться, что это сон! Во мне пробудилась надежда. Если мальчик не перепутал чисел и сегодня действительно двадцатое, значит я не в шестом веке. Я взволнованно схватил монаха за рукав и спросил его, какое сегодня число.

Черт побери! Он ответил, что сегодня двадцать первое. Когда я услышал ответ, меня охватил озноб. Я спросил его, не ошибся ли он; но он нисколько не сомневался, он знал наверняка, что сегодня двадцать первое. Итак, этот пустоголовый мальчишка опять все перепутал. Затмение началось как раз в тот самый час, когда должно было начаться; я сам это видел по стоявшим неподалеку солнечным часам. Да, я действительно нахожусь при дворе короля Артура и должен приложить все усилия, чтобы извлечь из этого положения как можно больше выгод.

Тьма все сгущалась, и горе охватило народ. Тогда я сказал:

— Я все обдумал, государь. Чтобы вас проучить, я не буду мешать тьме распространяться, — пусть ночь охватит весь мир; от вас самих будет зависеть, верну ли я солнце, или погашу его навсегда. Вот каковы мои условия: вы остаетесь королем над всеми своими владениями, и вам оказывают все почести, подобающие королевскому достоинству, но вы назначаете меня своим бессменным министром, обладающим всей полнотой исполнительной власти, и платите мне за мою службу один процент с того излишка доходов, который я надеюсь создать для государства. Если этого мне не хватит, я не стану просить прибавки. Подходят вам мои условия?

Раздался гром аплодисментов, и я услышал голос короля:

— Снимите с него узы, освободите его! Все, кто здесь есть, знатные и не знатные, богатые и бедные, воздайте ему почести, ибо отныне он будет правой рукой короля, он будет обладать всей полнотой власти и восседать на самой верхней ступени трона! Так рассей же эту надвигающуюся ночь, возврати нам свет и веселье, и весь мир благословит тебя!

Но я сказал:

— Если перед народом посрамлен обыкновенный человек, это еще не беда; но бесчестие пало бы и на самого короля, если бы те, кто видел его министра нагим, не увидели его вознагражденным за срам. Я хочу, чтобы мне принесли мою одежду...

— Нет, не такой одежды достоин ты теперь! — перебил король. — Принесите ему другое одеяние; оденьте его, как принца!

Мой замысел уже приносил плоды. Мне нужно было как-нибудь оттянуть время до полного затмения, не то они опять стали бы меня умолять рассеять тьму, а я, понятно, не мог этого сделать. Посылка за одеждой была отсрочкой, но недостаточной. И я придумал новую отговорку. Я сказал, что опасаясь, как бы король, поразмыслив, не передумал и не отменил впоследствии решения, принятого под влиянием внезапного порыва; поэтому я заставлю тьму еще немного сгуститься, и если король тем временем не изменит своих решений, я ее рассею. Это условие не понравилось ни королю, ни зрителям, но я был непреклонен.

Пока я мучился, натягивая на себя ужасные одежды шестого века, становилось все темней и

темней, черней и черней. Наконец стало темно, как в шахте, и вся толпа завывала от ужаса, почувствовав дуновение холодного, таинственного ночного ветра и увидев в небе мерцающие звезды. Вот оно, полное затмение. Один я радовался ему, все остальные пришли в отчаяние, что, впрочем, вполне естественно. Я сказал:

— Король своим молчанием подтверждает все, что он обещал.

Затем я воздел руки к небу, простоял так несколько мгновений и возгласил как мог торжественнее:

— Да рассеются чары, да сгинут они без вреда!

Меня окружала глубокая тьма, и ответом мне была мертвая тишина. Но когда через несколько мгновений из тьмы вынырнул серебряный ободок солнца, весь двор огласился громкими криками и меня прямо захлестнул потоп благословений и благодарностей; среди благословляющих и благодарящих Кларенс был, конечно, не последним.

7. Башня Мерлина

Я стал вторым лицом в королевстве, получив в свои руки всю полноту государственной власти, и отношение ко мне было отличное! Меня одевали только в шелк, бархат и золотую парчу — то есть очень пышно и очень неудобно. Впрочем, я знал, что со временем привыкну к этому одеянию. Если не считать тех апартаментов, в которых жил сам король, я занимал лучшие комнаты в замке. Стены их были обиты пестрыми шелками, но на каменных полах вместо ковров лежали циновки самой грубой ручной работы да к тому же какие-то косые и кривые. Удобств, по правде сказать, не было никаких. Я говорю о мелких удобствах, о тех мелких удобствах, которые собственно и делают жизнь приятной. Огромные дубовые кресла, украшенные грубой резьбой, были, правда, недурны, но ведь одними креслами не обойдешься. Не было ни мыла, ни спичек, ни зеркала, кроме одного металлического, в котором так же трудно себя увидеть, как в ведре с водой. И ни одной цветной рекламы страховой компании на стене. За много лет я так привык к цветным рекламам, что страсть к искусству проникла в мою кровь и стала частью меня самого, хотя я о том и не догадывался. При виде этих чванливых, пышных, но бездушных стен меня охватывала тоска по родине, и я вспоминал наш домик в Восточном Хартфорде, где, несмотря на всю его незатейливость, в каждой комнате висит цветное объявление о страховании или по крайней мере напечатанный в три краски девиз: «Благословение дому сему!»; а в гостиной у нас девять цветных объявлений. Здесь же, даже на стенах моего министерского парадного зала, не было ни одной картинки, если не считать какой-то штуки величиной с одеяло, не то вытканной, не то вышитой (в некоторых местах она была заштопана), на которой все изображенные предметы поражали неправильностью раскраски и формы; а уж велики они были так, что и сам Рафаэль, даже после того как он поработал над теми кошмарами, которые именуются его «знаменитыми Хэмптонкортскими картонами» [\[12\]](#), не мог бы намалевать их крупнее. Рафаэль — важная птица. У нас было несколько его картинок; на одной изображена «чудесная ловля рыбы», где он сам умудрился совершить чудо: посадить трех мужчин в такой челнок, который опрокинулся бы от одной собаки. Я всегда с восхищением изучал произведения Рафаэля, они так свежи и безыскусственны.

Во всем замке не было ни звонка, ни телефона. Слуг мне дали множество; те из них, которые дежурили, толкались в прихожей, но когда нужно было позвать их, я вынужден был сам идти за ними. Не было ни газа, ни свечей; бронзовая чаша, наполовину наполненная тем маслом, которое подают к столу в меблированных комнатах, и плавающая в масле зажженная тряпка — вот что там называлось освещением. Множество таких чаш висело по стенам, чуть рассеивая тьму, которая от этого казалась еще мрачней. Если вы вечером выходили со двора, слуги несли перед вами факелы. Не было ни книг, ни перьев, ни бумаги, ни чернил, ни стекол в тех отверстиях, которые там именовались окнами. Казалось бы, пустяковая вещь стекло, но когда его нет, оно перестает быть пустяком. Однако хуже всего было отсутствие сахара, кофе, чая и табака. Я был похож на Робинзона Крузо, попавшего на необитаемый остров, — подобно ему, мне приходилось довольствоваться обществом домашних животных, и, чтобы сделать жизнь хоть сколько нибудь сносной, я должен был поступать, как он: изобретать, придумывать, создавать, изменять то, что уже существует; я должен был беспрестанно работать мозгами и руками. Что ж, это как раз в моем вкусе.

Одно тревожило меня вначале — то необыкновенное любопытство, с которым все относились ко мне. Казалось, весь народ хотел на меня поглядеть. Вскоре стало известно, что затмение перепугало всю Британию до смерти, что, пока оно длилось, вся страна от края и до края была охвачена безграничным ужасом и все церкви, обители и монастыри были

переполнены молящимися и плачущими людьми, уверенными, что настал конец света. Затем все узнали, что эту страшную беду наслал иностранец, могущественный волшебник, живущий при дворе короля Артура, что он мог потушить солнце, как свечку, и собирался это сделать, но его упростили рассеять чары, и что теперь его следует почитать, как человека, который своим могуществом спас вселенную от разрушения, а народы — от гибели. Если вы примете в расчет, что этому поверил каждый, и не только поверил, но даже ничуть не усомнился, вы поймете, что во всей Британии не было ни одного жителя, который не прошел бы охотно пятидесяти миль пешком, чтобы взглянуть на меня. Естественно, только обо мне и было разговору, ни о ком другом не говорили; даже к королю стали относиться равнодушно и без всякого любопытства. Через двадцать четыре часа начали прибывать делегации, и прибывали в течение целых двух недель. Все окрестные деревни были переполнены народом. По двенадцать раз в сутки мне приходилось показываться почтительным и благоговейным толпам. Конечно, это было очень утомительно и отнимало много времени, но, с другой стороны, разумеется, приятно чувствовать себя знаменитым и окруженным таким поклонением. Старикашка Мерлин зеленел от злости, и это доставляло мне большое удовольствие. Но была одна вещь, которой я не мог понять: никто не просил у меня автографа. Я упомянул об этом при Кларенсе. Черт побери, мне пришлось объяснять ему, что такое автограф! Он сказал, что во всей стране никто не умеет ни читать, ни писать, кроме нескольких десятков попов. Ну и страна!

Было еще одно обстоятельство, которое меня несколько тревожило. Все эти толпы жаждали нового чуда. Дело понятное. Хорошо, вернувшись домой из дальнего странствия, похвастать, что ты собственными глазами видел человека, которому повинуется солнце в небе, и тем возвеличить себя в глазах соседей, но еще лучше иметь возможность сказать, что ты собственными глазами видел, как он творил чудеса. Тут уж люди станут приходить издалека, чтобы посмотреть на тебя самого. На меня здорово наседали. Предстояло лунное затмение, и я знал число и час, когда оно должно совершиться, но до него было еще слишком далеко. Два года. Я много бы дал за возможность приблизить это событие и использовать его теперь же, когда на рынке стоял такой большой спрос на затмения. Жаль, что оно пропадет зря и совершится тогда, когда никому не принесет никакой пользы.

Если бы оно было назначено, предположим, через месяц, я бы заранее продал его, так сказать на корню, но при данном положении толку от него никакого не было, и я даже думать о нем перестал. А тут Кларенс обнаружил, что старый Мерлин тайком мутит народ. Он распространял слухи, что я мошенник и что я не делаю никаких чудес только оттого, что не умею. Что-то нужно было предпринять. И я тут же изобрел план действий.

Воспользовавшись своею властью, я заточил Мерлина в темницу, в ту камеру, где сидел прежде сам. Затем я с помощью герольдов и глашатаев известил народ, что в течение ближайших двух недель я буду занят государственными делами, когда же две недели пройдут, улучу свободную минуту и уничтожу пламенем, сошедшим с небес, каменную башню Мерлина; а пока лица, распускающие обо мне злостные сплетни, кто бы они ни были, пусть поостерегутся. Далее я предупредил, что чудо, которое я собираюсь совершить, будет последним. Но если и это чудо кого-нибудь не удовлетворит и сплетни будут продолжаться, я превращу сплетников в лошадей и заставлю их возить телеги. Спокойствие было восстановлено.

Я отчасти доверился Кларенсу, и мы потихоньку принялись за работу. Я сказал Кларенсу, что мое чудо требует некоторых приготовлений и что всякий, кто начнет болтать об этих приготовлениях, будет мгновенно поражен смертью. Это заткнуло ему рот. Мы тайком изготовили несколько бушелей первосортного пороха, а оружейники под моим руководством смастерили громоотвод и провода. Старая каменная башня была очень прочна, хотя уже понемногу разрушалась, так как построили ее еще римляне лет четыреста назад. Да, она была

красива своеобразной грубой красотой, и всю ее от основания до верхушки, словно чешуйчатая кольчуга, обвивал плющ. Стояла она одиноко на холме, в полумиле от дворца и была хорошо видна из его окон.

Работая по ночам, мы начинили башню порохом, вытащили из стен, имевших пятнадцать футов толщины у основания, несколько камней и насыпали порох в дыры. Таких зарядов мы заложили не меньше дюжины. Нашего пороха хватило бы и на то, чтобы взорвать лондонский Тауэр. На тринадцатую ночь мы водрузили на верхушке громоотвод, опустив его нижний конец в один из зарядов, а остальные заряды соединили с ним проводами. С тех пор, как я издал свое воззвание к народу, все и так обходили башню, но утром четырнадцатого дня я все же объявил через герольдов, что никто не должен к ней подходить ближе, чем на четверть мили. А затем прибавил, что чудо я совершу в ближайшие двадцать четыре часа, но когда именно — еще не знаю, и потому своевременно подам условный знак: если будет день, то выставлю на башнях флаги, если будет ночь, то расставлю там факелы.

Грозы за последнее время были часты, и я не особенно опасался неудачи; в крайнем случае чудо можно отложить на денек-другой: я отговорюсь тем, что занят государственными делами, и народу придется подождать.

Разумеется, день выдался яркий, солнечный, — чуть ли не первый безоблачный день за три недели: так бывает всегда. Я заперся у себя и следил за погодой. Время от времени ко мне забегал Кларенс и сообщал, что волнение в народе все растет и что через бойницы видно, как прибывают все новые и новые толпы людей. Наконец, когда уже начало смеркаться, появилась туча, и как раз там, где надо. Я подождал еще немного, следя, как эта дальняя туча росла и темнела, и, наконец, решил, что пора начинать. Я приказал зажечь факелы, освободить Мерлина и прислать его ко мне. Четверть часа спустя я вышел на балкон; там уже находился король и весь его двор, — вглядываясь в сумрак, они не спускали глаз с башни Мерлина. Тьма уже так сгустилась, что вдали ничего нельзя было разглядеть; эти людские сборища и эти старые башни над ними, частью окутанные мраком, а частью ярко озаренные пламенем факелов, были необычайно живописны.

Появился Мерлин в весьма скверном настроении. Я сказал:

— Ты собирался заживо сжечь меня, хотя я не сделал тебе ничего дурного, а потом ты пытался замарать мою профессиональную репутацию. За это я низведу с небес огонь и уничтожу твою башню; однако ради справедливости я и тебе дам возможность показать свое могущество: если в твоей власти рассеять мои чары и воспротивиться небесному пламени, бей по мечу — твой ход!

— Я могу рассеять твои чары, прекрасный сэр, и я их рассею. Не сомневайся, — заявил Мерлин.

Он начертил на каменных плитах воображаемый круг и зажег внутри этого круга щепотку порошка; над порошком взвилось крошечное облако благовонного дыма, и все отшатнулись, испуганно крестясь. Затем он начал что-то бормотать и взмахивать руками. Мало-помалу он привел себя в состояние полного исступления, и руки его завертелись, как крылья ветряной мельницы. Тем временем гроза подошла совсем близко; порывы ветра раздували пламя факелов и раскачивали тени; упали первые крупные капли дождя, кругом стояла непроглядная тьма, иногда вспыхивала молния. Мой громоотвод, несомненно, сейчас начнет работать. Медлить больше нельзя. И я сказал:

— Ты уже достаточно повозился. Я предоставил тебе полную возможность колдовать, я не мешал тебе. Всем уже ясно, что твое колдовство никуда не годится. А теперь мой черед.

Я трижды взмахнул руками, и раздался оглушительный грохот; произошло нечто вроде извержения вулкана: обломки старой башни взлетели к небу, охваченные столь ярким

пламенем, что ночь превратилась в день и стало видно, как кругом на огромном пространстве многотысячные толпы людей в ужасе попадали на землю. Да что говорить, потом целую неделю шел дождь из песка и щебня. Таковы были слухи, быть может несколько преувеличенные.

Чудо произвело огромное впечатление. Нашествие любопытных сразу прекратилось. Утром на грязи видно было много тысяч следов, но все они вели прочь. Если бы я объявил, что собираюсь совершить новое чудо, мне не удалось бы собрать зрителей даже с помощью полиции.

Карта Мерлина была бита. Король не хотел больше платить ему жалованье; он даже собирался изгнать его из страны, но тут вмешался я. Я сказал, что Мерлин может заниматься погодой и тому подобными мелочами, а если из его маленьких, жалких салонных фокусов ничего не будет выходить, я ему немного помогу. От башни его не осталось даже камня, но я заставил правительство выстроить ее для него заново и посоветовал ему сдавать ее жильцам; однако он был слишком чванлив для этого и благодарности ко мне не чувствовал никакой, даже спасибо не сказал. Кремень был старикашка, что там ни говори; впрочем, трудно ждать от человека, чтоб он был ласков с вами, когда вы так его оттеснили.

8. Хозяин

Обладать беспредельной властью очень приятно, но еще приятнее сознавать, что все твоей властью довольны. История с башней укрепила мою власть и сделала ее непоколебимой. Все относившиеся ко мне завистливо и критически сразу смирились. Теперь во всем королевстве не было ни одного человека, который счел бы благоразумным вмешаться в мои дела.

Я быстро приспособился к такому положению и ко всему, что меня окружало. Первое время, просыпаясь по утрам, я смеялся над своим «сном» и ждал заводского гудка; но постепенно это прошло, и я окончательно понял, что живу в шестом веке при дворе короля Артура, а не в лечебнице для умалишенных. И скоро я уже чувствовал себя в этом веке совсем как дома, не хуже чем в любом другом; и если бы мне предоставили выбор, я не променял бы его даже на двадцатый. Вдумайтесь, какие возможности представляет шестой век знающему, умному, деятельному человеку для продвижения вперед, для роста вместе со всей страной. Широчайшее поле деятельности, и к тому же полностью отданное мне одному, — ни одного конкурента, ни одного человека, который по знаниям и способностям не был бы в сравнении со мной младенцем. А что досталось бы на мою долю в двадцатом веке? В лучшем случае я был бы мастером на заводе, не больше, и на любой улице среди прохожих можно было без труда выудить людей, куда более достойных, чем я.

Как высоко я забрался! Я не мог не думать об этом, я любовался своим успехом, как человек, из земли которого брызнула нефть, любитесь своим нефтяным фонтаном. Я искал в прошлом примеров для сравнения и не находил ничего, кроме разве истории с Иосифом^[13], однако даже судьба Иосифа, хотя и напоминала мою, не могла с ней сравниться. Ибо не надо забывать, что блестящие финансовые способности Иосифа не принесли пользу никому, кроме фараона, и, следовательно, широкая публика имела полное право относиться к нему с неприязнью, тогда как я, пощадив солнце, облагодетельствовал всех и потому пользовался всеобщей любовью.

Я не был тенью короля — я был сущностью; король сам был тенью. Моя власть была огромна; и не только по званию, как часто бывает, а по существу. Я стоял у самого истока второго великого периода мировой истории и мог наблюдать, как узенький ручеек истории становится все глубже, все шире и катит свои мощные струи в отдаленные века; я видел под сенью бесчисленных тронов таких же авантюристов, как я: де Монфоров, Гэвстонов, Мортимеров, Вилльерсов^[14], ведших войны и предводительствовавших походами французских фаворитов и правивших страной любовниц Карла Второго, но равного себе я среди них не находил. Я был Единственным; и мне отрадно было думать, что по крайней мере в течение тринадцати с половиной веков этот факт никому не удастся ни утаить, ни опровергнуть.

Да, могуществом я был равен королю. Но в государстве существовала еще одна власть, которая была могущественнее и меня и короля вместе взятых. То была власть церкви. Я не хочу скрывать этот факт. Я не мог бы его скрыть, даже если бы захотел. Но не стоит говорить о нем сейчас; я расскажу об этом в свое время и в своем месте. Вначале церковь не причиняла мне никаких сколько-нибудь заметных неприятностей.

Какая это была забавная и любопытная страна! И какой народ! Милый, простодушный и доверчивый — ну просто кролики! Человеку, родившемуся в атмосфере свободы, горько было слушать, как искренне и смиренно клялись они в своей верности королю, церкви и знати; а между тем у них было не больше оснований любить и почитать короля, церковь и знать, чем у раба любить и почитать кнут или у собаки любить и почитать прохожего, который бьет ее! Ей-богу, любая монархия, даже самая умеренная, и любая аристократия, даже самая скромная,

оскорбительны; но если вы родились и выросли под властью монархии и аристократии, вы никогда сами не догадаетесь об оскорбительности своего положения и не поверите, если кто-нибудь вам об этом скажет. Становится стыдно за свой народ, когда подумаешь, какие мыльные пузыри постоянно восседали на его тронах без всякого права и основания и какие третьесортные людишки считались его аристократией; если бы всех этих монархов и вельмож предоставить самим себе, как предоставлены себе куда более достойные люди, они никогда не выбились бы из нищеты и неизвестности.

Большая часть британского народа при короле Артуре состояла из рабов, самых настоящих; они так рабами и назывались и в знак рабства носили железные ошейники; остальные тоже в сущности были рабы, хотя не назывались рабами, — они воображали себя свободными людьми, и их именовали: «свободные люди». По правде говоря, вся нация в целом существовала только для того, чтобы пресмыкаться перед королем, церковью и знатью, чтобы рабски служить им, чтобы проливать за них кровь, чтобы, умирая с голоду, кормить их, чтобы, работая, предоставить им возможность забавляться, чтобы, терпя нужду и горе, делать их счастливыми, чтобы, ходя голыми, дать им возможность носить шелка и драгоценные камни, чтобы, платя налоги, избавить их от необходимости платить, чтобы, слыша от них только брань в течение всей своей жизни, позволять знатным кичиться и чувствовать себя земными богами. И в благодарность получать только побои и презрение; впрочем, они так привыкли к своей приниженности, что даже такое проявление внимания принимали за честь.

Унаследованные идеи — забавная штука, и очень любопытно наблюдать их и изучать. У меня были свои унаследованные идеи, у короля и его народа — свои. И те и другие текли в глубоких руслах, вырытых временем и привычкой; и тому, кто захотел бы изменить их течение доводами разума, пришлось бы долго трудиться. Например, этот народ унаследовал убеждение, что все люди, не обладающие титулом и длинной родословной, как бы щедро ни наградила их природа, ничуть не выше животных, клопов, насекомых; в то время как я унаследовал убеждение, что человекоподобные вороны, рядящиеся в павлиньи перья наследственных достоинств и незаслуженных титулов, годны только на то, чтобы над ними посмеяться. И вполне естественно, что ко мне там относились несколько странно. Примерно так, как хозяин зверинца и публика относятся к слону. Они восхищаются его ростом и его необычайной силой, они с гордостью говорят о том, что он может сделать много такого, что сами они сделать не в состоянии, с такой же гордостью они рассказывают, что, рассердясь, он может обратить в бегство тысячу человек. Но разве из-за этого они считают слона *равным* себе? Нет! Подобная мысль насмешила бы даже самого жалкого оборванца. Да она никогда ему и в голову не пришла бы; он не мог бы даже допустить существования подобной мысли. И вот для короля, для знати, для всего народа, вплоть до последнего раба и нищего, я был как раз таким слоном. Мною восхищались — и меня боялись; но восхищались, как животным, и боялись, как животного. Перед животным не благоговеют, — не благоговели и передо мной; меня даже не уважали. У меня не было ни родословной, ни унаследованного титула, потому в глазах короля и знати я был просто пылью под ногами, а народ взирал на меня с изумлением и страхом, но без всякой примеси почтения: согласно своим унаследованным идеям, он не чувствовал почтения ни к чему, кроме знатности и родословной. В этом сказывалось влияние могущественной и страшной римско-католической церкви. За каких-нибудь два-три столетия она превратила нацию людей в нацию червей. До того как церковь утвердила власть над миром, люди были людьми, высоко носили головы, обладали человеческим достоинством, силой духа и любовью к независимости; величия и высокого положения они добивались своими заслугами, а не происхождением. Но затем появилась церковь и принялась за работу; она была мудра, ловка и знала много способов, как сдирать шкуру с кошки — то есть с народа; она изобрела «божественное право королей» и

окружила его десятью заповедями, как кирпичами, вынув эти кирпичи из доброго здания, чтобы укрепить ими дурное; она проповедовала (простонародью) смирение, послушание начальству, прелесть самопожертвования; она проповедовала (простонародью) непротивление злу; проповедовала (простонародью, одному только простонародью) терпение, нищету духа, покорность угнетателям; она ввела наследственные должности и титулы и научила все христианское население земли поклоняться им и почитать их. Эта отравка продержалась в крови христианского мира вплоть до моего родного века, когда лучшие представители английского простонародья продолжали мириться с тем, что люди, во много раз менее их достойные, сохранили за собой ряд званий, вроде звания лорда и короля, на который нелепый закон их страны не дает права им, достойнейшим, претендовать; англичанин не только мирится с этим странным положением вещей, но даже убеждает самого себя, что гордится им. Человек способен примириться с чем угодно, если он привык к этому от рождения. Разумеется, эта зараза благоговения перед званием и титулом жила когда-то в крови и у нас, американцев; но к тому времени, когда я покинул Америку, она уже исчезла. Жалкие остатки ее сохранили еще некоторые франты и франтихи. Но когда эпидемия снижается до такого уровня, можно считать, что ее уже нет.

Но вернемся к моему неестественному положению в королевстве короля Артура. Я чувствовал себя великаном среди карликов, взрослым среди детей, мыслителем среди умственных кротов; как там ни рассуждай, а я был единственным действительно великим человеком во всем британском мире; и тем не менее, как и в далекой Англии моей родной эпохи, какой-нибудь граф с бараньими мозгами, который мог доказать, что происходит от любовницы короля, раздобытой из вторых рук в лондонских трущобах, пользовался большим почетом, чем я. Такого человека в царствование Артура уважали все, хотя бы его внешность была столь же убога, как его ум, а его нравственность столь же низменна, как его происхождение. Были случаи, когда ему разрешалось сидеть в присутствии короля, а мне не разрешалось. Я без труда мог бы добиться титула, и это возвысило бы меня в глазах всех, даже в глазах короля, который бы дал его мне. Но я не просил титула; я отклонил его, когда мне его предложили. Человеку с моими убеждениями титул не может доставить радости; кроме того, я получил бы его незаконно, так как, насколько мне известно, моему роду никогда не везло по части знатности. Я был бы доволен и гордился бы только таким титулом, который мне пожаловал бы сам народ, единственный законный источник власти; такой титул я надеялся заслужить; я действительно в конце концов заслужил его долгими годами добросовестной, честной работы и стал носить его с высокой и чистой гордостью. Этот титул, сорвавшийся однажды с губ деревенского кузнеца, был подхвачен всеми как счастливая выдумка и с одобрительным смехом передавался из уст в уста; в десять дней он обошел все королевство, и к нему привыкли, как к имени короля. В дальнейшем и в народных толках и в королевском совете при спорах о делах государственной важности меня называли только так. Этот титул в переводе на современный язык означает — Хозяин. Он мне нравился, так как я получил его от народа. Это был очень высокий титул — и единственный в своем роде. Когда говорили о герцоге, о графе, о епископе, нельзя было угадать, о ком именно идет речь. Разве мало герцогов, графов и епископов! Но совсем другое дело, когда говорили о короле, или о королеве, или о Хозяине.

Король мне нравился, и как короля я его уважал, уважал его звание, — уважал по крайней мере настолько, насколько вообще был способен уважать любой незаслуженный чин; но как на человека я на него и на его вельмож смотрел сверху вниз, — втайне конечно. Я тоже нравился и королю и вельможам, и они уважали меня как государственного деятеля; но так как я был человек безродный и незнатный, они в свою очередь смотрели на меня сверху вниз — и далеко не втайне! Я не навязывал им своего мнения о них, а они не навязывали своего мнения о моей

персоне. В итоге мы были квиты, баланс наших отношений был уравновешен, и обе стороны были довольны.

9. Турнир

В Камелоте постоянно устраивались большие турниры; эти человеческие бои быков были очень азартны, живописны и заняты, но несколько надоедливы для человека с практическим складом ума. Тем не менее я всегда присутствовал на них по двум причинам: во-первых, потому что человек, желающий нравиться, и особенно человек государственный, не должен избегать того, что дорого его друзьям и тому обществу, в котором он вращается; и, во-вторых, потому что, как делец и как государственный деятель, я стремился изучить турниры, чтобы понять, не могу ли я их как-нибудь усовершенствовать. Я забыл сообщить, что первое мое государственное мероприятие, проведенное мною в первый день моего вступления в должность, заключалось в том, что я основал бюро патентов, ибо я знал, что страна без бюро патентов и без твердых законов, защищающих права изобретателей, подобна раку, который может двигаться только вбок или назад.

Турниры устраивались почти каждую неделю, и время от времени наши молодцы, — я имею в виду сэра Ланселота и остальных, — уговаривали меня принять в них участие. Я обещал, но все откладывал, говорил, что спешить некуда и что сейчас я очень занят смазыванием государственной машины. Которую необходимо поскорей наладить и пустить в ход.

Как-то раз у нас устроили турнир, который продолжался день за днем больше недели и в котором приняли участие пятьсот рыцарей, начиная с самых знаменитых и кончая всякой мелкотой. Они прибывали в течение нескольких недель. Они приезжали верхом отовсюду: из самых дальних уголков страны и даже из-за моря; многие привозили с собой дам, и все привозили оруженосцев и целые армии слуг. Разнузданная веселость, простодушная непристойность речей и счастливое безразличие ко всякой нравственности этого пышного и чванливого сборища разряженных людей были очень характерны для той страны и той эпохи. Каждый день они либо дрались, либо смотрели на драки; и каждую ночь они пели, играли, плясали и пьянствовали. Все это считалось у них благороднейшим времяпровождением. Никогда мне не приходилось встречать таких странных людей. На скамьях восседали прекрасные дамы, сияя варварским великолепием одежд, и смотрели, как сбрасывают с коня рыцаря, проколотого насквозь копьем толщиной в лодыжку, как из него хлещет кровь, — и не только не падали в обморок, а хлопали в ладоши и лезли друг на дружку, чтобы лучше видеть; лишь по временам какая-нибудь из них прикрывала лицо платком всем напоказ и принимала опечаленный вид, — тогда вы могли поставить два против одного, что тут не без любовной истории и она боится, как бы публика не оставила этого без внимания.

Я терпеть не могу, когда шумят по ночам, но при данных обстоятельствах я был даже рад ночному шуму, потому что он заглушал шум пил, которыми шарлатаны лекаря отпиливали руки и ноги у изувеченных за день. Они затупили мою на редкость хорошую старую пилу и даже отломали ее рукоятку, но я оставил это без последствий. Однако я решил, что если хирурги возьмут у меня и топор, я попрошусь в другое столетие.

Я не только следил изо дня в день за этим турниром, но еще разыскал у себя в Департаменте общественной нравственности и земледелия попа потолковее и поручил ему составить отчет об этом турнире, ибо я собирался со временем, когда мне удастся несколько цивилизовать свой народ, основать газету. Попав в новую страну, вы прежде всего должны основать бюро патентов, затем создать школьную сеть, а вслед за этим открывайте газету. У газеты есть свои недостатки, и их немало, но тем не менее она способна поднять из гроба мертвую нацию, и никогда не следует забывать об этом. Без газеты вам мертвой нации не

воскресить: иного средства не существует. И вот я хотел сделать опыт и посмотреть, какого сорта репортерские заметки я смогу получить в шестом веке, если они мне понадобятся.

Что ж, мой поп работал в сущности недурно, Все, что он видел, он описывал очень подробно, а для отдела местной хроники только это и нужно. Дело в том, что он, когда был помоложе, вел похоронные записи в своей церкви, а в похоронном деле от подробностей главный доход — чем больше подробностей, тем больше денег; носильщики, факельщики, свечи, молитвы — все вписывается в счет; если родственники покойного заказывают мало молитв, вам стоит только удвоить число свечей, и снова ваш счет в порядке. Кроме того, он умел то тут, то там вставить лестное замечание о рыцаре, который мог бы дать выгодное объявление... нет, я хочу сказать: который имел влияние при дворе; да и вообще он обладал даром преувеличения, так как одно время служил привратником у благочестивого отшельника, жившего в хлеву и творившего чудеса.

Разумеется, в отчете этого новичка недоставало треска, шума, устрашающих слов — следовало бы подбавить звона, но зато его старинный слог был причудлив, мил, простодушен, полон благоухания своего времени, и эти достоинства до известной степени смягчали его крупные недостатки. Вот выдержка из этого отчета:

...Тогда сэр Брайэн де-лез-Айлс и Груммор Грумморсум, придворные рыцари, съехали с сэром Эгловэлом и сэром Тором, и сэр Тор сбросил сэра Груммора Грумморсума на землю. Тут выехали сэр Карадос из Печальной Башни и сэр Торквин, придворные рыцари, и съехали с сэром Персивэлом де Галис и сэром Ламораком де Галис, двумя братьями; сэр Персивэл бился с сэром Карадосом, и оба сломали свои копыя, а сэр Торквин бился с сэром Ламораком, и оба рухнули на землю вместе с конями, но им пришли на помощь и снова усадили их в седла. Сэр Арноль и сэр Готер, придворные рыцари, съехали с сэром Брэндайлом и сэром Кэем; эти четыре рыцаря бились яростно и вышибли копыя друг у друга из рук. Затем выехал сэр Пертолоп, придворный рыцарь, и с ним съехался сэр Лайонел, и сэр Пертолоп, зеленый рыцарь, сбросил с коня сэра Лайонела, брата сэра Ланселота. Благородные герольды объявили его победителем и восславили его имя. Затем сэр Блербарис преломил свое копые о сэра Гарета, но сам не выдержал силы своего удара и рухнул наземь. Увидев это, сэр Галиходин бросил вызов сэру Гарету, но сэр Гарет и его поверг наземь. Тогда сэр Галихуд поднял копые, чтобы отомстить за своего брата, но сэр Гарет поверг и его, и сэра Дайнадэна, и его брата ля Кот-Мэл-Тэла, и сэра Саграмора Желанного, и сэра Додинаса Свирепого; он всех их поразил одним копьём. Глядя на сэра Гарета, король Эгвизэнс Ирландский не переставал дивиться: только что этот рыцарь был зеленым, а сейчас вдруг стал голубым. Перед каждым следующим поединком сэр Гарет одевался в другие цвета, и ни король, ни рыцари не могли сразу узнать его. И вот сэр Эгвизэнс, король Ирландии, съехался с сэром Гаретом, и сэр Гарет сбросил его с коня вместе с седлом. Тогда на бой выехал король Карадос Шотландский, и сэр Гарет поверг наземь и его самого и его коня. Так же он поступил и с королем Уриэнсом из Страны Гор. Тогда выехал сэр Багдемагус, и сэр Гарет поверг наземь и его самого и его коня. Затем Мелиганус, сын Багдемагуса, отважно и рыцарственно сломал свое копые о сэра Гарета. И тогда сэр Галахолт, благородный принц, громко возгласил: «Многоцветный рыцарь, ты сражаешься хорошо, но приготовься, ибо я собираюсь сразиться с тобой!» Услыхав это, сэр Гарет сменил свое копые на более длинное, и они стали съезжаться, и принц направил на него копые, но сэр Гарет с такой силой ударил его по левой стороне шлема, что он покачнулся и упал бы, если бы его не поддержали служители!

«Воистину, — сказал король Артур, — этот рыцарь многих цветов — славный рыцарь». И король подозвал к себе сэра Ланселота и попросил его сразиться с этим рыцарем. «Сэр, — сказал Ланселот, — мое сердце подсказывает мне, что сегодня я должен воздержаться от боя с этим рыцарем, ибо этот рыцарь сегодня довольно потрудился, а когда славный рыцарь совершил за один день столько подвигов, не подобает другому славному рыцарю отнимать у него заслуженную честь, особенно после стольких трудов, понесенных им, ибо, быть может, дама, которую он любит, предпочитает этого соперника, и, быть может, он собрал последние силы, чтобы совершить эти великие подвиги; и вот почему, — продолжал сэр Ланселот, — я желаю чтобы сегодня вся честь досталась ему, и я не стану лишать его чести, хотя и мог бы это сделать».

В этот день произошло пренеприятное событие, описание которого я, руководствуясь государственными соображениями, вычеркнул из отчета моего попа. Как вы, безусловно, заметили, в этом побоище больше всех сражался Гарри. Говоря: Гарри, я имею в виду сэра Гарета. Я называл его просто Гарри, и это, верно, наводит вас на мысль, что я к нему очень хорошо относился, — что ж, так оно и было. Впрочем, это ласковое уменьшительное прозвище я никогда не произносил в присутствии посторонних и тем более при нем; он был вельможа и ни за что не стерпел бы от меня подобной фамильярности. Итак, продолжаю. Я сидел в отдельной ложе, предоставленной мне как королевскому министру. Сэр Дайнадэн, ожидавший своей очереди выступать, зашел ко мне, присел и принялся болтать; он всегда льнул ко мне, так как я был человек новый, а ему нужен был новый рынок для сбыта своих остроумств, до того затасканных, что смеялся над ними один только рассказчик, а всех остальных тошнило. И все же я старался относиться к нему как можно лучше, — я обращался с ним ласково только потому, что он никогда не рассказывал мне тот анекдот, который я в своей жизни слышал чаще всего и который я больше всего проклинал и ненавидел, несмотря на то, что анекдот этот, по несчастью, был ему известен. Анекдот этот приписывают каждому остряку, когда-либо стоявшему на американской земле — от Колумба до Артемуса Уорда^[15]. В нем говорится о лекторе-юмористе, который целый час угощал невежественных слушателей остроумнейшими шутками и не добился ни одного смешка, а когда он уже уходил, несколько седовласых простаков с благодарностью пожали ему руку, сказав, что никогда ничего смешнее они не слышали и что «в течение всего богослужения они с трудом удерживались от смеха». Никогда еще этот анекдот не был рассказан кстати, и тем не менее мне приходилось в моей жизни выслушивать его сотни, и тысячи, и миллионы и миллиарды раз, и плакать, слушая, и проклинать все на свете. Теперь вам нетрудно понять, что почувствовал я, когда этот бронированный осел принялся рассказывать его мне в мрачных сумерках седой старины, на заре истории, когда даже Лактанция^[16] могли называть «недавно почившим Лактанцием», а до рождения крестоносцев оставалось целых пять столетий. Едва он кончил, вошел мальчишка звать его на турнир. С дьявольским смехом, грохоча и звякая, как корзина с железным ломом, он вышел из ложи, и я потерял сознание. Я очнулся через несколько минут и открыл глаза как раз в то мгновение, когда сэр Гарет нанес ему ужасающий удар; и я невольно произнес: «Господи, хоть бы его убили!» Но, к несчастью, прежде чем я успел договорить эти слова, сэр Гарет обрушился на сэра Саграмора Желанного и нанес ему такой удар, что тот рухнул с лошади; падая, сэр Саграмор услышал мое восклицание и принял его на свой счет.

А уж если эти люди заберут себе что-нибудь в голову, их не переубедишь. Я это знал и поэтому не тратил усилий на объяснения. Поправившись, сэр Саграмор заявил мне, что нам с ним нужно свести кое-какие счета, и назначил день — через три или четыре года, и место для

поединка — то самое ристалище, где ему была нанесена обида. Я сказал, что буду ждать его возвращения. Дело в том, что он отправлялся на поиски святого Грааля^[17]. Все наши ребята время от времени отправлялись к святому Граалю. Это путешествие занимало несколько лет. Уехав, они долго блуждали, плутая самым добросовестным образом, так как никто толком не знал, где находится этот святой Грааль. Мне думается, они в глубине души и не надеялись найти его и, если бы наткнулись случайно, не знали бы, что с ним делать. Видите ли, это было нечто вроде наших поисков Северо-Западного прохода^[18], только и всего. Каждый год отправлялись экспедиции святограальщиков, а в следующий год отправлялись новые экспедиции на поиски прошлогодних. В этих походах можно было заработать славу, но не деньги. А они еще и меня тащили с собой! Я только посмеивался.

10. Первые ростки цивилизации

За Круглым Столом скоро прослышали об этом вызове на поединок. Пошли всякие толки и пересуды, так как наши ребята чрезвычайно интересовались такими вещами. Король считал, что мне теперь следует отправиться на поиски приключений, чтобы стяжать себе славу и через несколько лет стать достойным встречи с сэром Саграмором. Я извинился и заявил, что мне потребуется еще три-четыре года, чтобы все наладить и пустить в ход, и тогда я готов отправиться куда угодно; вероятнее всего, сэр Саграмор к тому сроку все еще будет граалить, и я вполне успею стяжать себе славу, не теряя драгоценного времени; с начала моего вступления в должность пройдет уже шесть-семь лет, и государственная машина, я убежден, будет уже настолько налажена, что мне удастся взять отпуск без всякого вреда для дела.

Я был вполне удовлетворен всем тем, что мне уже удалось совершить. В разных тихих уголках страны я исподволь успел насадить ростки различных отраслей промышленности — зародыши будущих огромных заводов, железных и стальных миссионеров моей грядущей цивилизации. Там я собирал способнейших молодых людей, и агенты мои рыскали по всей стране, подыскивая все новых и новых. Я превратил множество невежд в специалистов, в знатоков разных ремесел и наук. В этих моих питомниках, спрятанных в глухих уголках страны, обучение шло спокойно и гладко, и никто нам не мешал, так как никто не мог проникнуть туда без разрешения, — больше всего я опасался церкви.

Я прежде всего основал учительский институт и множество воскресных школ. В результате в этих потайных местах выросла превосходная единая система народного образования, а также целая сеть протестантских конгрегаций, процветавших и разраставшихся. Каждому предоставлялось выбрать себе любую христианскую секту: в религиозных вопросах я поддерживал полнейшую свободу. Однако я ограничил преподавание закона божия церквами и воскресными школами, в другие же мои учебные заведения религии не допускал. Я, конечно, мог бы предоставить привилегии моей собственной секте и всех без труда обратить в пресвитерианство, но это значило бы совершить насилие над человеческой природой; духовные запросы и влечения людей не менее разнообразны, чем их телесные потребности, цвет их кожи, черты их лица, и человек нравственно чувствует себя только тогда хорошо, когда он облачен в одежду той религии, которая по цвету, фасону и разуму лучше всего соответствует его духовному складу; кроме того, я боялся создания единой церкви: такая церковь — власть могущественная, могущественнее всякой другой; обычно церковную власть прибирают к рукам корыстные люди, и она постепенно убивает человеческую свободу и парализует человеческую мысль.

Все рудники считались собственностью короля, и было их множество. Разрабатывались они до меня по-дикарски: в земле рыли ямы и выносили оттуда руду в мешках из шкур, по тонне в день; но я постарался как можно скорее поставить разработку рудников на научную основу.

Да, многого успел я добиться к тому времени, когда на меня обрушился вызов сэра Саграмора.

Прошло всего четыре года — а сколько сделано! Вы и представить себе не можете. Неограниченная власть — превосходная штука, когда она находится в надежных руках. Небесное самодержавие — самый лучший образ правления. Земное самодержавие тоже было бы самым лучшим образом правления, если бы самодержец был лучшим человеком на земле и если бы его жизнь продолжалась вечно. Но так как даже самый совершеннейший человек на земле должен умереть и оставить свою власть далеко не столь совершенному преемнику, земное самодержавие — не только плохой образ правления, а самый худший из всех возможных.

Своими трудами я показал, чего может добиться самодержец, распорядясь всеми богатствами королевства. Темная страна и не подозревала, что я насадил цивилизацию девятнадцатого века под самым ее носом! Цивилизация эта была скрыта от взоров толпы, но она существовала, — факт огромный и неопровержимый, — и о нем еще услышат, если только я не умру и счастье не отвернется от меня. Она существовала столь же несомненно и столь же скрыто, как существует рвущееся наружу адское пламя в недрах потухшего вулкана, невинно возносящего свою бездымную вершину в голубое небо. Мои школы и церкви четыре года назад находились еще в младенчестве; теперь они стали взрослыми; мои мастерские превратились в обширные фабрики; на месте каждой дюжины обученных рабочих теперь работала тысяча; на месте одного отличного специалиста теперь я имел пятьдесят. Я, так сказать, держал руку на выключателе, готовый в любое мгновение залить ночной мир потоками света. Впрочем, я не собирался включать свет внезапно. Внезапность — не моя политика. Народ не вынес бы внезапности; к тому же на меня тотчас же нашла бы господствующая римско-католическая церковь.

Нет, я действовал осторожно. Я рассылал по всей стране доверенных агентов, которым поручено было незаметно подкапываться под рыцарство и расшатывать понемногу то одно, то другое суеверие, тем самым подготавливая постепенно страну к лучшему строю. Я, так сказать, включал свет сначала только яркостью в одну свечу и намеревался постепенно усиливать его.

Школы специального назначения я тайно разбросал по всему королевству, и они превосходно работали. Я собирался развивать это дело все шире и шире, если никто меня не спугнет. Наибольшей тайной окружил я свой Уэст-Пойнт — свою Военную академию. Я ревниво оберегал ее от посторонних взоров; не менее ревниво оберегал я свою Морскую академию, основанную мною в отдаленном морском порту. Обе академии процветали, к полному моему удовлетворению.

Кларенсу исполнилось уже двадцать два года, и он стал главным исполнителем моих предначертаний, моей правой рукой. Он был чудесный мальчик: все ему удавалось, он был мастер на все руки. За последнее время я обучил его журналистике, так как мне казалось, что пора уже приниматься за газетное дело. Я собирался начать не с большой газеты, а с маленького еженедельного листка, который хотел пустить в обращение в виде пробы в моих питомниках цивилизации. Кларенс чувствовал себя в этом деле, как рыба в воде; в нем безусловно сидел настоящий газетчик. Он как бы раздвоился — говорил на языке шестого века, а писал на языке девятнадцатого. Его журналистский слог упорно мужал и развивался. Он уже достиг уровня газет, выходящих в захолустных городишках Алабамы, и его передовицы не уступали тамошним ни по содержанию, ни по стилю.

Мы налаживали еще одно большое дело: телеграф и телефон. И в этой области были уже некоторые достижения. Первыми нашими линиями пользовались только мы сами и до поры до времени держали их в тайне. Проводила их особая партия рабочих, работавших главным образом по ночам. Провода прокладывали под землей: столбов мы не ставили, опасаясь привлечь лишнее внимание. Подземные провода были незаметны и отлично работали, так как их покрывали изоляцией моего собственного изобретения, оказавшейся превосходной. Моим рабочим было приказано прокладывать провода напрямик, избегая дорог, устанавливая связь между значительными городами, находя их по огням, и всюду оставлять специалистов для надзора за линиями. Во всем королевстве никто не мог вам объяснить, как попасть в то или иное место, так как с заранее обдуманной намерением никто никуда не ездил, а лишь случайно забредал во время своих скитаний в какой-нибудь город или селение, причем ему и в голову не приходило спросить, куда именно он попал. Несколько раз мы рассылали топографские экспедиции, чтобы составить карту королевства, но тут постоянно вмешивались попы и чинили

препятствия. И мы решили пока это оставить; было бы глупо восстанавливать против себя церковь.

Страна в общем оставалась в том же положении, в каком я застал ее. Кое-что я изменил, но перемены, по необходимости, были незначительны и мало заметны. Я пока не коснулся даже налогов, кроме тех, которые поступали непосредственно в казну короля. Я привел эти налоги в порядок и построил их на деловой и справедливой основе. В результате доходы почти учетверились, но так как тяжесть налогов была распределена теперь более равномерно, все королевство вздохнуло с облегчением, и повсюду мое управление восхвалялось от всего сердца.

Теперь я уже сам решил взять отпуск, так как более удобное время выбрать было трудно. Раньше я не мог уехать потому, что слишком тревожился бы в пути о состоянии своих дел, но теперь все находилось в надежных руках и шло как по маслу. Король уже много раз напоминал мне, что четырехлетняя отсрочка, которую я себе выпросил, истекает. Это был намек, что я должен был отправиться на поиски приключений и добыть себе славу, чтобы стать достойным скрестить оружие с сэром Саграмором; хотя он все еще граалил, но за ним уже было послано несколько спасательных экспедиций, и его вот-вот могли найти. Как видите, я вполне подготовился к тому, чтобы уйти в отпуск, и не дал застать себя врасплох.

11. Янки в поисках приключений

Никогда ни в одной стране на свете не было такого множества бродячих лгунов: тут лгали все, и мужчины и женщины. По крайней мере раз в месяц к нам являлся какой-нибудь бродяга с басней о принцессе или знатной даме, заточенной бесстыжим негодяем, чаще всего великаном, в отдаленный замок и ждущей освободителя. Вы, конечно, думаете, что король, выслушав такую сказку из уст совершенно незнакомого человека, требовал от рассказчика удостоверения личности, а также хоть каких-нибудь указаний, где расположен этот замок и как до него добраться. Нет, такие простые и здравые вещи никому не приходили в голову. Тут проглатывали любую небылицу, не задавая никаких вопросов. И вот однажды, когда я куда-то отлучился, явилась одна из таких особ — на этот раз женщина — и рассказала обычную сказку. Ее госпожа заточена в огромном и мрачном замке вместе с сорока четырьмя другими юными и прекрасными девами, большинство из которых — принцессы; уже двадцать шесть лет они томятся в жестокой неволе; замок принадлежит трем братьям-великанам, у каждого из которых четыре руки и один глаз посередине лба, огромный, как плод; какой именно плод, она не сказала, — обычное пренебрежение к точности.

Поверите ли? Король и все рыцари Круглого Стола пришли в восхищение от этого нелепого предложения отправиться на поиски приключений. Все рыцари ухватились за эту возможность, и каждый стал просить, чтобы отправили именно его, но, к их возмущению и горю, король остановил свой выбор на мне, хотя я вовсе не добивался этой чести.

Не без труда сдержал я свои чувства, когда Кларенс сообщил мне об этом решении. Но он... он своих чувств сдержать не мог. Он был в восторге от моей удачи и полон благодарности к королю за то, что король так великолепно выказал свое благоволение ко мне. Ноги у него так и ходили, он не мог устоять на месте и в упоении от счастья, приплясывая, летал по всей комнате.

Я, конечно, проклял это королевское благоволение, но из дипломатических соображений скрыл свой гнев и старался казаться довольным. Да, я сказал, что я доволен. Я был доволен, как человек, с которого сняли скальп.

Ну что ж, любое положение надо стараться улучшить и, не тратя времени на бесполезную досаду, посмотреть, вникнув в дело, что из него можно извлечь. В любой лжи есть крупица правды; эту крупицу я должен найти. Я послал за девушкой, она явилась. Она оказалась приятной на вид, милой и скромной, но точность ее показаний можно было сравнить только с точностью дамских часов.

Я сказал:

— Вас, милая моя, расспрашивали о подробностях?

Она ответила, что не расспрашивали.

— Я в этом не сомневался. Я хочу задать вам несколько вопросов, чтобы проверить вас; так уж я приучен. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, что я вас немного задержу, — это необходимо, потому что мы ведь не знаем вас. Весьма возможно, что вы говорите правду, я охотно это допускаю, но в делах ничего нельзя принимать на веру. Вы должны сами с этим согласиться. Я вынужден задать вам несколько вопросов; отвечайте прямо и ничего не бойтесь. Где вы жили до того, как попали в плен к великанам?

— В стране Модер, благородный сэра.

— В стране Модер? Никогда не слышал я о такой стране. Ваши родители живы?

— Не знаю, живы ли они еще, — я ведь столько лет была заточена в замке.

— А как вас зовут?

— С вашего разрешения, меня зовут Алисандой ля Картелуаз.

— Может ли здесь кто-нибудь удостоверить вашу личность?

— Вряд ли, благородный лорд, ибо я никогда прежде здесь не бывала.

— Нет ли у вас каких-нибудь писем, каких-нибудь документов, каких-нибудь доказательств, что вы заслуживаете доверия?

— Конечно, нет; у меня есть язык, и я могу сама все о себе рассказать.

— Но одно дело, когда вы сами о себе говорите, а другое дело, когда кто-нибудь другой о вас говорит.

— В чем же разница? Боюсь, я не понимаю вас.

— *Не понимаете?* Проклятая страна... Видите ли... ну, видите ли... Черт побери, неужели вы не можете понять такой простой вещи? Неужели вы не можете понять разницу между... Почему у вас такой невинно-идиотский вид?

— У меня? Не знаю. На то воля божья.

— Да, да, вы правы, на то божья воля. Вам, верно, кажется, что я немного сержусь, но не обижайтесь, я совсем не сержусь. Поговорим о другом. Итак, этот замок трех людоедов, в котором заключены сорок пять принцесс... Где он находится, этот гарем?

— Гарем?

— Ну замок, ведь вы же меня понимаете. Где находится этот замок?

— Ах, вот что. Этот замок огромен, неприступен, красив и стоит в отдаленной стране. До него отсюда много лиг ^[19].

— Сколько же именно?

— Ах, благородный сэръ, очень трудно сказать, сколько их, потому что их так много, и потому что они налезают одна на другую, и еще потому, что они одного вида и одного цвета, и невозможно отличить одну лигу от другой; да и кто же их сочтет, когда считать пришлось бы каждую отдельно, а такая работа посильна только богу, но не человеку, ибо, как вы сами поймете...

— Довольно, довольно, бог с ним, с расстоянием! *В какой стороне* находится замок? В каком направлении отсюда?

— Ах, прошу прощения, сэръ, он не находится ни в каком направлении, ибо дорога к нему идет не прямо, а все время заворачивает, поэтому направление дороги понять нельзя; она идет то под одним небом, то под другим; вы думаете, что движетесь на восток, и вдруг замечаете, что, описав полукруг, оказались на западе; это чудо повторяется опять и опять, и снова, и много раз, и, наконец, вы начинаете понимать тщету человеческого разума, возмнившего пойти наперекор воле того, кто, если захочет, укажет вам, в каком направлении находится замок, а не захочет, так уничтожит все замки и все направления на земле и оставит одно пустое место, чтобы доказать своим тварям, что, когда он хочет — он хочет, а когда он не хочет — он...

— Все это верно, верно, но дайте мне передохнуть. Не нужно направления, черт с ним, с направлением! Простите, ради бога, простите, я сегодня не совсем здоров. Не обращайтесь внимания, когда я говорю сам с собой, это просто старая привычка, скверная старая привычка, и трудно от нее избавиться человеку, расстроившему себе здоровье пищей, приготовленной бог знает за сколько лет до того, как он родился. Не мудрено испортить себе желудок, если ешь цыплят, которым тринадцать столетий от роду. Но продолжайте... Не обращайтесь на меня внимания, продолжайте... Нет ли у вас карты этого района? Хорошая карта...

— Вы, должно быть, говорите про ту штуку, которую неверные недавно привезли из-за больших морей и которую нужно варить в масле с луком и солью, и...

— Варить карту? О чем вы говорите? Вы знаете, что такое карта? Ну, ну, неважно, я не стану объяснять, я терпеть не могу объяснений: они только все запутывают, и потом ничего не поймешь. Ступайте, дорогая, до свиданья. Проводи ее, Кларенс.

Ну, теперь мне было ясно, почему эти ослы не требуют от лгунов никаких подробностей. Быть может, эта девчонка и знала какие-нибудь подлинные факты, но извлечь их из нее нельзя было даже насосом, даже порохом, разве что только динамитом. Она была настоящая дура, а король и его рыцари внимали ей, словно она была страницей из священного писания. Это было так на них похоже! И подумайте, какая простота придворных нравов: эта бродяжка вошла к королю во дворец с такой же легкостью, с какою в моей стране и в мое время она могла бы войти в ночлежный дом. И король был рад принять ее, рад выслушать ее болтовню; она со своим рассказом о нелепых похождениях была для него такой же радостной находкой, как труп для следователя.

Едва я кончил размышлять, вернулся Кларенс. Я сказал ему, что от этой девушки мне ничего не удалось добиться; она не дала мне ни одного указания, которое могло бы облегчить поиски замка. Юноша, по-видимому, был несколько озадачен и признался, что он все время дивился про себя, зачем я ее расспрашивал.

— Черт возьми, — сказал я, — мне ведь нужно отыскать замок! А как же иначе мне до него добраться?

— Ну, ваша милость, на этот вопрос ответить нетрудно. Она поедет с вами. Так всегда делается. Она поедет с вами.

— Поедет со мной? Вздор!

— Конечно, поедет. Она поедет с вами. Вот увидите.

— Что? Она будет рыскать со мной по горам и лесам, наедине, хотя я почти помолвлен с другой? Да ведь это неприлично! Подумай, что скажут люди!

Ах, какое милое личико возникло перед моими глазами! А Кларенс стал пылко расспрашивать меня о моих сердечных делах. Я взял с него клятву, что он будет молчать, и прошептал ее имя: «Пусс Фланаган». Он был разочарован и сказал, что не помнит такой графини. Для него, молодого придворного, было так естественно тотчас же наградить ее титулом. Он спросил меня, где она живет.

— В восточной части Хар... ^[20] — начал я и осекся, смущенный; затем сказал: — Сейчас не стоит говорить об этом. Когда-нибудь я тебе расскажу.

А может он ее повидать? Позволю я ему когда-нибудь посмотреть на нее?

Мне было нетрудно дать ему обещание: тринадцать столетий — такие пустяки; и я сказал: «да». Но вздохнул при этом, я не мог удержать вздоха. То был бессмысленный вздох, — ведь она еще не родилась. Но так уж мы устроены... в наплыве чувств мы не рассуждаем, мы просто чувствуем.

Весь день и всю ночь только и было разговору, что о моем предстоящем отъезде, и все наши ребята наперебой старались услужить мне и всячески за мной ухаживали, позабыв свою досаду, и так волновались, удастся ли мне одолеть тех людоедов и освободить тех перезрелых девиц, словно им самим предстояло выполнить этот подвиг. Славные это были дети — но всего только дети. Они без конца давали мне советы, как выследить великанов и как напасть на них, и учили меня заклинаниям, уничтожающим чары, и давали мне всякие зелья и прочую дрянь для прикладывания к ранам. И ни одному из них не приходило в голову, что, если я действительно такой удивительный чародей, каким я им казался, мне не нужны ни зелья, ни советы, ни заклинанья от чар, ни тем более оружие и латы, — даже если бы мне предстояло сразиться с огнедышащими драконами или дьяволами ада, а не только с какими-то заурядными людоедами из захолустья.

Мне надо было рано позавтракать и выехать на рассвете — таков обычай, но я дьявольски долго провозился с моими латами, и это несколько меня задержало. В них очень трудно влезать и очень трудно запомнить все мелочи. Прежде всего необходимо все тело обернуть одеялом и

создать нечто вроде прокладки, предохраняющей от холодного железа, потом надеть на себя кольчугу — нечто вроде рубашки с рукавами, сделанной из переплетенных мелких стальных колец, — такую гибкую, что если вы бросите ее на пол, она упадет кучкой, подобно большой намокшей рыболовной сети; она очень тяжела, и вообще для ночной рубашки более неудобного материала не выдумаешь; однако ею пользуются очень многие — сборщики налогов, реформаторы, короли и тому подобная публика, у которой нет ничего, кроме одного коня да сомнительного титула. Потом нужно натянуть сапоги с прокладкой из стальных полос и нацепить неуклюжие шпоры. Затем нужно надеть на голени ножные латы, а на бедра набедренники, затем наступает очередь грудных лат и спинных, — и вы начинаете чувствовать, что на вас надето слишком много. Затем к грудным латам нужно прикрепить короткую юбку из широких стальных полос, которая спереди закрывает верхнюю часть ног, а сзади имеет широкий вырез, чтобы можно было сесть, — эта юбка похожа на перевернутый угольный ящик и так же мало годна для того, чтобы надевать ее на себя, как и для того, чтобы вытирать об нее руки; затем нужно опоясаться мечом; на руки нужно надеть печные трубы, называемые нарукавниками, и прикрепить к ним железные рукавицы, а на голову — железную мышеловку со стальной сеткой сзади, прикрывающей затылок, — и вот, наконец, вы запакованы, как свеча, лежащая в форме. В таком наряде не потанцуешь. Человек, этак упакованный, похож на орех, который не стоит раскусывать, — так ничтожно его ядро по сравнению с его скорлупой.

Ребята помогли мне одеться, — без их помощи я не оделся бы никогда. Едва меня одели, вошел сэр Бедивер, и, взглянув на него, я понял, что выбрал далеко не самый удобный наряд для долгого путешествия. Сэр Бедивер был величав в своем наряде: и высок, и широк, и статен. На голове у него была коническая стальная каска, опускавшаяся только до ушей, а на лице вместо забрала — узкая стальная полоса, доходившая лишь до верхней губы и предохранявшая нос; все его тело от шеи до пят было покрыто гибкой кольчугой, состоявшей из рубахи и штанов. Поверх всего этого он носил плащ, тоже из кольчуги, свисавший с плеч до лодыжек; от середины до самого низа плащ этот был и спереди и сзади раздвоен, — когда сэр Бедивер сидел верхом, полы плаща прикрывали бока коня. Он отправлялся граалить, и его одежда была отлично приспособлена для путешествия. Я много бы дал за такую куртку, как у него, но уже нельзя было терять времени. Взошло солнце, и король вместе со всем своим двором ждал меня, чтобы пожелать мне удачи; промедление было бы нарушением этикета. Вам самому ни за что не влезть на коня; если вы попытаетесь, вас ждет разочарование. Вас волокут на двор, как волокут в аптеку человека, пораженного солнечным ударом; вас втаскивают на коня, вас усаживают, суют ваши ноги в стремяна, а вы в это время кажетесь себе нестерпимо громоздким — каким-то другим человеком, который или только что нечаянно женился, или ослеплен молнией и до сих пор глух, нем и не может прийти в себя. Затем в подставку возле моей левой ноги вставили мачту, которую называют копьем, и я ухватился за нее рукой; наконец на шею мне повесили щит; и вот — я готов, могу поднять якорь и выйти в море. Все были безмерно благожелательны ко мне, а одна фрейлина даже собственноручно поднесла мне прощальный кубок. Теперь оставалось только посадить на круп коня ту девицу; усевшись, она обхватила меня руками, чтобы не упасть.

И мы двинулись в путь. Все желали нам удачи, махали платками и шлемами. А когда мы спускались с холма и проезжали через деревню, все встречные почтительно кланялись, кроме оборванных мальчишек из предместья. Мальчишки кричали:

— Чучело! Чучело! — и швыряли в нас комьями земли.

Я по опыту знаю, что мальчишки во все века одинаковы. Они ничего не уважают, никем и ничем не дорожат. Они орали: «Проваливай, плешивый!»^[21] пророку, который в глубокой древности шел своей дорогой, никого не трогая; они дразнили меня в священном сумраке

средневековья; так же они поступали и во время президентства Бьюкенена^[22]; это я хорошо помню, потому что сам был тогда мальчишкой и хулиганил вместе с ними. У пророка были медведи, и они разделались с тогдашними мальчишками; я хотел слезть с коня и разделаться с теперешними, но это было неисполнимо, потому что я не смог бы влезть обратно. Ненавистная страна, где нет подъемных кранов!

12. Медленная пытка

Мы сразу выехали за город. Как хороши, как прекрасны были эти безлюдные леса прохладным утром ранней осени! С вершин холмов мы видели внизу под собой очаровательные зеленые долины, по которым, извиваясь, текли ручьи, раскиданные там и здесь кущи деревьев, одинокие огромные дубы и вокруг них темные пятна густой тени; за долинами мы видели волнистые гряды холмов, окутанных голубоватой дымкой и тянувшихся до самого горизонта; на их вершинах, далеко друг от друга, иногда замечали мы то белое, то серое пятнышко и знали: там замок. Мы пересекали широкие луга, сверкавшие росой, мы двигались неслышно, словно духи, — почва была так мягка, что мой конь ступал беззвучно; как во сне ехали мы по лесным тропинкам, озаренные зеленоватым светом, проникавшим сквозь пронизанную солнцем лиственную кровлю над нашими головами, а у копыт моего коня бежали, журча по камешкам, ручейки, прозрачайшие, прохладнейшие, и шепот их ласкал слух, словно музыка; по временам мы, оставив простор полей, углублялись в торжественную чащу, и нас окружал лесной сумрак, где шныряли, шурша, какие-то загадочные дикие зверьки, убегавшие так быстро, что мы не успевали даже уловить, откуда донесся шорох; где проснулись только самые ранние из птиц и сразу принялись за песни и ссоры; где слышно таинственное гуденье и жужжанье насекомых, облепивших какой-нибудь древесный ствол в непроходимой лесной глуши. Затем мало-помалу мы снова выбирались на солнечный свет.

Выбираться на солнечный свет из чащи в четвертый, в пятый раз, часа через два после восхода солнца, было уже не так приятно, как вначале. Становилось жарко. Солнце заметно припекало. А тут, как назло, нам пришлось долго ехать по открытой местности без всякой тени. Любопытно наблюдать, как маленькие неудобства, возникнув, постепенно превращаются в большие и умножаются. Начинаешь замечать то, на что прежде не обращал внимания, и чем дальше — тем больше. В первые десять-пятнадцать раз, когда мне понадобился носовой платок, я не обратил на это внимания; я говорил себе: обойдусь, ехал дальше и тотчас же забывал о нем. Но теперь другое дело: теперь он все время был мне нужен, мысль о платке меня долбила, долбила, долбила без конца, и никак не мог о нем я позабыть и, наконец, вышел из себя и проклял человека, который, изготавливая латы, не приделал к ним карманов. Видите ли, мой носовой платок лежал в шлеме вместе с некоторыми другими мелочами, а шлем у меня был такой, что его нельзя было снять без посторонней помощи. Когда я клал туда платок, мне не пришло это в голову, — по правде говоря, я даже не знал этого. Я думал, что как раз всего удобнее положить его именно туда. И теперь меня особенно раздражала мысль, что платок тут, рядом, под руками, а достать его нельзя. Да, нам всегда хочется именно того, чего достать нельзя, — это замечал каждый. Я ни о чем другом не мог думать; я думал только о своем шлеме; я проезжал милью за милей, воображая себе носовой платок, рисуя себе носовой платок; соленый пот со лба затекал мне в глаза, а я не мог вытереть его, и как это было обидно! Читать об этом легко, а вот попробуйте вытерпеть такую муку на самом деле. Если бы мука была не настоящая, я не стал бы о ней и поминать. Я дал себе слово, что в следующий раз захвачу с собой в дорогу дамскую сумочку, и пусть обо мне говорят и думают, что хотят. Конечно, железные болваны Круглого Стола найдут это непристойным и поднимут меня на смех, но мне все равно, для меня всегда удобство важнее внешнего вида. Так мы тряслись, подвигаясь вперед и вздымая облака пыли, которая залезала в нос, заставляя меня чихать и плакать; и, конечно, я произносил слова, которые не следует произносить, — я этого не отрицаю: я ведь не лучше других.

Казалось, в этой пустынной Британии никого невозможно встретить, даже людоеда, а в том состоянии духа, в каком я находился, я был бы рад даже людоеду — конечно, людоеду с

носовым платком. Другие рыцари, встретясь с людоедом, думали бы лишь о том, как бы завладеть его оружием; я же стремился завладеть только его тряпицей для сморкания, а весь его железный лом с удовольствием оставил бы ему.

Тем временем становилось все жарче и жарче. Солнце, видите ли, поднималось все выше и все сильнее и сильнее нагревало на мне железо. Если вам жарко, вам досаждают всякая мелочь. Когда я ехал рысью, я звякал, как корзина с посудой, и это меня раздражало; щит хлопал и щелкал меня то по груди, то по спине, и я выходил из себя; а когда я принимался ехать шагом, все суставы мои начинали скрипеть и визжать, как колесо тачки, да вдобавок пропадали обвевавший меня ветерок, и я жарился, как в печи; к тому же, чем медленнее вы едете, тем тяжелее кажется надетое на вас железо, — оно словно прибавляет в весе по несколько тонн ежеминутно. Вдобавок вам приходится беспрестанно менять руку, держащую копье, и переставлять его с одной ноги на другую, так как держать его все время одной рукой слишком утомительно.

Как вам известно, когда пот течет ручьями, все тело начинает, извините за выражение, свербеть и чесаться. Вы внутри, а ваши руки снаружи; ничего не поделаешь: между руками и телом — железо. Нелегкое положение, что там ни говори. Сначала зачесется в одном месте, потом в другом, потом в третьем; зуд распространяется во все стороны, наконец оккупирует всю территорию, и невозможно себе даже представить, до чего это неприятно. И когда стало уже так плохо, что я едва терпел, под забрало залезла муха и уселась мне на нос; а забрало мое было тугое и поднять его я не умел; я только тряс головой, и муха, — вам, конечно, известно, как ведет себя муха, уверенная в своей безопасности, — муха перелетала с носа на губу, с губы на ухо и жужжала, жужжала и так кусалась, что я, и без того измученный, окончательно потерял терпение. Не выдержав, я велел Алисанде снять с меня шлем и освободить от мухи. Девушка вынула из шлема все, что в нем было, зачерпнула им воды и дала мне пить, а когда я напился и слез с коня, она выплеснула оставшуюся воду мне под кольчугу. Вы не можете себе представить, как это меня освежило. Она таскала воду и лила мне за шиворот до тех пор, пока я, промокнув насквозь, не почувствовал себя вполне хорошо.

Как приятен покой и отдых! Но полного покоя, полного счастья в нашей жизни никогда не бывает. Незадолго до своего отъезда я сделал себе трубку и изготовил недурной табак, не настоящий табак, а вроде того, который курят индейцы: из высушенной ивовой коры. Трубка и табак лежали в шлеме; теперь я снова мог ими распорядиться, но у меня не было спичек.

С течением времени выяснился еще один неприятный факт: мы находились в полной зависимости от случая. Запакованный в латы новичок не может влезть на коня без посторонней помощи. Сил одной Сэнди было недостаточно, по крайней мере для меня. Приходилось ждать, не подойдет ли еще кто-нибудь. Я охотно согласился бы ждать в тишине, так как мне было над чем поразмыслить. Я хотел поразмыслить над тем, как могло случиться, что умные, или хотя бы полоумные, люди выучились носить это железное одеяние, несмотря на все его неудобства, и как им удалось придерживаться этой моды в течение многих поколений, несмотря на то, что муки, которые я испытал, им приходилось испытывать ежедневно всю жизнь. Мне хотелось над этим поразмыслить; мало того, мне хотелось поразмыслить над тем, как исправить это зло и заставить людей отказаться от столь глупой моды, — но размышлять не было никакой возможности: нельзя размышлять, если рядом с вами Сэнди.

Она была послушная девушка, с добрым сердцем, но болтала без устали, молола, словно мельница, пока у вас не начинала болеть голова, словно от стука городских пролетов и телег. Она стала бы совсем милой девушкой, если бы ей можно было заткнуть рот пробкой. Но таким рот никак не заткнешь, пробка для таких — смерть. Она трещала весь день, и под конец вы начинали опасаться, как бы в ней что-нибудь не испортилось, — но нет, у таких никогда ничего

не портится. И никогда ей не приходилось подыскивать слова. Она могла молотить, и гудеть, и трещать, и бубнить целыми неделями, и ее не нужно было ни смазывать, ни продувать. А в результате всей этой работы только ветер подымался. У нее не было никаких мыслей — один туман. Превосходная болтуня: болтала, болтала, болтала, молола, молола, молола, трещала, трещала, трещала; но в общем она могла быть и хуже. Утром я не обращал внимания на ее мельницу, так как у меня было достаточно других неприятностей, но после полудня я не раз ей говорил:

— Помолчи, дитя; если ты и дальше будешь так расходовать здешний воздух — королевству придется ввозить его из-за границы, а казна и без того пуста.

13. Свободные люди!

Да, недолго, до странности недолго, человек может чувствовать себя довольным. Еще совсем недавно, когда я ехал и мучился, каким раем казалось бы мне это спокойствие, это отдохновение, отрадное безмолвие этого уединенного тенистого уголка на берегу быстрого ручья, где время от времени я освежал себя, плеща воду под кольчугу. А я уже был недоволен: отчасти оттого, что я не мог разжечь свою трубку, — я давно уже построил спичечную фабрику, но захватить с собой спички забыл, — а отчасти оттого, что нам нечего было есть. Вот еще пример детской непредусмотрительности этого века и этого народа. Воин, отправляясь в поход, не брал с собой еды и полагался на случай; он возмутился бы, если бы ему посоветовали привесить к копьёю корзинку с бутербродами. Любой рыцарь Круглого Стола предпочел бы умереть с голоду, чем показаться с такой штукой на древке своего копья. А казалось бы, что может быть благоразумнее? Я собирался сунуть пару бутербродов к себе в шлем, но меня на этом поймали; мне пришлось извиниться, бросить их, и они достались собаке.

Надвигалась ночь и с нею гроза. Быстро темнело. Нужно было готовиться к ночлегу. Я уложил девушку под одной скалой, а сам устроился поодаль, под другой. Но спать мне пришлось в доспехах, так как я не мог снять их сам и не мог позволить Алисанде помочь мне, — неловко раздеваться в присутствии посторонних. Под доспехами у меня, правда, была обычная одежда, но от предрассудков, привитых воспитанием, сразу не освободишься, и я знал, что, когда придется снимать мою короткую железную юбку, я буду очень смущен.

Гроза принесла с собой перемену погоды: чем сильнее дул ветер, чем яростнее хлестал дождь, тем становилось холоднее. Жуки, муравьи и червяки, не желавшие мокнуть, со всех сторон полезли ко мне под кольчугу, чтобы погреться. Некоторые из них вели себя хорошо и, забравшись в складки белья, лежали там спокойно, но беспокойных и непоседливых было больше, и они все время ползали то туда, то сюда, сами не зная зачем. В особенности докучали мне муравьи, устраивавшие на мне утомительные шествия из одного конца в другой и все время меня щекотавшие; не хотел бы я еще раз ночевать с муравьями. Людям, попавшим в мое положение, я могу посоветовать не кататься по земле, не колотить себя, так как это только привлекает внимание всяких живых тварей, находящихся поблизости: каждая из них захочет пойти посмотреть, что случилось, и положение ваше станет еще хуже, и ругаться вы будете еще неистовее, если только это возможно. Однако, если вы не будете кататься по земле, не будете колотить себя, вы умрете; следовательно, вы можете поступить, как вам угодно, — выбора в сущности нет. Даже промерзнув насквозь, я ощущал это щекотание и вздрагивал от него, как труп от электрического тока. Я дал себе слово, что, вернувшись из этого путешествия, никогда больше не надену лат.

В течение всех этих мучительных часов, когда я одновременно мерз и горел на медленном огне от щекотки и зуда, один и тот же вопрос без конца вертелся в моей утомленной голове — вопрос, на который не было ответа: как люди могут носить эти злополучные доспехи? Как они терпели их в течение стольких поколений? Как могут они спать по ночам, не страшась пыток, предстоящих на следующий день?

Когда, наконец, наступило утро, я был совсем плох; разбитый, вялый, кислый от бессонницы, усталый от ночного самоизбиения, ослабевший от голода, мечтающий об умывании, об истреблении насекомых и скрюченный от ревматизма. А как себя чувствовала благороднородная, титулованная аристократка, девица Алисанда ля Картелуаз? О, она была свежа и прыгала, как белка! Ночь проспала она как убитая. Умываться она, — как и другие знатные люди страны, — не привыкла и потому ничего не потеряла, оставшись без умывания. С

современной точки зрения, все тогдашние люди были в сущности дикари. Сопровождавшая меня благородная дама не проявляла ни малейшего желания скорее позавтракать, — и это тоже была в ней дикарская черта. Путешествуя, британцы тех времен привыкли к долгим постам и умели переносить их. Перед отъездом они наедались на несколько дней вперед, как делают индейцы и удавы. И можете быть уверены, Сэнди наелась по крайней мере на три дня.

Мы тронулись в путь перед восходом солнца; Сэнди ехала верхом, а я ковылял позади. Через полчаса мы наткнулись на нескольких жалких оборванцев, починявших то, что носило название дороги. Они встретили меня униженно, как животные; и когда я предложил им разделить со мною их завтрак, они были так ошеломлены моей снисходительностью, что даже не сразу поверили. Моя дама презрительно надула губы и отъехала в сторону; она громко заявила, что не собирается есть со всякими скотами, — причем эти ее слова несколько не обидели несчастных, а только напугали. А между тем то были не рабы, не крепостные. Как бы в насмешку, они назывались «свободными людьми». К сословию «свободных людей» принадлежало семь десятых незакрепощенного населения страны: мелкие «независимые» фермеры, ремесленники и т. д.; иными словами, именно это и был народ, подлинная нация; это сословие включало в себя все то, что было в нации полезного и достойного уважения; исключите его из нации, и у вас останутся лишь подонки и отбросы, вроде короля, знати и дворянства, — ленивые, бесполезные, умеющие только разрушать и не представляющие никакой ценности для разумно устроенного общества. А между тем благодаря своим хитрым козням это позолоченное меньшинство, вместо того чтобы плестись в хвосте, где было его настоящее место, шествовало впереди с развевающимися знаменами, оно только себя считало нацией; и бесчисленные труженики терпели это безобразие до тех пор, пока сами в него не уверовали; они уверовали, что такое положение справедливо и что так и должно быть. Попы говорили их отцам и им самим, что это издевательство изобретено богом; и они, не подумав, что богу вряд ли свойственно развлекаться шутками, да еще такими жалкими и глупыми, верили попам и вели себя почтительно и смиренно.

Для того, кто еще недавно был американцем девятнадцатого века, странными казались речи этих покорных людей. Они считались свободными, но не могли уйти из поместья своего лорда или своего епископа без их позволения; они не имели права сами молоть свое зерно и печь для себя хлеб, они обязаны были отвозить все свое зерно на мельницу лорда, всю свою муку в пекарню лорда и за все это хорошенько платить. Они не могли продать ни клочка своей земли, не уплатив лорду изрядного процента с вырученных денег, а покупая чужую землю, они платили лорду за позволение совершить покупку; они должны были даром убирать его хлеб и являться по первому его зову, бросая свой собственный урожай в добычу надвигающейся буре; они обязаны были разрешать ему сажать фруктовые деревья на их полях и сдерживать свой гнев, когда сборщики плодов по небрежности вытаптывали посевы вокруг деревьев; они должны были подавлять свой гнев, когда лорд с гостями во время охоты скакал по их полям, уничтожая все достигнутое терпеливыми трудами; они не имели права держать голубей, если же стаи голубей из голубятни милорда слетались пожирать их урожай, они не смели, рассердясь, убить ни одной птицы, так как за это полагалась тяжкая кара; когда же, наконец, им удавалось собрать жатву, сразу налетала банда хищников, каждый за своею долей: сначала церковь взимала жирную десятину, затем королевский сборщик — двадцатую часть, затем люди милорда отрывали изрядный кусок от того, что оставалось; и только тогда ограбленный свободный человек мог отвезти остатки урожая к себе в житницу, если только его еще стоило везти; а потом — налоги, налоги, налоги, и снова налоги, и налоги опять, налоги, которые должен платить только он, свободный и независимый нищий, но не господин его — барон, ни епископ, ни расточительная знать, ни всепожирающая церковь; если барону не спалось, свободный человек после трудового

дня должен был сидеть всю ночь напролет у пруда и стегать по воде прутком, чтобы лягушки не квакали; если дочь свободного человека... впрочем, эта последняя низость монархического образа правления совсем непечатного свойства; и, наконец, если свободный человек, доведенный этими муками до отчаяния, хотел прекратить свою невыносимую жизнь и покончить с собой, ища прибежища и милосердия у смерти, кроткая церковь обрекала его на вечные муки ада, кроткий закон хоронил его в полночь на перекрестке дорог, вогнав ему кол в спину, а его господин — барон или епископ — забирал себе его имущество и выгонял его вдову с сиротами на улицу.

И вот эти свободные люди собрались здесь чуть свет, чтобы чинить дорогу господина своего, епископа, даром; каждый глава семьи и каждый сын его должны были работать три дня даром, а их батраки — на один день больше. Казалось, будто я читаю о Франции и о французах до их навеки памятной и благословенной революции, которая одной кровавой волной смыла тысячелетие подобных мерзостей и взыскала древний долг — полкапли крови за каждую бочку ее, выжатую медленными пытками из народа в течение тысячелетия неправды, позора и мук, каких не сыскать и в аду. Нужно помнить и не забывать, что было два «царства террора»; во время одного — убийства совершались в горячке страстей, во время другого — хладнокровно и обдуманно; одно длилось несколько месяцев, другое — тысячу лет; одно стоило жизни десятку тысяч человек, другое — сотне миллионов. Но нас почему-то ужасает первый, наименьший, так сказать минутный террор; а между тем, что такое ужас мгновенной смерти под топором по сравнению с медленным умиранием в течение всей жизни от голода, холода, оскорблений, жестокости и сердечной муки? Что такое мгновенная смерть от молнии по сравнению с медленной смертью на костре? Все жертвы того красного террора, по поводу которых нас так усердно учили проливать слезы и ужасаться, могли бы поместиться на одном городском кладбище; но вся Франция не могла бы вместить жертв того древнего и подлинного террора, несказанно более горького и страшного; однако никто никогда не учил нас понимать весь ужас его и трепетать от жалости к его жертвам.

Эти бедные мнимо свободные люди, разделившие со мной завтрак и беседу, столь смиренно чтили короля, церковь и знать, что худшего не мог бы пожелать им и их злейший враг. Мне было смешно и грустно смотреть на них. Я спросил их, могут ли они представить себе народ, который, обладая правом свободного выбора, выбрал бы в правители одну семью, с тем чтобы ее потомки во веки веков властвовали над ним, независимо от того, будут ли они даровитыми людьми или болванами, и с тем, чтобы никакая другая семья, в том числе и семья избирателя, никогда не могла бы уже достичь такого могущества; а также выбрал бы несколько сотен семейств с тем, чтобы вознести их на головокружительную высоту и украсить оскорбительными для других, передающимися по наследству почестями и привилегиями, и с тем, чтобы все остальные семьи в стране, в том числе и семьи избирателя, этих почестей и привилегий были лишены?

Они выслушали меня равнодушно и ответили, что ничего этого не знают, что никогда об этом не думали и что они не могут вообразить себе страну, в которой народ *имеет право* высказывать свое мнение о делах государственных. Я ответил, что видел один такой народ и что он не потеряет своих прав до тех пор, пока не введет у себя единую господствующую церковь. Они опять выслушали меня равнодушно. Но вдруг один из них посмотрел мне в лицо и попросил повторить то, что я сказал, повторить медленно, чтобы он мог понять. Я повторил. Он скоро понял меня, стукнул кулаком и заявил, что, по его мнению, народ, имеющий право выбора, никогда добровольно не опустится в такую грязь и что ограбить народ, отняв у него право выбора, — тягчайшее из всех преступлений.

Я сказал себе:

— Вот это человек. Будь у меня побольше таких, я добился бы благоденствия этой страны и доказал бы свою верность ей, коренным образом изменив всю систему правления.

Видите ли, я понимаю верность как верность родине, а не ее учреждениям и правителям. Родина — это истинное, прочное, вечное; родину нужно беречь, надо любить ее, нужно быть ей верным; учреждения же — нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может изнашиваться, порваться, сделаться неудобной, перестать защищать тело от холода, болезни и смерти. Быть верным тряпкам, прославлять тряпки, преклоняться перед тряпками, умирать за тряпки — это глупая верность, животная верность, монархическая, монархиями изобретенная; пусть она и останется при монархиях. А я родом из Коннектикута, в конституции которого сказано, что «вся политическая власть принадлежит народу и все свободные правительства учреждаются для блага народа и держатся его авторитетом; и народ имеет неоспоримое и неотъемлемое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным».

С этой точки зрения, гражданин, который видит, что политические одежды его страны изнашивались, и в то же время молчит, не агитирует за создание новых одежд, не является верным родине гражданином, — он изменник. Его не может извинить даже то, что он, быть может, единственный во всей стране видит изношенность ее одежд. Его долг — агитировать несмотря ни на что, а долг остальных — голосовать против него, если они с ним не согласны.

И вот я попал в страну, где право высказывать свой взгляд на управление государством принадлежало всего лишь шести человекам из каждой тысячи. Если бы остальные девятьсот девяносто четыре выразили свое недовольство образом правления и предложили изменить его, эти шесть «избранных» содрогнулись бы от возмущения — какая низость, какая бесчестность, какая черная измена! Иными словами, я был акционером компании, девятьсот девяносто четыре участника которой вкладывают все деньги и делают всю работу, а остальные шестеро, избрав себя несменяемыми членами правления, получают все дивиденды. Мне казалось, что девятьсот девяносто четыре, оставшиеся в дураках, должны перетасовать карты и снова сдать их. Меня подмывало сложить с себя высокий сан Хозяина, поднять восстание и превратить его в революцию, но я знал, что если какой-нибудь Джек Кэд или Уот Тайлер ^[23] попытается начать революцию, не подготовив предварительно своих сподвижников, он непременно будет обречен на неудачу. А я не привык к неудачам. Поэтому «перетасовка карт», которую я задумал, была совсем не кэд-тайлеровского сорта.

И не о крови, не о восстании говорил я с тем человеком, который сидел против меня в толпе угнетенных и невежественных двуногих баранов, жуя черный хлеб; нет, я отвел его в сторону и поговорил с ним совсем о другом. Когда я кончил, я попросил его одолжить мне немного чернил из его вен; этими чернилами я написал прутиком на куске коры: «Отправь его на Фабрику Людей», и отдал ему, сказав:

— Отнеси это во дворец в Камелоте и отдай в собственные руки Амиасу ле Пулету, которого я называю Кларенсом, и он все поймет.

— Значит, он поп? — сказал человек, и на лице его уже не было прежнего восторга.

— Как поп? Разве я не говорил тебе, что на мою Фабрику не пускают ни рабов церкви, ни прислужников ее — попов и епископов? Разве я не говорил тебе, что и ты сам можешь быть принят только при условии, что твоя религия, какова бы она ни была, останется твоим личным делом?

— Говорить-то говорили, и я был рад вас слушать, но теперь я начинаю сомневаться, мне не нравится, что там этот поп.

— Уверю тебя, он вовсе не поп.

Но собеседник мой явно не верил мне. Он сказал:

— Как же не поп, если он умеет читать?

— Вот так: не поп, а умеет читать и даже писать. Я сам научил его. — Тут лицо моего собеседника прояснилось. — И тебя на Фабрике прежде всего научат читать...

— Меня? Да я готов отдать всю мою кровь, чтобы научиться этому искусству. Я стану вашим рабом, вашим...

— Нет, этого не нужно, ты ничьим рабом не будешь. Забирай свою семью и отправляйся в путь. Господин твой, епископ, захватил твое ничтожное имущество, но ты об этом не жалея — Кларенс вознаградит тебя.

14. «Защищайся, лорд!»

За завтрак я заплатил три пенни, и то была чрезвычайно щедрая плата, так как за эти деньги можно было накормить двенадцать человек; но к этому времени я отдохнул и прекрасно себя чувствовал, а кроме того, у меня издавна была склонность сорить деньгами; к тому же эти люди готовы были даром разделить со мной свои скудные запасы, и мне доставило удовольствие выразить свое благоволение и свою искреннюю благодарность щедрым денежным подарком, — тем более что деньги эти, находясь у них, могли принести гораздо больше пользы, чем болтаясь в моем шлеме, ибо надо помнить, что пенни в те времена изготовлялись из железа, и полдоллара мелочи, которую я захватил с собой, составляли весьма тяжкую ношу. Признаться, в те дни я вообще был слишком расточителен; но отчасти это объяснялось тем, что, хотя я уже довольно долго жил в Британии, я все еще никак не мог приспособиться к положению вещей и не отдавал себе отчета, что на одно пенни в королевстве Артура можно купить примерно столько же, сколько на пару долларов в Коннектикуте, — покупательная способность этих денег была одинаковая. Если бы я выехал из Камелота на несколько дней позже, я мог бы заплатить этим людям красивыми новенькими монетами моей собственной чеканки, что было бы, конечно, гораздо приятнее и для меня и для них. Я принял за основу американскую монетную систему. Через неделю или через две центы, десятицентовики, четверти долларов, полудоллары, а также золотые вольются тонким, но неиссякаемым потоком во все торговые артерии королевства, и я уже заранее представлял себе, как эта новая кровь освежит всю жизнь.

Фермеры во что бы то ни стало хотели отплатить мне за мою щедрость; пришлось позволить им подарить мне кремень и огниво; и как только они усадили меня и Сэнди на коня, я закурил свою трубку. Едва первый клуб дыма вырвался из решетки моего забрала, все фермеры помчались в лес, а Сэнди грохнулась с лошади. Они приняли меня за одного из тех огнедышащих драконов, о которых так много слышали от рыцарей и прочих профессиональных лгунов. Мне стоило немалого труда убедить их подойти на такое расстояние, чтобы я мог объяснить им, в чем дело. Я сказал им, что это пустяковое колдовство не опасно ни для кого, кроме моих врагов. И, положив руку на сердце, дал обещание, что всякий, кто без вражды подойдет ко мне, увидит, как те, которые откажутся подойти, умрут на месте. Все сейчас же кинулись ко мне. Несчастных случаев не было, так как ни у кого не хватило любознательности остаться на месте, и посмотреть, что из этого выйдет.

Я потерял довольно много времени, ибо эти взрослые дети, избавившись от страха, пришли в такой восторг от моего умения дышать огнем и дымом, что не отпускали меня, пока я не выкурил еще две трубки. Впрочем, задержка оказалась бесполезной: Сэнди успела несколько привыкнуть к трубке, а это в совместном путешествии было необходимо. Кроме того, она временно приостановила свою говорильную мельницу, а это тоже немалый выигрыш. Но всего важнее было то, что теперь я кое-чему научился и был готов к встрече с любым великаном или людоедом.

Мы переночевали у святого отшельника, а на следующий день в полдень мне представился случай воспользоваться моим опытом. Мы ехали по обширной поляне, и я так глубоко ушел в свои мысли, что ничего не видел и не слышал; и вдруг Сэнди, прервав на полуслове свой рассказ, который начала еще утром, крикнула:

— Защищайся, лорд! Твоя жизнь в опасности!

Она соскользнула с коня, отбежала в сторону и остановилась. Я оглянулся и увидел вдали под деревом полдюжины рыцарей с оруженосцами; они всполошились и принялись торопливо подтягивать подпруги у своих коней, чтобы вскочить в седла. Трубка моя была набита, и я давно

бы закурил ее, если бы не задумался о том, как освободить эту страну от гнета и, по возможности никого не обижая, вернуть народу его похищенные права. Я сразу зажег трубку, набрал в рот дыму и стал ждать нападения. Рыцари поскакали ко мне все вместе, совсем не по-рыцарски; напрасно пишут про них в книгах, будто нападение обычно совершает один какой-нибудь учтивый мерзавец, а остальные стоят в стороне и следят за тем, чтобы поединок происходил по всем правилам. Нет, они неслись ко мне все разом, неслись, как вихрь, неслись, как пушечные ядра, неслись, опустив головы с развевающимися перьями и выставив вперед копья. Это было красивое зрелище, прекрасное зрелище — если любоваться им с верхушки дерева. Я оставил свое копье в покое и с бьющимся сердцем ждал приближения этой железной волны, затем выпустил столб белого дыма сквозь решетку моего забрала. Железная волна расплескалась на мелкие брызги и отхлынула. Это зрелище было еще красивее прежнего.

Однако они остановились в трех сотнях ярдов от меня, и я стал беспокоиться. Радость моя сменилась страхом; я решил, что погиб. Но Сэнди сияла; ей хотелось поговорить, но я перебил ее, объяснив, что колдовство мое почему-то не удалось и что она должна сесть на коня, так как нам нужно удирать. Нет, удирать она не собиралась. Она уверяла, что мое колдовство лишило тех рыцарей силы; они не уезжают только оттого, что не могут уехать; если немного подождать, они свалятся со своих коней и нам достанутся и кони и доспехи. Мне не хотелось пользоваться ее простодушной доверчивостью, и я сказал ей, что она ошибается, что когда вырывающееся из меня пламя убивает, оно убивает мгновенно, а раз эти люди еще живы, значит в моей машине что-то неладно, и я сам не знаю что; мы должны удирать как можно скорее, так как через минуту эти люди снова нападут на нас.

Сэнди рассмеялась и сказала:

— Вот уж нет, сэр, они не из той породы! Сэр Ланселот, тот стал бы сражаться с драконами; он бы напал на драконов снова и снова, до тех пор пока не победил бы их и не уничтожил; быть может, так поступил бы и сэр Пеллинор, и сэр Эгловэл, и сэр Карадос, и еще некоторые, но остальные ни за что не отважатся на такое дело, сколько бы они ни хвастались. Неужели вы думаете, что этим низким негодьям мало того, что они получили, и они захотят еще?

— Чего же они в таком случае ждут? Отчего они не уезжают? Их никто не держит. Я вовсе не собираюсь сводить с ними счеты.

— Вы хотите отпустить их? Ну нет, это вам не удастся. Они об этом даже и мечтать не смеют. Они хотят вам покориться.

— Правда? Чего же они медлят?

— Они охотно покорились бы. Если бы вы знали, как здесь чтут драконов, вы не стали бы их обвинять. Они боятся к вам приблизиться.

— Ну что ж, я сам приближусь к ним и...

— Нет, нет, они умрут от страха, если вы двинетесь с места. Я пойду к ним сама.

И пошла. С ней было удобно путешествовать. Я бы, пожалуй, побоялся взять на себя такое поручение. Немного погодя я увидел, что рыцари скачут прочь, а Сэнди возвращается. Я облегченно вздохнул. Я решил, что у нее ничего не вышло и что разговор оборвался с первых же слов; иначе он не был бы так короток. Но оказалось, что ей удалось добиться полнейшего успеха. Как только она сказала им, что я Хозяин, они были сражены наповал; «они потеряли рассудок от ужаса», объяснила она мне, и готовы были исполнить все, чего бы она ни потребовала. Тогда она заставила их поклясться, что они через два дня явятся ко двору короля Артура и сдадутся в плен вместе с конями и оружием и отныне во всем будут мне подвластны и послушны. Она сделала все гораздо лучше, чем сделал бы я сам! Чудесная девчонка!

15. Рассказ Сэнди

— Итак, я владелец нескольких рыцарей, — сказал я, когда мы тронулись в путь. — Вот никогда не думал, что придется копить такое добро. Не знаю, что мне с ними делать; разве разыграть их в лотерею. Сколько их, Сэнди?

— Семеро, с вашего позволения, сэр, не считая оруженосцев.

— Недурной улов. Кто они такие? Откуда они свалились?

— Откуда они свалились?

— Ну да, где они живут?

— Ах, я не поняла вас. Сейчас я дам вам ответ.

И, в глубокой задумчивости, она заговорила, мягко и выразительно произнося слова:

— Свалились... свалились... откуда свалились?.. откуда они свалились? Верно, верно — откуда они свалились? Какая изящная фраза, какое изысканное сочетание слов! Я буду повторять эти слова до тех пор, пока не выучу их наизусть. Откуда они свалились? Правильно! Теперь эти слова так и катятся с языка, и когда...

— Не забудь про ковбоев, Сэнди.

— Про ковбоев?

— Ну, про рыцарей. Ты собиралась мне про них рассказать несколько минут назад. Говоря в переносном смысле, ты уже сделала первый ход.

— Первый ход?..

— Да! да! да! Бей по мячу. Я хочу сказать: начинай свой рассказ и не трать так много спичек на растопку. Расскажи мне об этих рыцарях.

— Я расскажу, я сейчас начну. Итак, они вдвоем пустились в путь и въехали в огромный лес. И...

— Черт побери!

Я, видите ли, сразу понял свою ошибку. Я открыл шлюзы красноречия Сэнди, я сам был виноват! Теперь пройдет целый месяц, прежде чем она доберется до фактов. Начинала она всегда без предисловия и кончала без вывода. Если вы ее перебьете, она либо не обратит на вас никакого внимания, либо ответит вам двумя словами, вернется назад и повторит всю фразу сначала. Следовательно, перебивать ее — значило ухудшать положение; однако я перебивал ее, и перебивал часто, ради спасения собственной жизни, ибо, слушая целый день ее однообразное жужжание, можно было умереть.

— Черт побери! — сказал я в отчаянии.

Она тотчас же вернулась назад и повторила:

— Итак, они вдвоем пустились в путь и въехали в огромный лес. И...

— Кто они?

— Сэр Гоуэн и сэр Уэн. И приехали они в монашескую обитель, и приняли их там радушно. И наутро, прослушав обедню, они снова пустились в путь и въехали в огромный лес; и вдруг в долине, возле башни, сэр Гоуэн узрел двенадцать прекрасных дев, а с ними двух рыцарей на огромных конях; девы гуляли возле какого-то дерева. И сэр Гоуэн узрел, что на дереве висит белый щит и что девы, проходя мимо этого щита, плюют в него и швыряют грязью.

— Я не поверил бы тебе, Сэнди, если бы сам не видел в здешней стране таких же выходов. Но я видел, и живо представляю себе, как эти девы шествуют перед щитом и плюют в него. Женщины ведут себя здесь, как одержимые. Я имею в виду даже самых лучших женщин из самого избранного общества. Самая заурядная телефонная барышня, обслуживающая провод в десять тысяч миль, могла бы научить вежливости, терпению, скромности и хорошим манерам

знатнейшую герцогиню в стране короля Артура.

— Телефонная барышня?

— Да. И не проси у меня объяснений; это девушка нового склада, таких здесь не бывает; иногда человек грубо с ней поговорит, хотя она нисколько не виновата, а потом стыдится этого и жалеет потом об этом тринадцать сотен лет, так как грубить подло, особенно если грубость твоя ничем не вызвана; ни один настоящий джентльмен не станет грубить телефонной барышне... хотя я... да, я сам, признаться...

— Быть может, она...

— Бог с ней, оставь ее в покое; все равно ты ничего о ней не поймешь, сколько бы я ни объяснял.

— Пусть будет так, если вам угодно. И вот сэр Гоуэн и сэр Уэн приблизились к ним, поздоровались с ними и спросили их, за что они так презирают этот щит. «Сэры, — сказали девы, — мы вам ответим. Этот белый щит принадлежит одному рыцарю, живущему в нашей стране; он отважный рыцарь, однако он ненавидит всех дам и знатных женщин, живущих в нашей стране, и потому мы позорим его щит». — «Не подобает, — сказал сэр Гоуэн, — славному рыцарю ненавидеть дам и знатных женщин, но, быть может, у него есть к тому причины, быть может он любит дам и знатных женщин какой-нибудь другой страны; и если он так доблестен, как вы утверждаете...»

— Доблестен... Да, женщины ценят только доблесть, Сэнди. Ум для них — ничто. Том Сэйерс, Джон Хинэн, Джон Л.Салливан^[24], как жаль, что вас здесь нет. Через двадцать четыре часа вы добились бы права держать ноги под Круглым Столом и носить титул «сэр», а еще через двадцать четыре часа вы перетасовали бы заново всех замужних принцесс и герцогинь двора. Здешний двор напоминает двор команчей, где каждая индианка готова променять мужа на любого здорового молодца, лишь бы у него за поясом было побольше скальпов.

— ...«Если он так доблестен, как вы утверждаете, — сказал сэр Гоуэн, — назовите мне его имя». — «Сэр, — сказали они, — его зовут Мархауз, он королевский сын Ирландии».

— Надо говорить — сын короля Ирландии; ты говоришь неправильно. А теперь держись крепче, мы сейчас перепрыгнем через этот овраг... Вот так! Наша лошадь годится для цирка; она родилась преждевременно.

— ...«Этот рыцарь мне хорошо знаком, — сказал сэр Уэн, — он не хуже любого из ныне живущих. Я видел, как он на турнире сражался со многими рыцарями, и ни один не мог победить его». — «Ах, девы, — сказал Гоуэн, — мне думается, вы поступите неосторожно, ибо тот, кто повесил здесь свой щит, скоро вернется, и тогда вы увидите, могут ли с ним сравниться те два рыцаря, и узнаете, что этот щит более достоин вашего поклонения, чем поругания; я же не хочу больше оставаться здесь и смотреть на посрамление рыцарского щита». Сэр Уэн и сэр Гоуэн отъехали в сторону и вдруг увидели сэра Мархауза, который скакал прямо на них на огромном коне. Заметив сэра Мархауза, двенадцать дев со всех ног кинулись в башню и так спешили, что некоторые даже упали. Тогда один из рыцарей башни поднял свой щит и заносчиво крикнул: «Сэр Мархауз, защищайся!» И они съехались, и рыцарь сломал об Мархауза свое копьё, а сэр Мархауз скинул его на землю, и тот, падая, сломал шею себе и спину своему коню...

— Какой скверный обычай! Сколько лошадей гибнет зря.

— ...Это увидел второй рыцарь башни и бросился на Мархауза, и они сшиблись так яростно, что рыцарь башни рухнул на землю вместе с конем, оба мертвые.

— Еще одна лошадь погибла; говорю тебе, этот обычай надо уничтожить. Не понимаю, как умные люди могут терпеть такие обычаи и восхищаться ими.

— ...И вот, эти два рыцаря яростно кинулись друг на друга...

Я, видимо, задремал и пропустил целую главу, но ничего не сказал об этом Сэнди. Я предположил, что ирландский рыцарь за это время успел подраться с приезжими, и так оно и оказалось.

— ...Сэр Уэн с такой силой ударил сэра Мархауза, что сломал свое копье об его щит, и сэр Мархауз с такой силой ударил сэра Уэна, что свалил его вместе с конем на землю и пронзил ему левый бок...

— Сказать по правде, Алисанда, все эти ваши старинные повести *слишком* просты; запас слов у вас очень мал, и потому описания страдают отсутствием разнообразия; в них одни только факты, голые, как Сахара, и совсем нет никаких живописных подробностей, это придает им монотонность; ведь все сражения в сущности одинаковы: двое яростно бросаются друг на друга; «яростно» — хорошее слово, но есть слова ничуть не хуже, например: «бешено», или «пламенно», или «хищно», и сотни других; а то, черт возьми, что получается: они яростно кидаются друг на друга, ломают копья, затем один разбивает щит другого, и тот падает вместе с конем или перелетает через круп коня и ломает себе шею, потом еще кто-нибудь яростно кидается, потом еще и еще, пока не будет израсходован весь материал; и если вы захотите подвести итог, вам не удастся ни отличить один поединок от другого, ни понять, кто победил, и вместо живой картины боя, полной бешенства и рева, у вас получается нечто бледное и беззвучное, — будто какие-то призраки сражались в тумане. Боже, как бы вы стали описывать при таком скудном запасе слов какое-нибудь происшествие позначительнее — например, сожжение Рима Нероном! Вы сказали бы: «Город сгорел; страховая премия уплачена не будет; мальчик разбил окно; пожарный сломал себе шею!» Нет, это не изображение пожара!

Я прочел ей целую лекцию, но на Сэнди она не произвела ни малейшего впечатления; пары ее словоизвержения снова вырвались наружу, чуть только я приоткрыл крышку.

— ...Тогда сэр Мархауз повернул коня и помчался к сэру Гоуэну, направив на него копье. Заметив это, сэр Гоуэн поднял свой щит, и они оба, выставив копья вперед, понеслись друг на друга во всю прыть своих коней и ударили друг в друга в щиты, но копье сэра Гоуэна сломалось...

— Я знал это заранее.

— ...а у сэра Мархауза не сломалось; и сэр Гоуэн вместе с конем рухнул на землю...

— Ну конечно... и сломал себе спину...

— ...однако сэр Гоуэн с легкостью вскочил на ноги, выхватил свой меч и пеший бросился на сэра Мархауза, и тот тоже спешил, и стали они биться мечами с такой яростью, что их щиты разлетелись в куски, их шлемы и панцири раскололись, и оба они были ранены. Уже пробило девять часов, они дрались уже три часа, и с каждым часом сэр Гоуэн становился все сильнее и сильнее, и силы его утроились. Сэр Мархауз это заметил и очень дивился, почему сила его противника растет, хотя они оба ранены; и когда, наконец, наступил полдень...

Звук ее заунывного голоса напоминал мне звуки, которые я так часто слышал в детстве:

«Нью-у-у-Хейвен! Десять минут остановки... За две минуты до отправления кондуктор ударит в колокол... Пассажиры, отправляющихся по Приморской дороге, просят пересест в задний вагон... Этот вагон дальше не пойдет... Яблоки, апельсины, бананы, бутерброды, конфеты!»

— ...и пришел полдень, и день стал клониться к вечеру. И силы сэра Гоуэна стали иссякать, и он слабел и не мог больше биться, а сэр Мархауз становился все огромнее и огромнее...

— Ему сделалось тесно в его латах; но разве эти люди способны обратить внимание на подобные мелочи.

— ...«Сэр, — сказал сэр Мархауз, — я вижу, что вы доблестный рыцарь и что вы человек необычайной силы, но сила ваша начинает покидать вас, а так как важных причин для нашей ссоры нет, мне было бы жаль убить вас теперь, когда вы совсем ослабели». — «Ах, — сказал сэр Гоуэн, — благородный рыцарь, вы произнесли слова, которые я произнес бы сам на вашем месте»; и они сняли шлемы, и поцеловались, и поклялись любить друг друга, как братья...

Но тут я потерял нить и задремал, размышляя над тем, как жаль, что люди, обладающие такой необычайной силой, — силой, дающей им возможность, закупорив себя в нестерпимо тяжелый железный панцирь и обливаясь потом, рубить, и колотить, и молотить друг друга шесть часов подряд, — не родились в такое время, когда их сила могла бы пригодиться на что-нибудь полезное. Возьмите, например, осла: осел обладает как раз такой силой, но употребляет эту силу на пользу, и потому весь мир ценит его за то, что он осел; а дворянина никто не станет ценить за то, что он осел. Из сочетания дворянина с ослом ничего путного выйти не может, и дворянин никогда не должен выдвигать на первое место ослиную силу. Но ничего не поделаешь, раз вы начали с ошибки, беды не исправишь, и никто вам не скажет, чем вы кончите.

Проснувшись, я заметил, что опять пропустил целую главу и что Алисанда уже увела своих героев очень далеко.

— ...Они ехали, ехали и въехали в глубокий овраг, полный камней, по дну которого бежал прозрачный ручеек; этот ручеек вытекал из фонтана, а у фонтана сидели три девы. «С тех пор, как этот край принял христианство, — сказал сэр Мархауз, — со всяким рыцарем, заезжавшим сюда, непременно случались странные приключения...»

— Ты неправильно передаешь его речь, Алисанда. Сэр Мархауз, сын ирландского короля, говорит у тебя, как все остальные; ты должна придать ему ирландский акцент или по крайней мере какие-нибудь характерные словечки, чтобы его сразу можно было узнать, как только он заговорит, и чтобы отпала необходимость каждый раз называть его имя. Это общеупотребительный литературный прием всех крупных писателей. Пусть он скажет: «С тех пор, как этот край принял христианство, проткни его насквозь, со всяким рыцарем, заезжавшим сюда, непременно случались странные приключения, проткни его насквозь». Видишь, насколько лучше это звучит.

— ...«со всяким рыцарем, заезжавшим сюда, непременно случались странные приключения, проткни его насквозь». И правда, благородный лорд, так гораздо лучше; мне трудно это выговорить, но со временем я привыкну. И они подъехали к девам и обменялись с ними приветствиями, и на голове у старшей девы сиял золотой венец, а от роду ей было три раза по двадцать зим и даже больше.

— *Деве?*

— Да, дорогой лорд, и под венцом у нее были белые волосы...

— И зубы у нее, можно поручиться, были из целлулоида, по девяти долларов за челюсть, те самые, которые при еде прыгают вверх и вниз, как шторы, а при смехе вываливаются изо рта.

— У второй девы, тридцати зим от роду, на голове был маленький золотой венчик. А третьей деве было всего пятнадцать лет...

Поток воспоминаний хлынул мне в душу и заглушил голос Сэнди.

Пятнадцать лет... О сердце мое, разбейся! О милая моя, утраченная навеки! Пятнадцать лет было ей, такой нежной, такой прелестной, той, которую я любил больше всего на свете и которую никогда уже не увижу! И сразу при мысли о ней память перенесла меня в то далекое счастливое время, много-много столетий спустя, когда я, бывало, просыпался теплым летним утром, оторвавшись от милых снов о ней, и говорил: «Алло, центральная!» — только для того, чтобы услышать в ответ слова: «Алло, Хэнк!», казавшиеся моему очарованному слуху музыкой сфер. Она зарабатывала три доллара в неделю и была вполне их достойна.

Я так и не понял из дальнейших объяснений Алисанды, кто были плененные нами рыцари, — она, впрочем, и не пыталась мне это объяснить. Любопытство мое угасло, мысли мои были печальны и витали далеко. По случайным обрывкам ее рассказа я смутно понял, что каждый из этих трех рыцарей посадил одну из трех дев на круп своего коня и что они разъехались в разные стороны — один на север, другой на восток, третий на юг — в поисках приключений, с тем чтобы встретиться через год и один день и лгать о своих похождениях. Уехали на год и один день — и без всякого багажа. Вот еще один пример простоватости здешних жителей.

Солнце уже садилось. Свой рассказ о том, кто такие плененные нами ковбои, Алисанда начала в три часа пополудни, но, если принять во внимание обычную пространность ее речей, она, как видите, все же довольно далеко продвинулась в своем повествовании. Без сомнения, она когда-нибудь довела бы его до конца — торопить таких, как она, невозможно.

Мы подъехали к замку, стоявшему на холме; это было обширное, могучее древнее строение с серыми башнями, восхитительно окутанными плющом. Вся его величавая громада тонула в сиянии заходящего солнца. Это был самый большой замок из всех встреченных нами на пути, и я подумал, не тот ли это самый, который мы ищем, но Сэнди сказала: «Нет». Она не знала, кому принадлежит этот замок. Во время ее путешествия в Камелот она проехала мимо него не останавливаясь.

16. Фея Моргана

Если верить странствующим рыцарям, не во всяком замке стоит искать гостеприимства. Странствующие рыцари, конечно, не те люди, которым следует верить, — если подходить к их рассказам с точки зрения наших современных взглядов на правдивость; однако если подходить к ним с точки зрения их эпохи и сбавлять, сколько нужно, можно выделить правду. Это очень просто: отбросьте девяносто семь процентов, остальное — факт. Сделав такое вычисление, я пришел к выводу, что, прежде чем позвонить у дверей замка, — вернее, прежде чем позвать стражу, — следует узнать, что это за замок. И я очень обрадовался, увидев вдали всадника, который скакал нам навстречу по извилистой дороге, ведущей от замка.

Когда расстояние между нами уменьшилось, я заметил, что на голове у всадника шлем с перьями, что одет он в стальные латы, но поверх лат у него забавное добавление: квадратные доски с объявлением на груди и спине. Я подъехал поближе и вдруг рассмеялся над своею забывчивостью — на досках было написано:

МЫЛО ПЕРСИММОНСА!

Все примадонны моются этим мылом!

Это была моя собственная выдумка; цель ее — продвинуть народ по пути цивилизации. Во-первых, это был тайный удар из-за угла по этой нелепице — странствующему рыцарству, — удар, о котором никто не подозревал, кроме меня. Я разослал в разные стороны уже немало таких завербованных мною доблестных рыцарей, зажав их, как бутерброды, между двумя досками, на которых написано какое-нибудь объявление. Я рассчитывал на то, что со временем, когда их станет много, они не будут казаться смешными, напротив — любой закованный в сталь осел без доски будет чувствовать себя смешным, так как он одет не по моде.

Во-вторых, эти миссионеры постепенно, никого не пугая и не вызывая ничьих подозрений, приучат знать к простейшим правилам чистоплотности, а от знати эти правила усвоит народ, если только не помешают попы. Это будет подкоп под церковь. Вернее, самое начало подкопа. Затем — образование, затем — свобода, и церковь начнет разваливаться на куски. Я убежден, что господствующая церковь — это господствующее преступление, господствующая тюрьма для рабов, и, не колеблясь, готов бороться с ней любым оружием, лишь бы оно причинило ей вред. Ведь и в мои прежние годы, в тех грядущих веках, которые еще даже не начали шевелиться во чреве времен, были старые англичане, воображавшие, что они родились в свободной стране, — «свободной», с законом о корпорациях и законом, запрещающим лицам, не принадлежащим к господствующей церкви, занимать государственные должности, — этими бревнами, вколоченными в человеческую свободу, в поперанную совесть, чтобы подпереть Господствующий Анахронизм^[25].

Я выучил своих миссионеров читать золоченые надписи на их досках; прекрасная была идея — вызолотить буквы; сам король не прочь был бы надеть на себя доску с объявлением, столько в ней было варварского великолепия! Миссионеры должны были читать свои объявления лордам и леди и объяснять им, что такое мыло; если же лорды и леди побоятся испробовать мыло на себе, они должны были предложить им испробовать его на собаке. Затем миссионер обязан был собрать всю семью и показать действие мыла на себе самом; он не мог отступить ни перед какими трудностями, даже перед самыми неприятными опытами, лишь бы

убедить дворянство, что мыло совершенно безвредно. Если, несмотря ни на что, недоверие не рассеется, он должен был поймать отшельника, — все леса кишели ими; отшельники называли себя святыми, и все верили в их святость; они были несказанно набожны и творили чудеса, и все благоговели перед ними. Если отшельника вымыть при герцоге и отшельник выживет, а герцог все-таки не уверует в мыло, — такого герцога надо оставить в покое и уйти от него прочь.

Когда моим миссионерам удавалось победить какого-нибудь странствующего рыцаря, они мыли его, а затем брали с него клятву, что он добудет себе такую же доску и будет распространять мыло и цивилизацию до конца своих дней. Таким образом число сподвижников на этом поприще все увеличивалось, и потребление мыла упорно росло. Мой мыловаренный завод это скоро почувствовал. Сначала у меня работало только два рабочих, но перед моим отъездом у меня было их уже пятнадцать, и они работали днем и ночью. Запах от завода был так силен, что король однажды чуть не упал в обморок; задыхаясь, он заявил, что не в силах больше терпеть, а сэр Ланселот, тот только ходил по крыше и ругался. Я уверял его, что на крыше запах сильнее всего, но он отвечал, что там по крайней мере можно дышать, и всякий раз прибавлял, что дворец не подходящее место для мыловаренного завода и что он задушил бы того негодяя, который осмелился бы открыть мыловаренный завод в его собственном доме. Он не переставал ругаться даже в присутствии дам, но люди, подобные ему, с этим не считаются. А когда ветер доносил запах с завода, все готовы были ругаться даже при детях.

Рыцаря-миссионера, попавшегося нам навстречу, звали ля Кот-Мэл-Тэл. Он сообщил нам, что в замке живет фея Моргана, сестра короля Артура и жена короля Уриэнса, все королевство которого было величиной с округ Колумбия^[26], — можно было стоять в самой его середине и швырять камешки в соседнее государство. «Королей» и «королевств» в Британии было столько же, сколько в Палестине при Иисусе Навине, и жителям приходилось спать поджав колени к подбородку, потому что нельзя было вытянуть ноги, не имея заграничного паспорта.

Ля Кот был в большом унынии, так как в этом замке он потерпел самую досадную неудачу за все свое путешествие. Ему не удалось продать ни кусочка мыла, несмотря на то, что он выполнил все, что полагалось хорошему коммивояжеру, и даже вымыл отшельника, но... отшельник умер. Это действительно была крупная неудача, ибо теперь этого скота отшельника зачислят в мученики и он попадет в святцы римско-католической церкви. Так жаловался нам несчастный сэр ля Кот-Мэл-Тэл, горько сетуя на злую судьбу. Мое сердце обливалось за него кровью; мне хотелось утешить его и поддержать. И я сказал:

— Не печалься, благородный рыцарь, это еще не поражение. Ты да я — мы с тобой люди с мозгами, а у тех, у кого есть мозги, не бывает поражений, у них могут быть только победы. Вот посмотри, как мы превратим это кажущееся несчастье в рекламу — в рекламу нашему мылу, в рекламу, которая уничтожит даже воспоминание об этой незначительной неудаче; в рекламу, которая превратит поражение величиной с Вашингтонский холм в победу вышиной с Маттергорн. Мы напишем на твоей доске: *«Находится под покровительством святого мученика»*. Тебе это нравится?

— Еще бы! Прекрасная мысль!

— Да, каждый согласится, что лучше в одной строчке не скажешь, — прямо бьет в цель!

Все огорчения несчастного коммивояжера разом рассеялись. Он был отважный мальчик и в свое время одержал много побед на поле брани. Впрочем, прославился он главным образом путешествием, вроде моего теперешнего, которое он совершил совместно с одной девицей по имени Маледизанта, такой же разговорчивой, как и Сэнди, с той только разницей, что она была груба и сварлива, тогда как болтовня Сэнди была безобидна. Мне хорошо была известна его история, и я понял, что означало сочувствие, появившееся у него на лице, когда он прощался со мною: он думал, что и мне нелегко.

Двинувшись в путь, мы с Сэнди принялись обсуждать его историю, и она сказала, что ля Коту не везло с самого начала его поездки; в первый же день его сшиб с коня королевский шут; по обычаю, девушка должна покинуть побежденного и перейти к победителю, но Маледизанта отказалась расстаться с ля Котом и в дальнейшем ни за что не соглашалась отстать от него, несмотря на все его поражения. «Но предположим, — сказал я, — победитель откажется принять такую добычу. Что тогда?» Она сказала, что такого вопроса возникнуть не может: победитель обязан принять добычу. Он не может отказаться; это будет не по правилам. Я на всякий случай запомнил ее слова. Если болтовня Сэнди станет невыносимой, я дам какому-нибудь рыцарю победить себя, — авось, она перебежит к нему.

Со стен замка нас окликнула стража, и после обычных переговоров нам разрешили войти. Ничего хорошего об этом визите я рассказать не могу. Но и никакого разочарования я не испытал, так как репутация миссис феи Морганы мне была давно известна и ничего приятного я не ожидал. Ее королевство трепетало перед ней, так как она всех заставила поверить, что она великая волшебница. Все желания ее и все ее поступки были преисполнены дьявольской злобы. Холодная злость переполняла ее. Вся жизнь ее была цепью страшных преступлений. Посмотреть на нее мне было любопытно, как на самого сатану. К моему удивлению, она оказалась красавицей; черные мысли не сделали отталкивающим выражение ее лица, годы не провели морщин по ее атласной коже и не коснулись ее цветущей свежести. Ее можно было принять за внучку старого Уриэнса, она казалась сестрой своего собственного сына.

Как только мы въехали в ворота замка, она повелела привести нас к себе. Мы увидели короля Уриэнса — старика с добрым лицом, не смевшего поднять глаз, и его сына, сэра Уэна ля Бланшмэн, с которым мне очень любопытно было встретиться: во-первых потому, что, как гласит предание, он однажды зараз победил тридцать рыцарей, а во-вторых потому, что он путешествовал вместе с сэром Гоуэном и сэром Мархаузом, о которых мне рассказывала Сэнди. Но, конечно, больше всего меня интересовала сама Моргана; сразу было видно, что она всем здесь заправляет. Она предложила нам сесть и с милой приветливостью начала нас расспрашивать. Господи! Голос ее был похож на птичье пенье, на флейту. Мне стало казаться, что женщину эту оклеветали, оболгали. Она щебетала, щебетала до тех пор, пока хорошенький юный паж, скользя плавно, как волна, и разодетый пестро, как радуга, не подал ей что-то на золотом подносе; стараясь как можно изящнее опуститься перед ней на колени, он переусердствовал, потерял равновесие и легонько толкнул ее колено. Тогда она с таким спокойствием вонзила в него кинжал, словно он был крысой.

Бедный мальчик! Он рухнул на пол, болезненная судорога свела его затянутое в шелк тело, и он умер. Старый король невольно вскрикнул от жалости: «Ох!» Но Моргана кинула на него такой взгляд, что он сразу замолк и больше уже не смел и рта раскрыть. Сэр Уэн, по знаку матери, вышел в прихожую и позвал слуг, а тем временем королева продолжала сладостно щебетать.

Она безусловно была хорошая хозяйка: ведя разговор, она все время следила, как бы слуги, выносившие тело, не сделали какого-нибудь промаха; когда они принесли чистые полотенца, она велела унести их обратно и принести другие, а когда они вытерли пол и уже собирались уходить, она глазами указала им на крохотное красное пятнышко, которое они не заметили. Мне стало ясно, что ля Кот-Мэл-Тэлу не удалось повидать хозяйку этого дома. Немое свидетельство фактов часто говорит громче и более внятно, чем человеческий язык.

Голосок феи Морганы был музыкален по-прежнему. Удивительная женщина! А какой у нее взгляд! Слуги вздрагивали от ее взгляда, как вздрагивают робкие люди при блеске молнии. Я и сам чуть не затрясся. А несчастный старый Уриэнс все время сидел как на иголках; ужас не покидал его ни на мгновение; он вздрагивал даже раньше, чем она взглядывала на него.

В разговоре я нечаянно произнес несколько благожелательных слов о короле Артуре, забыв о том, как ненавидит эта женщина своего брата. Этого было достаточно. Она нахмурилась, как туча, позвала стражу и сказала:

— Бросьте этих мошенников в темницу!

Я похолодел, так как ее темницы славились по всей стране. Я растерялся, я не знал, что сказать, что сделать. Но Сэнди не растерялась. Когда воин протянул ко мне руку, вдруг спокойно и бесстрашно прозвенел ее тоненький голосок:

— Ты смерти, что ли, ищешь, безумец? Да ведь это Хозяин!

Удивительно счастливая мысль! И такая простая. Однако мне она не пришла в голову: я от природы скромн — не всегда, но в некоторые минуты, а это случилось как раз в одну из таких минут.

Королева мгновенно изменилась. Лицо ее снова стало ясным, улыбающимся, приветливым, и все ее прелестные манеры вернулись к ней; однако ей не удалось скрыть, до какой степени она испугана. Она сказала:

— Послушай, какой вздор болтает твоя служанка! Как можно было не понять, что я сказала все это только в шутку. Благодаря моим чарам я предвидела твой приход, победитель Мерлина, благодаря моим чарам я узнала тебя, едва ты вошел. Я нарочно сыграла эту шутку, чтобы захватить тебя врасплох и заставить тебя показать свое искусство; я надеялась, что ты обрушишь на этих воинов волшебное пламя и сожжешь их на месте; я сама не могу совершить такого чуда, а мне так хотелось посмотреть на него, я ведь любопытна, как ребенок.

Воины были менее любопытны и поспешно удалились, как только им это позволили.

17. Королевский пир

Королева, видя, что я не сержусь и не обижаюсь, пришла, без сомнения, к выводу, что ей удалось меня обмануть. Страх ее рассеялся, и она принялась так настойчиво просить меня показать свое искусство и убить кого-нибудь, что я не знал, как от нее отвязаться. К счастью, нас всех позвали на молитву, и ей пришлось умолкнуть. Нужно признать, что дворянство, несмотря на свою склонность к мучительству и убийству, несмотря на свою жадность и развратность, было глубоко и восторженно религиозно. Ничто не могло отвлечь его от добросовестного выполнения всех обрядов, предписанных церковью. Не раз я сам видел, как дворянин, застигнув врага врасплох, останавливался помолиться, прежде чем перерезать ему горло; не раз я видел, как дворянин, напавший на врага из засады и убивший его, отправлялся к ближайшему придорожному распятию, приносил благодарность богу, даже не успев ограбить мертвеца. В сравнении с ним сам Бенвенуто Челлини казался святошей совсем неотесанным, — где ему было угнаться за таким утонченным благородством. Вся британская знать вместе с семьями ежедневно утром и вечером присутствовала при богослужении в своих домовых церквях, и, помимо того, даже самые захудалые из дворян еще пять-шесть раз в день собирались на общую семейную молитву. Это должно быть поставлено церкви в заслугу. Я не сторонник католической церкви, но этой заслуги ее отрицать не могу. И нередко я против воли спрашивал себя: «Что стало бы с этой страной, если бы не было церкви?»

После молитвы мы обедали в просторном пиршественном зале, освещенном сотнями плашек с салом, где все дышало той пышностью, щедростью и грубой роскошью, которая подобает королям. В почетном конце зала, на помосте, стоял стол короля, королевы и их сына, принца Уэна. А на полу стоял общий стол, тянувшийся через весь зал. За ним, выше солонки, восседали вельможи и взрослые члены их семейств, составлявших королевский двор, — всего шестьдесят один человек; ниже солонки сидели важнейшие королевские слуги со своими подчиненными; всего за столом сидело сто восемнадцать человек, а за их стульями стояло столько же одетых в ливреи лакеев, которые им прислуживали. На хорах оркестр, состоявший из цимбал, рогов, арф и прочих ужасов, открыл пир первым вариантом того музыкального застольного визга, который в грядущих веках терзал всем уши, превратившись в знаменитую песенку: «Я в раю, я пою»^[27]. Тогда песня эта была еще совсем новой, и оркестр не успел ее, видимо, как следует разучить. Не знаю, по этой ли причине, или по какой-нибудь другой, но королева приказала после обеда повесить композитора.

Когда музыка смолкла, священник, стоявший позади королевского стола, произнес поллатыни проповедь весьма почтенной длины. Затем батальоны лакеев сорвались со своих мест, побежали, заметались, стремительно разнося блюда, и мощная кормежка началась; никто ничего не говорил, все были заняты делом, все жевали. Ряды челюстей открывались и закрывались одновременно, и этот звук был похож на глухой гул подземных машин.

Это буйство продолжалось полтора часа, и количество истребленной за это время пищи невозможно себе вообразить. От главного блюда — огромного дикого кабана, так величаво и важно возлежавшего посреди стола, — не осталось ничего, кроме ребер в виде обручей для кринолина; и это — образец и символ той участи, которой подвергались все остальные кушанья.

Когда подали сладкое, началось пьянство, а с пьянством — разговоры. Вино и мед исчезали галлон за галлоном. Мужчины и женщины становились сначала довольными, потом счастливыми, затем неистово веселыми и шумными. Мужчины рассказывали такие анекдоты, что страшно было слушать, но никто не краснел; после каждого анекдота все так ржали, что сотрясались каменные стены замка. Дамы в свой черед рассказывали сказки, от которых, чего

доброе, закрылась бы платком королева Маргарита Наваррская и даже великая Елизавета Английская; но здесь никто платком не закрывался, все только смеялись — просто выли от смеха. Почти во всех рассказах главными героями были священники, но это ничуть не смущало присутствовавшего здесь капеллана, — он смеялся вместе со всеми; мало того, по просьбе собравшихся он заорал песню, которая была ничуть не пристойней всех песен, пропетых за этот вечер.

К полуночи все устали, надорвались от смеха, все были пьяны. Одни плакали, другие лезли целоваться, одни ссорились, другие лежали под столом как мертвые. Из дам хуже всего вела себя хорошенькая молоденькая герцогиня, для которой этот вечер был кануном свадьбы. Да, тут было на что посмотреть! В таком виде она могла бы стать моделью для портрета молоденькой дочери регента Орлеанского на том знаменитом обеде, откуда ее унесли в кровать, пьяную, сквернословящую и беспомощную, в незабвенные далекие дни Ancien Regime^[28].

Внезапно, как раз в ту минуту, когда священник поднял руки, а все еще не потерявшие сознание набожно склонились, ожидая, чтобы он благословил их на ночь, в глубине зала, под входной аркой, появилась старая, сгорбленная, седая дама, опиравшаяся на костыль. Она подняла свой костыль, направила его на королеву и крикнула:

— Божий гнев и божье проклятие да падут на тебя, безжалостная, за то, что ты убила моего невинного внука и разбила мое сердце — сердце старой женщины, у которой не было во всем мире ни опоры, ни утешения, ни радости, кроме этого мальчика!

Все в страхе перекрестились, ибо люди тех времен ужасно боялись проклятий, но королева со смертельной злобой в глазах величественно поднялась и бросила через плечо жестокое приказание:

— Взять ее! На костер!

Воины послушно двинулись к старухе. Стыдно было смотреть на такую жестокость. Но что можно было сделать? Сэнди взглянула на меня. Я понял, что ее снова осенило вдохновение, и сказал:

— Делай, как знаешь.

Она сразу встала и повернулась к королеве. Указав на меня, она проговорила:

— Ваше величество, *он* не позволяет. Отмените свое приказание, а не то он разрушит замок и развеет его по воздуху, как зыбкое сновидение!

Черт возьми, какое безумное обязательство должен я принять на себя! Что, если королева...

Но мои опасения сразу рассеялись, ибо королева растерянно и без всякого сопротивления дала знак воинам, что приказание отменено, и опустилась на стул. Она разом протрезвела. Протрезвели и многие другие. Все повскакали с мест и, позабыв об этикете, толпой кинулись к дверям, опрокидывая стулья, разбивая посуду, толкаясь, давя друг друга, лишь бы успеть уйти прежде, чем я передумаю и все же развею дворец по бесконечным небесным пространствам. Какие суеверные люди! Трудно себе даже представить, до чего они были суеверны.

Несчастливая королева так испугалась и так присмирела, что без моего разрешения не решилась повесить даже композитора. Мне стало жаль ее, и всякий пожалел бы ее на моем месте, так как она действительно страдала; я решил пойти на уступки и не доводить дело до крайности. Поразмыслив, я приказал позвать музыкантов и велел им снова сыграть «Я в раю, я пою»; они сыграли. Я убедился, что королева права, и дал ей разрешение повесить весь оркестр. Эта маленькая поблажка подействовала на королеву самым благотворным образом. Государственный деятель ничего не выиграет, если будет проявлять твердость и непреклонность решительно во всех случаях, ибо это оскорбляет гордость его подчиненных и тем расшатывает его собственное могущество. Маленькие уступки то там, то здесь, где они не вредят делу, — самая мудрая политика.

Теперь, когда королева опять была спокойна и даже счастлива, вино снова ударило ей в голову, и она принялась за прежнее. Я хочу сказать, что вино развязало ей язык, и он опять зазвенел, как серебряный колокольчик. Да, говорить она была мастерица! Мне неудобно было напомнить ей, что уже поздно, что я устал и хочу спать. Я жалел, что не ушел спать раньше, когда это было возможно. А теперь нужно было терпеть, ничего другого не оставалось. И среди глубокой призрачной тишины спящего замка язычок ее звенел и звенел до тех пор, пока снизу, издали, не донесся до нас приглушенный крик, полный такой муки, что я содрогнулся. Королева смолкла, и глаза ее радостно сверкнули; она по-птичьи склонила набок свою хорошенькую головку и прислушалась. И опять среди глубокой тишины до нас донесся тот же звук.

— Что это? — спросил я.

— Вот упорная душа! Как он долго терпит! Уже много часов.

— Что терпит?

— пытку. Пойдем — ты увидишь веселое зрелище. Если он и теперь не покается, ты согласишься, как его будут рвать на куски.

Что за очаровательное исчадие ада. Она была спокойна и безмятежна, а у меня все жилы в ногах ныли — так я сочувствовал этому страдальцу. В сопровождении вооруженных воинов, которые несли пылающие факелы, мы шли по гулким коридорам, по сырým каменным лестницам, где пахло плесенью и веками тюремной тьмы. Это был тягостный, жуткий и долгий путь, несколько не ставший короче и приятнее от болтовни колдуньи, рассказывавшей о несчастном и его преступлении. По утверждению одного доносчика, пожелавшего остаться неизвестным, он убил оленя в заповедных королевских лесах. Я сказал:

— Донос неизвестного человека еще не доказательство, ваше величество. Правильнее было бы свести на очной ставке обвиняемого с обвинителем.

— Я не подумала об этом, дело такое пустяковое. А если бы даже и подумала, все равно не могла бы устроить очной ставки, так как обвинитель явился к леснику ночью, в маске, рассказал ему все и скрылся, и лесник не знает, кто он такой.

— Значит, этот неизвестный — единственный человек, который видел, как убили оленя?

— Ах, господи! *Никто* не видел, как убили оленя. Но тот неизвестный видел этого упрямого возле того места, где лежал олень, и, полный верноподданнического усердия, донес о нем леснику.

— Значит, неизвестный тоже был недалеко от мертвого оленя? А что, если он сам его убил? Его верноподданническое усердие, да еще в маске, весьма подозрительно. Но ради чего вы, ваше величество, решили предать арестованного пытке? Что в ней толку?

— Он не хотел покаяться. А если он не покается, его душа пойдет в ад. За преступление, которое он совершил, закон карает смертью; и уж, конечно, я поспежу, чтобы он не избежал кары! Но я погублю свою собственную душу, если дам ему умереть без раскаяния и отпущения грехов. Нет, я не такая дура, чтобы угодить из-за *него* в ад!

— А вдруг, ваше величество, ему не в чем каяться?

— Это мы сейчас узнаем. Если я его замучаю до смерти, а он все-таки не покается, потому что ему не в чем каяться, — тем лучше. Не попаду же я в ад из-за нераскаявшегося человека, которому не в чем было каяться.

В то время все так рассуждали. Спорить с королевой было бесполезно. Того, что вбили в голову с детства, нельзя вышибить никакими доводами; все доводы разбиваются, как волны о скалу. А ей вбили в голову то, что и всем. Самые светлые умы страны не разглядели бы, в чем слабая сторона ее рассуждений.

Войдя в камеру пыток, мы увидели зрелище, которое до сих пор стоит у меня перед

глазами; я хотел бы его отогнать, но не могу. Растянутый на дыбе, лежал гигант лет тридцати с небольшим; его запястья и щиколотки были привязаны веревками к крюкам. Ни кровинки не было в его искаженном мукой лице, капли пота выступали на лбу. Над ним склонился священник, рядом со священником стоял палач; палача охраняли воины; пылали факелы, вставленные в стены. В углу сидела, скорчившись, молодая женщина с искаженным лицом и безумным, затравленным взором, а у нее на коленях спал младенец. Как только мы шагнули через порог, палач слегка повернул колесо; несчастный и женщина застонали одновременно; но я крикнул на палача, и он сразу ослабил веревки, даже не взглянув, кто отдал приказ. Я не мог позволить, чтобы этот ужас продолжался; я не мог его вынести, я умер бы на месте. Я попросил королеву выйти из камеры и дать мне возможность поговорить с заключенным наедине; когда она начала спорить, я вполголоса сказал ей, что не желаю ссориться с ней в присутствии слуг, но воля моя должна быть исполнена, так как я представитель короля Артура и повелеваю его именем. Она поняла, что должна уступить. Я попросил ее назвать меня этим людям и затем удалиться. Это было ей неприятно, но она проглотила пилюлю и сделала даже больше, чем я ожидал: я хотел лишь опереться на ее власть, она же сказала:

— Делайте все, что вам прикажет этот лорд. — Он — Хозяин.

Это слово действовало как заклинание — тюремные крысы склонились передо мной. Воины королевы построились и, неся факелы, вышли вслед за нею; их мерный шаг, удаляясь, гулко отдавался в подземных коридорах. Я велел снять заключенного с дыбы и положить на койку. Ему дали вина, к ранам его приложили целебные зелья. Женщина подползла ближе и смотрела на него жадно, нежно, ко испуганно, — она боялась, что ее прогонят; она протянула руку, чтобы украдкой коснуться его лба, но, когда я нечаянно повернулся к ней, в ужасе отскочила. Жаль было смотреть на нее.

— Господи, — сказал я, — да погладь его, девочка! Делай что хочешь, не обращай на меня внимания.

В глазах у нее вспыхнула благодарность, как у животного, которое приласкали. Она положила ребенка, прижалась щекой к щеке мужа, пальцами перебирала его волосы, и счастливые слезы текли по ее щекам. Он очнулся и нежно смотрел на нее, — приласкать ее у него не было силы. Я решил, что пора прогнать из камеры посторонних; я велел выйти всем, кроме жены заключенного. Затем я сказал:

— Ну, друг мой, расскажи мне, как ты сам смотришь на то, в чем тебя обвиняют; как смотрят другие, я уже знаю.

Мужчина отрицательно покачал головой. Но женщина, видимо, обрадовалась — так по крайней мере мне показалось — моему предложению. Я продолжал:

— Ты знаешь меня?

— Да. В королевстве Артура тебя знают все.

— Если тебе на меня не нагали, ты не должен бояться со мной говорить.

Женщина поспешно перебила меня:

— Ах, мой благородный лорд, убеди его! Ты можешь его убедить, если захочешь. Он перенес такие муки! И все ради меня, ради *меня*! А я не в силах вынести его мучений. Как хотела бы я, чтобы он умер скорой, легкой смертью! Но мук твоих, мой Гуго, я вытерпеть не могу!

Она зарыдала и кинулась к моим ногам, умоляя меня. О чем умоляя? О смерти мужа? Я не вполне понимал, что происходит. Но Гуго перебил ее:

— Молчи! Ты сама не ведаешь, о чем просишь. Неужели я ради легкой смерти обреку на голод тех, кого люблю! Я думал, ты меня знаешь лучше.

— Ничего не понимаю, — сказал я. — Не могу разгадать ваших загадок. Ты...

— Ах, дорогой мой лорд, убеди его! Подумай, как мучают меня его страдания. Он молчит, он не хочет сознаться! А я так обрадовалась бы, если бы он умер скорой смертью...

— О чем ты болтаешь? Он выйдет отсюда свободным человеком. Он не умрет.

Бледное лицо мужчины засияло, а женщина, в неудержимом порыве радости, кинулась ко мне, крича:

— Он спасен! Ибо сам король Артур говорит устами своего слуги, а слово короля Артура — золото!

— Значит, ты в конце концов поверил, что на меня можно положиться. Отчего же ты сомневался во мне прежде?

— Кто ж в тебе сомневался? Не я и не она.

— Почему же ты не хотел мне ничего сказать?

— Ты ничего мне не обещал, а то я рассказал бы тебе сразу же.

— Понимаю, понимаю... И все-таки не совсем понимаю. Ты терпел пытки и не признавался; это доказывает, что тебе не в чем сознаваться...

— Мне, милорд? Почему же? Ведь оленя-то убил я!

— Ты! О боже, какое запутанное дело!..

— Драгоценный лорд, я на коленях умоляла его сознаться, но...

— Ты умоляла сознаться! Дело становится еще запутаннее. Зачем же ты умоляла сознаться?

— Чтобы добиться для него скорой смерти и избавить его от жестоких мук.

— Да... в этом есть смысл. Но ведь *он* не хотел скорой смерти.

— Он? Конечно хотел.

— Почему же он тогда не признавался?

— Ах, сладчайший сэръ, как же я мог оставить жену и ребенка без хлеба и крова!

— О, теперь я все понял! Вот золотое сердце! Жестокий закон отнимает имущество осужденного, разоряя его жену и сирот. Можно замучить тебя до смерти, но, если ты не признаешься, нельзя обокрасть твою жену и твоего ребенка. Ты был стоек, как настоящий мужчина; а ты, настоящая жена и настоящая женщина, готова была купить его избавление от мук ценою собственной голодной смерти... Да, женщины способны на самопожертвование. Я вас обоих возьму в свою колонию; вам там понравится; это Фабрика, где я превращаю незрячие и тупые автоматы в людей.

18. В темницах королевы

Я все устроил: заставил отпустить этого человека домой. Мне очень хотелось вздернуть на дыбу палача: не за то, что он был хороший, усердно мучивший чиновник, — ибо не мог же я поставить ему в вину, что он добросовестно выполнял свои обязанности, — а за то, что он беспричинно бил и всячески обижал жену узника. Мне рассказали про это попы, горячо требуя наказания палача. Попы — неприятнейшая порода, но иногда они выказывали себя с хорошей стороны. Я имею в виду некоторые случаи, доказывающие, что не все попы были мошенниками и себялюбцами и что многие из них, особенно те, которые сами жили одной жизнью с народом, искренне, бесхитростно и набожно старались облегчить страдания и горести людей. Это сильно меня огорчало, но я не мог ничего изменить и потому мало над этим задумывался; я не имею обыкновения размышлять о вещах, которые не в силах изменить. Мне это не очень нравилось, потому что привязывало народ к господствующей церкви. Что говорить, без религии пока не обойдешься, но мне больше нравится, когда церковь разделена на сорок независимых враждующих сект, как было в Соединенных Штатах в мое время. Концентрация власти в политической организации всегда нехороша, а господствующая церковь — организация политическая: она создана ради политических целей; она выпестована и раскормлена ради них; она враг свободы, а то добро, которое она делает, она делала бы еще лучше, если бы была разделена на много сект. Быть может, я и не прав, но таково мое мнение. Я, конечно, всего только человек, всего один человек, и мое мнение стоит не больше, чем мнение папы, но и не меньше.

Вздернуть палача на дыбу я не хотел, но не мог оставить без внимания справедливую жалобу попов. Он заслужил наказание, и я, сняв его с должности палача, назначил его на должность капельмейстера во вновь организуемый оркестр. Он умолял меня о пощаде, он уверял, что не умеет играть, — отговорка вообще уважительная, но в данном случае ничего не значащая: во всей стране не было музыканта, который умел бы играть.

Королева наутро просто вышла из себя, узнав, что она не получит ни жизни Гуго, ни его имущества. Но я объяснил, что ей придется терпеливо нести этот крест, так как, хотя закон и обычай дают ей право на жизнь и имущество этого человека, я усмотрел в деле смягчающие обстоятельства и помиловал его именем короля Артура. Олень опустошил поля этого человека, и он убил его в запальчивости, а не ради выгоды; потом он отнес его в королевский лес, надеясь, что благодаря этому отыскать виновного не удастся. Но втолковать ей, будь она проклята, что запальчивость является смягчающим вину обстоятельством при убийстве и дичи и человека, я не мог, а потому замолчал и предоставил ей сердиться, сколько она хочет. Объясняя, я, между прочим, сказал ей, что порыв гнева, охватившего ее, когда она убила пажа, является обстоятельством, несколько смягчающим преступление.

— Преступление! — воскликнула она. — О чем ты говоришь? Преступление, бог ты мой! Ведь я собираюсь заплатить за это!

Убеждать ее было бесполезно. Взглядов, привитых с детства, не выбьешь ничем; воспитание — это все. Мы говорим о характере. Глупости: никаких характеров не существует; то, что мы называем характером, — попросту наследственность и воспитание. У нас нет собственных мыслей, собственных мнений. Наши мысли и мнения передаются нам, складываются под влиянием воспитания. Все, что есть у нас собственного и что, следовательно, является нашей заслугой или нашей виной, может поместиться на кончике иглки, все же остальное нам передал длинный ряд предков, начиная с медузы, или кузнечика, или обезьяны, от которых после миллионов лет столь утомительного, поучительного и невыгодного развития

произошла наша теперешняя порода. Я же со своей стороны в этом трудном и нерадостном паломничестве между двумя вечностями стремлюсь только к тому, чтобы прожить жизнь чисто, возвышенно, безупречно и сохранить ту микроскопическую частицу, которая собственно и составляет все мое подлинное я; остальное может отправляться хоть в преисподнюю, мне безразлично.

Нет, будь она проклята, эта королева. Ума у нее в голове было достаточно, но воспитание превратило ее в ослицу, — конечно, лишь с точки зрения людей, родившихся много столетий спустя. Убийство пажа — не преступление, а осуществление ее права; и она спокойно отстаивала свое право, не сознавая его несправедливости. Она была воспитана в неколебимом и не требующем проверки убеждении, что закон, разрешающий ей убивать своих подданных, когда она пожелает, правилен и справедлив.

Ну что ж, даже сатане нужно отдать должное. Она в сущности заслуживала похвалы; но похвалить ее я не мог, слова застревали у меня в горле. Убить мальчика она имела право и вовсе не была обязана платить за это убийство. Закон, требовавший уплаты за убийство, касался других, но не ее. Она вполне сознавала, что поступает великодушно и благородно, платя за этого мальчика, и что я из справедливости должен похвалить ее за такой поступок; но я не мог, у меня язык не поворачивался. Мне все представлялась несчастная старая дама с разбитым сердцем и хорошенький мальчик в шелковом наряде, залитом его чистой кровью. Разве можно *оплатить* его смерть? Кому она будет платить? И, зная, что эта женщина, при ее воспитании, заслуживает похвалы и даже восхищения, я, воспитанный по-другому, не мог ее похвалить. Пересилив себя, я сказал ей, что ее похвалят другие, — на большее я не был способен:

— Ваше величество, народ будет боготворить вас за это.

То, что я сказал ей, было правдой, но в глубине души я мечтал дожить до того дня, когда мне удастся повесить ее за этот благородный поступок. Очень уж плохи были многие законы, слишком уж плохи. Господин имел право убить своего раба без всякой причины — в раздражении, в злости или просто ради развлечения; и человек, носящий корону, тоже имел право убить своего раба, то есть любого человека. Дворянин имел право убить простолюдина, но должен был заплатить за убийство деньгами или хлебом. Дворянин имел по закону право убить другого дворянина совершенно бесплатно, но мог ожидать мести. *Всякий*, кроме простолюдина и раба, имел право убить *кого-нибудь*; простолюдин и раб такой привилегией не пользовались. Если они убивали кого-нибудь, это так и считалось — убийством, а закон запрещал убийства. Если убитый человек был более знатный, чем убийца, с убийцей и его семьей жестоко расправлялись. Если простолюдин наносил дворянину хотя бы совершенно безвредную для жизни царапину, ему платили за это полной мерой: его привязывали к лошадям и разрывали на части, и целые толпы сбегались посмотреть на это зрелище, чтобы повеселиться и приятно провести время; некоторые развлечения этого изысканного общества были столь же преступны и столь же непечатны, как и те, о которых напечатал милейший Казанова в своей главе, посвященной четвертованию одного из могущественных недругов Людовика XV.

Я уже достаточно нагляделся на этот ужасный замок, и мне хотелось покинуть его; но я не мог уехать, не выполнив одного замысла, о котором совесть не давала мне позабыть. Если бы мне пришлось заново создавать человека, я не вложил бы в него совесть. Совесть доставляет человеку столько неприятностей; и хотя в ней много хорошего, она в конце концов не окупается; лучше бы уж поменьше хорошего, да побольше удобного. Впрочем, это мое личное мнение, но я всего только один человек; люди, не испытывавшие того, что испытал я, могут думать иначе. Они имеют полное право придерживаться своей собственной точки зрения. Я настаиваю только вот на чем: в течение многих лет наблюдая за своею совестью, я убедился, что она доставляет мне множество беспокойства и мучений. Вероятно, вначале я ценил это, потому что

мы ценим все чем обладаем; но теперь я вижу, как глупо ценить беспокойства, причиняемые совестью. Абсурдность всего этого вопроса станет особенно ясна, когда мы посмотрим на него с другой стороны: если бы во мне была наковальня, неужели я ценил бы ее? Конечно нет. А ведь по правде сказать, с точки зрения удобства совершенно безразлично, что таскать в себе — совесть или наковальню. Я замечал это тысячи раз. К тому же, если вам неволею станет наковальня, вы можете выжечь ее какими-нибудь кислотами; но не существует никаких способов избавиться от совести, пока она сама не заглохнет, — мне во всяком случае такие способы не известны.

Словом, я задумал сделать до отъезда одно дело, весьма, впрочем, неприятное. И все же мысль о нем мучила меня все утро. Я, конечно, мог бы поговорить об этом деле со старым королем, но толку бы все равно не добился, — король был потухшим вулканом; в свое время вулкан этот действовал, но пламя его уже давно погасло, и от него осталась только величавая груда пепла; нет, король был добродушен, ласков, способен меня понять, но бесполезен. Он здесь не значил ничего, этот так называемый король; вся власть находилась в руках королевы. Она была настоящим Везувием. Из любезности она могла зажарить для вас стаю воробьев, но тут же воспользоваться этим предлогом, вызвать настоящее извержение огненной лавы и похоронить целый город. Впрочем, бывает, что вы ждете самого худшего, а на деле все оказывается вовсе не так уж плохо.

Я набрался храбрости и обратился к ее величеству. Я сказал, что недавно произвел общий осмотр темниц в Камелоте и окрестных замках и, если она разрешит, охотно посмотрел бы на ее коллекцию узников. Она заупрявилась; впрочем, этого я и ожидал. А потом согласилась. Этого я ожидал тоже, но не думал, что она согласится так скоро, — и почувствовал облегчение. Она кликнула воинов с факелами, и мы отправились вниз, в темницу. Темница находилась под замком и состояла из множества крохотных камер, выдолбленных прямо в скале, в некоторые вовсе не проникал свет. В одной из них мы обнаружили женщину в лохмотьях, которая сидела на земле, не произнося ни слова и не отвечая на наши вопросы; только раз или два она взглянула на нас сквозь паутину падавших ей на лицо спутанных волос, словно хотела разглядеть, кто это вместе со светом и шумом ворвался в ее унылые смутные сны, которые стали ее жизнью; затем она опять склонила голову, сложив на коленях грязные руки, и больше не двигалась. Этой женщине, похожей на мешок костей, с виду было около сорока; но только с виду: она просидела в темнице девять лет, и ей было всего восемнадцать, когда ее посадили сюда. Она была простолюдинка, и ее отправил в темницу сэр Брез-Санс-Питэ, соседний лорд; ее отец был вассалом этого лорда; лорд посадил ее сюда за то, что она в ночь своей свадьбы отказала ему в том, что впоследствии получило название права сеньора, и, мстя за насилие насилием, пролила полрюмки его почти священной крови. На помощь невесте прибежал жених, думая, что жизни ее угрожает опасность, и вытолкнул в гостиную, прямо в толпу перепуганных, дрожащих гостей удивленного таким странным обращением и глубоко обидевшегося лорда. У лорда его собственная темница была набита битком, и он попросил королеву приютить обоих его преступников. С тех пор они так и сидели в этой темнице; их швырнули сюда через час после того, как они совершили преступление, и больше они уже ни разу не виделись. Девять лет они провели в непроницаемой тьме, замурованные в скале в пятидесяти футах друг от друга; в течение девяти лет их разделяла только стена, но они ничего не знали друг о друге. В первые годы они только и спрашивали, с мольбами и со слезами, которые могли бы тронуть даже камни: «Жив ли он?» — «Жива ли она?» Но сердца менее чувствительны, чем камни, и ответа они не получали; со временем они перестали спрашивать — и об этом, и обо всем остальном.

Выслушав их повесть, я пожелал посмотреть жениха. Ему было тридцать четыре года, но на вид — шестьдесят. Он сидел на квадратном камне, склонив голову, положив локти на колени;

длинные волосы закрывали его лицо; он что-то бормотал про себя. Он поднял голову и медленно обвел нас взглядом, равнодушным и унылым, болезненно щурясь от света факелов, затем опять опустил голову, забормотал и больше не обращал на нас никакого внимания. Но были немые свидетели, достаточно красноречиво говорившие о том, что он испытал: на его запястьях и лодыжках виднелись рубцы, старые, почти сгладившиеся, а к камню, на котором он сидел, была прикреплена цепь с наручниками и кандалами; но наручники и кандалы валялись на земле, покрытые толстым слоем ржавчины. Кандалы становятся ненужными, когда узник падает духом.

Мне не удалось заставить этого человека очнуться; и я велел отвести его к ней, к его невесте, которая когда-то была для него воплощением всей земной красоты — розами, росой, жемчугами, одетыми в плоть, — дивным и искусным созданием природы: с глазами, каких нет ни у кого, с голосом, какого нет ни у кого, со свежестью, с гибким изяществом, с прелестью, свойственной, как ему казалось, лишь созданиям мечты. При виде ее снова закипит его застоявшаяся кровь, при виде ее...

Но мне пришлось в этом разочароваться. Они сели рядом на землю и посмотрели друг другу в лицо с каким-то смутным удивлением, с еле приметным животным любопытством; затем забыли друг о друге, опустили глаза, и было видно, что мысли их опять блуждают в далекой стране видений и теней, о которой мы ничего не знаем.

Я велел их выпустить и отправить к друзьям. Королеве это не очень понравилось. Лично она в этом деле заинтересована не была, но ей казалось, что это неучтиво по отношению к сэру Брезу-Санс-Питэ. Я, однако, уверил ее, что если он начнет волноваться, я найду способы его успокоить.

Из этих крысиных нор я выпустил на свободу сорок семь узников и только одного оставил в заключении. Это был лорд, убивший другого лорда, дальнего родственника королевы. Тот, другой лорд, сам хотел убить этого лорда и заманивал его в засаду, но этот лорд одолел того и перерезал ему горло. Я оставил его в темнице вовсе не за это убийство, а за то, что он по злобе засыпал общественный колодец в одной из своих нищих деревушек. Королева собиралась его повесить за то, что он убил ее родственника, но я ей не позволил: не преступление убить того, кто нападает на вас с целью убийства. Однако я охотно разрешил ей повесить его за то, что он засыпал колодец, и она этим удовольствовалась, придя к заключению, что это лучше, чем ничего.

Боже, за какие ничтожные провинности попало в темницу большинство из этих сорока семи мужчин и женщин! Некоторые вообще ни в чем не были повинны, а оказались в темнице просто потому, что рассердили кого-нибудь, и порой даже не королеву, а кого-нибудь из ее друзей. Тот узник, который попал сюда последним, сидел здесь за несколько неосторожных слов. Он сказал, что все люди одинаковы и отличаются друг от друга только по платью. Он сказал, что если весь народ раздеть донага и показать его чужестранцу, тот не отличит короля от лекаря и герцога от лакея. По-видимому, идиотское воспитание еще не успело превратить в кашу мозги этого человека. Я выпустил его из темницы и отправил на Фабрику.

Некоторые камеры были вырублены в скале, нависшей над пропастью; в каждой из таких камер была узенькая, как стрела, щелка, сквозь которую к узнику проникал благословенный солнечный луч. Одному из узников, заключенных в таких камерах, пришлось особенно тяжело. Из своего темного ласточкиного гнезда на высокой скале он сквозь щель мог видеть свой собственный дом там внизу, в долине; и двадцать два года он смотрел на него с болью в сердце, с тоской. Ночью он видел, как в окнах зажигались огни, днем — как входили и выходили люди; кто именно — он на таком расстоянии разглядеть не мог, но знал — то его жена и дети. Не раз за эти годы он видел в доме праздники, и радовался, и спрашивал себя: уж не свадьба ли это?

Видел он и похороны; они истерзали его сердце. Он отлично различил гроб, но не мог определить его величины и не знал, кто умер — жена или ребенок. Узник видел, как погребальное шествие с попами и плакальщиками торжественно двигалось, унося с собой тайну, которую он не в силах был разгадать. Он оставил дома пятерых детей и жену; за девятнадцать лет он пять раз видел похороны, и они всякий раз были так пышны, что он знал: хоронят не слугу. Следовательно, он уже потерял пять своих сокровищ; одно еще оставалось, бесконечно, невыразимо драгоценное, — но которое? Жена? Или ребенок?

Этот вопрос мучил его ночью и днем, во сне и наяву. Ну что ж, жизнь его была не пуста, а тонкий луч света в темнице хорошо предохраняет тело и разум от разрушения. Здоровье его оказалось в порядке. Когда он поведал мне свою печальную повесть, я испытал то, что испытали бы и вы, если у вас есть хоть немного любопытства: я, не меньше, чем он сам, сгорал от желания узнать, кто же из семьи остался жив. Я отвез узника домой; я был свидетелем изумления его родных, видел тайфуны и циклоны неистовой радости и целую Ниагару счастливых слез. И, боже, жена его, когда-то совсем молодая, оказалась пятидесятилетней сидящей матроной, а дети выросли и сами обзавелись семьями. И никто из всей его семьи не умер! Подумать только, до чего дошла королева в своей дьявольской изобретательности: особенно ненавидя этого узника, она нарочно подстроила все те похороны, чтобы истерзать его сердце; и всего гениальней была ее последняя выдумка — оставить одного из членов семьи непохороненным и измучить его старую несчастную душу догадками.

Если бы не я, он так бы и не увидел свободы. Фея Моргана ненавидела его всем сердцем и никогда бы его не помиловала. Между тем преступление свое он совершил по легкомыслию, а не по злему умыслу. Он сказал, что у нее рыжие волосы. Так оно, конечно, и было, но говорить об этом не стоило. Когда рыжие люди занимают высокое положение в обществе, волосы их надо называть каштановыми.

О пятерых из этих сорока семи узников уже не было известно ни когда они были посажены, ни какое преступление совершили, ни как их зовут. Это были женщина и четверо мужчин — согбенные, морщинистые старцы с потухшим разумом. Они и сами давным-давно забыли все эти подробности; ничего определенного они сказать о себе не могли, а только строили смутные догадки, всякий раз иные. К темнице приставлены были попы, которые ежедневно молились вместе с узниками; попы внушали им, что они очутились здесь по воле божией, что бог, в своей неизреченной мудрости, лучше знает их подлинные нужды, и учили их, что смирение, терпение и покорность угнетателям в людях низкого происхождения угодны богу. Пока те пятеро сидели в темнице, попы сменялись несколько раз, и сохранились лишь смутные предания о прошлом этих жалких людских обломков. Да и предания могли сообщить только о сроках заключения, но не о преступлениях и именах. С помощью этих преданий удалось установить, что ни один из пятерых не видел дневного света по крайней мере тридцать пять лет; но сколько времени он не видел дневного света до этих тридцати пяти лет, установить было невозможно. Король и королева знали об этих несчастных лишь то, что получили их по наследству вместе с тронном от прежней фирмы. Но по наследству перешли только люди, а не сведения о них, и потому наследники не придавали им никакой цены и не проявляли к ним никакого интереса. Я спросил королеву:

— Так почему же вы не отпустили их на свободу?

Этот вопрос поставил ее в тупик. В самом деле — *почему?* Просто это ей не приходило в голову. Так, сама того не ведая, она предугадала историю будущих узников замка Иф. Я понимал, что с ее точки зрения эти унаследованные узники были просто имуществом. А когда нам достается по наследству имущество, мы не бросаем его, даже если оно для нас не представляет никакой ценности.

Стоило поглядеть на шествие этих летучих мышей, когда я, завязав им глаза, чтобы они не ослепли от света, вывел их на волю, на яркое вечернее солнце. Скелеты, привидения, вороны пугала — вот кем стали эти законнейшие дети монархии милостью божией и господствующей церкви. Я рассеянно пробормотал:

— Вот бы их снять!

Вам, конечно, встречались люди, которые никогда не признаются, что им неизвестно значение какого-нибудь звучного слова. И чем они невежественнее, тем больше они стараются показать, что их ничем не удивишь. Королева была как раз из таких и постоянно совершала глупейшие промахи. Услыхав мои слова, она помедлила; затем лицо ее внезапно просияло, и она объявила, что сама сделает это для меня.

Я подумал: «Она? Что она смыслит в фотографии?» Но долго размышлять мне не пришлось. Она уже шла к освобожденным с топором в руках!

Ну и забавная женщина была эта фея Моргана! Много перевидел я женщин на своем веку, самых разных, но она была совсем особенная. И как характерен для нее этот случай! Она понимала в фотографии не больше, чем лошадь; но, не понимая, решила, что поступит правильно, топором сняв старикам головы с плеч.

19. Странствующее рыцарство как ремесло

На следующий день, ранним сияющим утром, мы с Сэнди снова двинулись в путь. Так хорошо было дышать полной грудью, набирая в легкие целые бочонки чистого, освеженного росой, пахнущего лесом воздуха после двух дней и двух ночей, проведенных в нестерпимой вони старого совиного гнезда, где мы духовно и телесно задыхались! Я, конечно, говорю только о себе, — Сэнди с детства привыкла к великосветской жизни и чувствовала себя в этом замке превосходно.

Бедная девушка, языку ее там пришлось отдохнуть, и я предугадывал, что все последствия этого отдыха обрушатся на меня. Я оказался прав; но она столько раз выручала меня и поддерживала в замке своей безмерной глупостью, которая была полезнее любой мудрости, что решил позволить ей пустить в ход свою мельницу, она этого заслужила. Я даже не вздрогнул, когда она начала:

— ...А теперь вернемся к сэру Мархаузу, который отправился на юг с девой тридцати зим от роду...

— Ты думаешь, эта повесть поможет тебе напасть на след тех ковбоев, Сэнди?

— Конечно, благородный милорд.

— Тогда продолжай. Я постараюсь тебя не перебивать. Начни сначала; смело ступай всеми копытами, а я набыю свою трубку и буду внимательно слушать.

— ...А теперь вернемся к сэру Мархаузу, который отправился на юг с девой тридцати зим от роду. Они въехали в дремучий лес, и в лесу их настигла ночь; по дну глубокого оврага они добрались до замка герцога Южных Болот и попросили пустить их переночевать. Наутро герцог послал за сэром Мархаузом и предложил ему приготовиться. Сэр Мархауз встал, надел латы, выслушал обедню, позавтракал и во дворе замка, где должна была произойти битва, сел на коня. Герцог, закованный в латы, уже ждал его на коне, и вместе с ним ждали шестеро его сынов с копьями в руках; и они съехались; герцог и два его сына обломали свои копья о сэра Мархауза, но сэр Мархауз держал свое копье острием кверху и не тронул ни одного из них. И тогда кинулись на него попарно остальные четыре сына, и сначала первая пара обломала свои копья, а потом и вторая. Но сэр Мархауз не тронул их. Он поскакал к герцогу, ударил его своим копьем, и тот рухнул вместе с конем на землю. Потом сэр Мархауз поверг на землю шестерых его сынов. Тогда сэр Мархауз слез с коня и потребовал, чтобы герцог подчинился ему, а иначе он убьет его. Тем временем некоторые из сынов герцога очнулись и снова хотели напасть на сэра Мархауза. Тогда сэр Мархауз сказал герцогу: «Укроти своих сынов, а не то я убью вас всех». Герцог, видя, что жизни его угрожает неминуемая опасность, повелел своим сынам покориться сэру Мархаузу. Они все упали на колени протянули рыцарю рукояти своих мечей, и рыцарь принял их мечи. Они помогли встать своему отцу, затем сообща дали сэру Мархаузу обет никогда не поднимать оружия против короля Артура, а в ближайший троицын день явиться к его двору и передать себя на его милость... Вот как было дело, благородный сэр Хозяин. Вы, конечно, уже догадались, что герцог и шестеро его сынов — те самые рыцари, которых вы тоже победили и отправили ко двору Артура!

— Не может быть, Сэнди, что ты!

— Если я лгу, пусть эта ложь падет на мою голову.

— Вот так история!.. Ну кто бы мог подумать? Целый герцог и шестеро герцогенят! Что ж, Сэнди, улов недурен. Ремесло странствующего рыцаря бессмысленное и очень утомительное, но теперь я начинаю понимать, что при удаче оно довольно доходно. Не думай, что я сам хочу приняться за это ремесло: я не примусь. Ни одно прочное и честное предприятие не может быть

основано на спекуляции. Что останется от удачи странствующего рыцаря, если отбросить все глупости и взять только трезвые факты? Удача рыцаря — все равно что удача торговца свининой... Ты, конечно, разбогатеешь... разбогатеешь внезапно... на день, на неделю может быть, а потом кто-нибудь другой завалит рынок свининой, и вся твоя торговля пошла прахом. Разве не так, Сэнди?

— Мой разум не поспевает за вашей речью, и самые простые слова кажутся мне такими длинными и запутанными...

— Нечего вилять, Сэнди. Как я сказал, так и есть. Я знаю, что это так. Скажу даже больше: если как следует разобраться, странствующее рыцарство хуже свиноторговли, ибо в случае неудачи свинина все-таки останется и кто-нибудь ее съест; а какое имущество останется от странствующих рыцарей, если их постигнет неудача? Груда изрубленных тел и два воза железного лома. Разве это можно назвать имуществом? Нет, по мне свиньи куда лучше! Прав я или не прав?

— Ах, должно быть, голова моя пострадала от всех пережитых нами за последнее время событий и приключений, и не только моя голова, и не только ваша голова, но обе наши головы, должно быть...

— Нет, голова твоя ни при чем, Сэнди. Голова твоя в порядке, но в делах ты не смыслишь ничего, вот в чем беда. Ты берешься спорить о делах и всякий раз попадаешь впросак. Но бросим этот разговор. Улов у нас хороший, — с таким уловом не стыдно будет показаться при дворе Артура. Кстати о ковбоях — какая удивительная тут страна: здешние женщины и мужчины совсем не стареют. Взять, например, фею Моргану — на вид она молода, как курочка из Вассара; или этот старый герцог Южных Болот, он до сих пор машет то мечом, то копьем — и это в его-то годы и при таком огромном семействе! Если я не ошибаюсь, сэр Гоуэн убил семерых его сыновей, и тем не менее у него осталось еще шестеро для сэра Мархауза и для меня. Или, например, та дева шестидесяти зим от роду, которая все еще разъезжает по свету, несмотря на свой преклонный возраст, овеванный холодом могилы... А тебе сколько лет, Сэнди?

Она впервые не ответила на мой вопрос. Вероятно, мельница ее стала на ремонт.

20. Замок людоеда

За три часа, с шести утра до девяти, мы проехали десять миль; это было немало для лошади, везущей тройную ношу — мужчину, женщину и железные доспехи; затем мы долго отдыхали под деревьями у прозрачного ручья.

Внезапно мы увидели рыцаря, который медленно приближался к нам. Приближаясь, он горько сетовал на злую долю. Прислушавшись, я понял, что он ругается последними словами. Тем не менее я обрадовался ему, потому что на груди у него висела доска, на которой сияющими золотыми буквами было написано:

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПЕТЕРСОНОВУ

профилактическую зубную щетку!

ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА!

Я обрадовался ему, так как понял, что это один из моих рыцарей. Он оказался сэром Мэдоком де ля Монтэном, высоким здоровяком, который прославился тем, что однажды чуть было не сбросил с коня сэра Ланселота. Каждому новому знакомому он непременно под каким-нибудь предлогом рассказывал об этом великом событии. Но в его жизни было и другое событие, почти столь же великое, — он от него не отрекался, хотя и не рассказывал о нем, если его не спрашивали; суть этого второго события заключалась в том, что ему только оттого не удалось сбросить сэра Ланселота с коня, что сэр Ланселот, не дождавшись, сбросил с коня его самого. Этот простодушный увалень не видел большой разницы между этими двумя событиями. Мне он нравился, и я дорожил им, потому что он относился к своей работе добросовестно. Было приятно поглядеть на его широкие плечи, на его львиную голову, украшенную перьями, на его большой щит со странным гербом — изображение руки в железной перчатке, держащей зубную щетку, и девиз: «*Требуите Нойодонт*». Нойодонтом называлась зубная паста, пущенная мною в продажу.

Он сказал мне, что очень устал; и действительно, вид у него был изнуренный, но слезть с коня он не хотел. Он объяснил, что гонится за человеком, распространяющим политуру для печек. Вспомнив о нем, он снова принялся отчаянно ругаться. Распространение печной политуры было поручено сэру Оссэзу Сюрлюзскому, храброму рыцарю, известному тем, что однажды на турнире он сразился с самим сэром Гахерисом, — впрочем, безуспешно. Он был весельчак и насмешник и ни к чему на свете не относился серьезно. Это его свойство и побудило меня поручить ему пропаганду печной политуры. Дело в том, что железных печек у нас еще не существовало, и потому о печной политуре нельзя было говорить серьезно. От такого агента требовалось только одно — осторожно и постепенно готовить публику к предстоящей великой перемене, чтобы к тому времени, когда на сцене появится железная печь, публика уже понимала необходимость содержать ее опрятно.

Сэр Мэдок был расстроен и ругался неистово. Он вполне сознавал, что эти ругательства доведут его душу до ада, но не мог удержаться; он не хотел слезть с коня, не хотел отдохнуть, не хотел ничего слушать, пока не найдет сэра Оссэза и не посчитается с ним. Из бессвязных его речей я понял, что на рассвете он случайно встретил сэра Оссэза, и тот сказал ему, что, если он

поедет напрямик через горы и доли, через поля и болота, он нагонит путешественников, которые, несомненно, раскупят и всю его зубную пасту и все зубные щетки. Сэр Мэдок, со свойственным ему усердием, тотчас же отправился по указанному направлению и после трех часов мучительной скачки нагнал свою добычу. И что же? Это были пять престарелых узников, накануне выпущенных мною из тюрьмы. У них, у бедняг, последние зубы выпали двадцать лет назад, даже корней не осталось!

— Я его сотру в порошок, — сказал сэр Мэдок. — Я его отполирую, как печку. Если бы мне поперек дороги стал рыцарь и почище этого Оссэза, так и тот бы не снес головы. Только бы мне поймать его. Я дал великую клятву отомстить ему, и я отомщу!

После этих слов и многих других он потряс своим копьём и поскакал дальше. А перед вечером, в маленькой бедной деревушке, мы сами повстречали одного из тех старцев. Он грелся в лучах любви родных и друзей, которых не видел пятьдесят лет; к нему ласкались его потомки, которых он не видел никогда; но для него и те и другие было равно чужими, потому что память его потухла и разум умер. Казалось невероятным, что человек в состоянии прожить полстолетия в темной норе, словно крыса; но его старуха жена и уцелевшие сверстники подтвердили нам, что так оно и было. Они помнили, как он, сильный, здоровый мужчина, поцеловал свою дочку, передал ее на руки матери и удалился во тьму забвения. Обитатели замка не знали, сколько лет просидел в темнице этот человек за какую-то давно забытую вину. Но старуха жена знала; знала и старуха дочь, уже окруженная женатыми сыновьями и замужними дочерьми; она жадно вглядывалась в отца, который всю ее жизнь был для нее всего лишь именем, мыслью, бестелесным образом, преданием — и вдруг возник перед нею живым человеком.

Любопытно, не правда ли? Но я отметил в своих записках это происшествие по другой причине — еще более, на мой взгляд, любопытной. Даже такое страшное дело не вызвало в этих людях ни малейшей вспышки гнева против своих притеснителей. И сами они, и их предки так долго терпели бесконечные жестокости и обиды, что удивить их можно было разве только добротой. Да, любопытно было видеть, до какой глубины падения рабство довело народ. Эти люди вполне приспособились к смирению, терпению, к немой покорности перед всем, что выпадало в жизни на их долю. Даже воображение в них было убито. А когда в человеке убито воображение, это значит, что он дошел до самого дна и дальше ему идти уже некуда.

Я пожалел, что поехал этой дорогой. Впечатления были не из приятных для государственного деятеля, мечтающего произвести революцию мирным путем. Ибо эти впечатления подтверждали неоспоримую истину, что, сколько бы ни болтали благодусшествующие философы, стараясь доказать обратное, еще ни один народ не купил себе свободы приятными рассуждениями и моральными доводами, и все успешные революции начинались с насилия; это исторический закон, который обойти невозможно. Если история чему-нибудь учит, так именно этому закону. Следовательно, этот народ должен завоевать власть террором и гильотиной, а я для этого человек неподходящий.

Два дня спустя, около полудня, Сэнди начала обнаруживать признаки волнения и лихорадочного ожидания. Она сказала, что мы приближаемся к замку людоеда. Я был удивлен, и, признаться, удивлен неприятно. Цель нашего путешествия мало-помалу выпала из моего сознания, и теперь, когда мне о ней внезапно напомнили, я был потрясен ее необычностью и близостью. Сэнди с каждой минутой волновалась все больше; я тоже, ибо волнение заразительно. Сердце у меня забилося. С сердцем ведь не поспоришь — оно может забиться и от таких причин, которые разумом презираешь. Когда же Сэнди, попросив меня остановиться, соскользнула с коня и, пригнувшись почти до земли, крадучись двинулась к кустам, которые росли на краю обрыва, сердцебиение стало еще сильнее. Оно не прекратилось и тогда, когда Сэнди, спрятавшись в кустах, внимательно вглядывалась в простор через долину, и тогда, когда

я подползал к ней на коленях. Глаза ее горели; ткнув пальцем вдаль, она, задыхаясь, прошептала:

— Замок! Замок! Смотрите! Вот он!

Какое приятное разочарование! Я сказал:

— Замок? Да ведь это свиной хлев. Свиной хлев, обнесенный плетнем.

Сэнди взглянула на меня удивленно и грустно. Лицо ее нахмурилось; она задумалась и молчала.

— Прежде он не был заколдован, — сказала она, наконец, словно размышляя вслух. — Какое странное чудо, какое ужасное чудо — одни видят его превращенным чарами в нечто низменное и постыдное, а другие видят его прежним — неизменным, могучим и прекрасным, видят глубокий ров, окружающий его, видят флаги на башнях, тонущие в голубизне небес. Защити нас, господь! Сердце мое замирает при мысли, что я скоро опять увижу прелестных пленниц и что милые лица их омрачены еще более глубокой скорбью, чем прежде. Мы прибыли слишком поздно и потому достойны хулы.

Я понял, что я должен сказать. Замок заколдован для меня, но не для нее. Спорить с ней, убеждать ее — пустая трата времени; мне остается только соглашаться. И я сказал:

— Это часто бывает: одна и та же вещь для одного заколдована, а для другого нет. Ты, конечно, слыхала о подобных случаях, Сэнди, хотя и не встречалась с ними. Но нам горевать нечего. Напротив, так даже лучше. Если бы эти дамы казались свиньями всем, в том числе и самим себе, нужно было бы их расколдовать; а для того чтобы их расколдовать, нужно знать, каким именно способом они были заколдованы. Снятие чар — дело опасное, ибо, не имея правильного ключа к тем чарам, которыми они были заколдованы, можно по ошибке обратить свиней в собак, собак в кошек, кошек в крыс и так далее, пока весь ваш материал не сойдет на нет, или, вернее, пока он не превратится в газ без цвета и запаха, что в сущности одно и то же. Но, по счастью, они заколдованы для меня одного, и потому расколдовывать их нет надобности. Эти дамы остались дамами для тебя, для себя и для всех остальных; а от моего заблуждения они не пострадают, ибо я, видя свинью, но зная, что свинья эта в действительности дама, буду обращаться с ней, как с дамой.

— Благодарю вас, сладчайший милорд, вы говорите, как ангел. Я знала, что вы освободите их, ибо вы отважный и могучий рыцарь, с которым не может сравниться никто из живущих на земле.

— Я не способен оставить принцессу в хлеву, Сэнди. Но скажи мне, кто эти трое, которые кажутся моему ослепленному взору нищими пастухами?..

— Это людоеды. Значит, их облик изменен тоже? Удивительно! Теперь я начинаю бояться: как будете вы рассчитывать свои удары, когда пять локтей из девяти, составляющих их рост, для вас невидимы? Ах, будьте осторожны, благородный сэр; подвиг, который вам предстоит, опаснее, чем я предполагала.

— Не беспокойся, Сэнди. С меня довольно знать, какая именно доля людоеда невидима, и я без труда догадаюсь, где находятся его важнейшие органы. Не бойся, я живо справлюсь с этими прохвостами. Жди меня здесь.

Она опустила на колени; лицо ее было смертельно бледно, но сердце полно отваги и надежды; оставив ее, я подъехал к свиному хлеву и вступил в переговоры с пастухами. Они с благодарностью продали мне всех своих свиней оптом; я заплатил им шестнадцать пенни — значительно выше рыночной цены. Я явился очень кстати, так как назавтра они ждали к себе в гости церковь, лорда и сборщиков податей, которые оставили бы пастухов без свиней, а Сэнди без принцесс. Но теперь подати они могли уплатить деньгами и у них еще кое-что оставалось. У одного из этих пастухов было десять человек детей; он рассказал, что, когда в прошлом году

пришел поп и взял самую жирную свинью из десяти, жена его кинулась к попу, протянув ребенка и крича: «Зверь бесчувственный, возьми и ребенка, если ты лишил меня возможности кормить его!»

Удивительное совпадение! Такой же самый случай произошел в мое время в Уэльсе, где властвует та же самая древняя господствующая церковь. Многие думают, что она изменила свою сущность, но в действительности она изменила только свою внешность.

Я отослал пастухов, распахнул двери хлева и поманил Сэнди. И она пришла; не пришла, а прибежала, принеслась, словно степной пожар. И когда я увидел, как она кидается от одной свиньи к другой, как слезы радости текут у нее по щекам, как она прижимает свиней к сердцу, как целует их, как ласкает, как называет звучными аристократическими именами, мне стало стыдно за нее и за человечество.

Нам предстояло гнать этих свиней домой десять миль; и какие это были упрямые и непослушные дамы. Они не хотели идти ни по дороге, ни по тропинке; они разбегались во все стороны, залезали на скалы, на холмы, забирались в такие места, откуда их невозможно было достать. А бить их я не имел права, потому что Сэнди требовала, чтобы я обращался с ними так, как подобает обращаться с высокими особами. Даже самую несносную, самую старую хавронью из всех приходилось называть «миледи» и «ваше высочество». Тяжело и неприятно бегать в латах за свиньями то туда, то сюда. Особенно много хлопот доставила мне одна маленькая графиня с железным кольцом, продетым сквозь пяточок, и почти без щетины на спине; она была непослушна, как дьявол. Она заставила меня гоняться за собой целый час по самым непроходимым местам; и когда я догнал ее, мы оказались там, откуда началась погоня, не продвинувшись ни на шаг. Я схватил ее, наконец, за хвост и поволол, не обращая внимания на визг. Но Сэнди пришла в ужас и заявила, что в высшей степени неделикатно волочить графиню за шлейф.

Уже стемнело, когда мы пригнали свиней в какое-то поместье, — не всех, но большинство. Не хватало принцессы Неровенс де Морганор и двух ее фрейлин — мисс Анджелы Бохун и девы Элен Куртмэн; первая из этих двух была молоденькая черная свинка с белым пятном на лбу, а вторая — бурая, слегка прихрамывающая на переднюю правую ногу; обе меня совершенно замучили, столько я гонялся за ними. Недоставало также нескольких простых баронесс, и, признаться, их отсутствие нисколько меня не огорчало; но нет, всю эту колбасную начинку нужно было найти; за ними послали слуг с факелами, приказав им обшарить леса и горы.

Разумеется, все стадо поместили в доме. Господи, никогда я ничего подобного не видал! Никогда я ничего подобного не слышал! Никогда я ничего подобного не нюхал! Словно взбесился газовый счетчик.

21. Паломники

Наконец я добрался до постели! Я чувствовал себя несказанно утомленным; как приятно, как сладостно было вытянуться, расправить затекшие мышцы! Но этим все и ограничилось, — о том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Аристократки визжали и хрюкали во всех коридорах и залах, как сборище чертей, и мешали мне спать. Когда я не сплю, я, естественно, размышляю; и размышлял я главным образом о странном заблуждении Сэнди. Она, конечно, была вполне здорова; однако вела себя, с моей точки зрения, как сумасшедшая. Вот оно, могущество воспитания, внушения, обучения! Человека можно заставить поверить во все что угодно. Я ставил себя на место Сэнди и убеждался, что она вовсе не сумасшедшая. Стань Сэнди на мое место, и она без труда поняла бы, как легко показаться сумасшедшим в глазах человека, которого учили и воспитывали иначе. Если бы я сказал Сэнди, что видел повозку, которая без всякого колдовства неслась со скоростью пятидесяти миль в час, что я видел человека, который, не будучи чародеем, садился в корзинку и летел за облака, что без помощи волшебства я разговаривал с человеком, который находился от меня на расстоянии многих сотен миль, — она сразу пришла бы к непоколебимому убеждению, что я сумасшедший. Все вокруг нее верили в колдовство, никто в существовании колдовства не сомневался; жители королевства Артура так же не сомневались в возможности превратить замок в хлев, а его обитателей в свиней, как жители Коннектикута не сомневаются в возможности говорить по телефону, — и в обоих случаях сомнение было бы неопровержимым доказательством сумасшествия. Да, я вынужден был признать, что Сэнди здорова. А чтобы Сэнди и меня считала здоровым, я должен держать свои сведения о действующих без помощи чар паровозах, воздушных шарах и телефонах про себя. Я, например, верил, что земля не плоская, что стоит она не на столбах и что над ней нет балдахина, защищающего ее от вод, которыми заполнено все пространство над небом. Но так как во всем королевстве я был единственным человеком, придерживающимся таких нечестивых и преступных взглядов, я понимал, что мне следует о них помалкивать, если я не желаю, чтобы на меня показывали пальцем, как на помешанного.

Утром Сэнди собрала свиней в столовой и угостила их завтраком, причем сама им прислуживала с тем глубоким почтением, которое уроженцы ее острова, древние и современные, всегда питают к людям знатного происхождения, независимо от их умственных и нравственных качеств. Меня тоже усадили бы вместе со свиньями, если бы мое происхождение соответствовало тому высокому положению, которое я занимал; но, как человек безродный, я вынужден был есть отдельно от них и, по правде сказать, не жаловался. Мы с Сэнди завтракали за особым столом. Хозяев не было дома. Я сказал:

- Большая тут семья, Сэнди, или маленькая? И где она?
- Семья?
- Да.
- Какая семья, мой добрейший лорд?
- Которая здесь живет; твоя семья.
- Должна признаться, я вас не понимаю. У меня нет никакой семьи.
- Никакой семьи? А разве это не твой дом, Сэнди?
- Как он может быть моим? У меня нет никакого дома.
- Так чей же это дом?
- Я охотно ответила бы вам, если бы знала.
- Как, ты не знаешь хозяев этого дома? Кто же нас пригласил сюда?
- Никто нас не приглашал. Мы сами пришли, вот и все.

— Послушай, девушка, ведь это же верх наглости. Мы нахально влезли в чужой дом, набили его доверху единственной аристократией, которая хоть что-нибудь стоит, а потом оказалось, что мы даже не знаем имени хозяина. Как ты осмелилась совершить такое из ряда вон выходящее самоуправство? Я был убежден, что это твой дом. Что скажет хозяин?

— Что скажет хозяин? А что он может сказать? Он нас поблагодарит.

— Поблагодарит? За что?

На лице у Сэнди было полнейшее недоумение.

— Ваши странные речи смущают меня. Неужели вы думаете, что хозяину этого дома еще когда-нибудь выпадет честь принимать у себя столь важных гостей, как те, которые благодаря нам удостоили его своим посещением?

— Нет, пожалуй, такая честь ему никогда уже больше не выпадет. Я даже готов биться об заклад, что подобным посещением он удостоен впервые.

— Так пусть он будет нам благодарен, пусть проявит свою благодарность речами и должным смирением. Если он поступит иначе, он просто пес, потомок и предок псов.

Однако я чувствовал себя неловко и опасался попасть в еще более неловкое положение. Пожалуй, всего благоразумнее было забрать наших свиней и убраться. И я сказал:

— Мы зря тратим время, Сэнди. Пора собрать наших аристократок и двинуться в путь.

— Куда, благородный сэр и Хозяин?

— Как куда? Надо отвезти их домой.

— Вы только послушайте, что он говорит! Да они родились в разных концах земли! Каждая из них должна быть доставлена в ее собственный дом; но неужели вы думаете, что мы в состоянии совершить все эти путешествия за короткую жизнь, которой положил такой близкий предел тот, кто создал жизнь и смерть, создал Адама, согрешившего, вняв увещаниям своей подруги, введенной в соблазн величайшим врагом человека, змеиным князем Сатаной, от века влекомым к этому злему делу непреодолимою злобой и завистью, свившими гнездо в его сердце из-за несбывшихся честолюбивых притязаний, которые исказили и загрязнили облик этого духа, некогда столь чистого и столь непорочного, что и ему было позволено витать вместе с лучезарными сонмами своих братьев в славе тех самых небес, где витают только достойные и...

— Черт побери!

— Милорд!

— Ты же знаешь, что у нас нет времени на такие длинные рассуждения. Мы успели бы всех развезти по домам за то время, которое ты тратишь, доказывая, что мы их развезти не успеем. Нужно не болтать, а дело делать. Попридержи язык, останови мельницу, сейчас на болтовню у нас времени нет. Поменьше слов, побольше дела. Кто доставит этих аристократок по домам?

— Их друзья. Они приедут за ними со всех концов земли.

Весть эта была нежданна, как гром среди ясного дня; весть эта была сладостна, как сладостна для узника весть о помиловании. Сэнди, конечно, останется здесь, чтобы сдать с рук на руки своих принцесс.

— Так вот что, Сэнди. Порученное нам дело мы успешно довели до благополучного конца, и я должен ехать к королю с докладом; и если когда-нибудь еще...

— Я готова, я поеду с вами.

Помилование было отменено.

— Как? Ты поедешь со мной? Зачем?

— Неужели я способна изменить своему рыцарю? Такая измена обесчестила бы меня. Я не могу расстаться с вами до тех пор, пока в рыцарском поединке на поле брани вас не одолеет какой-нибудь другой рыцарь и не отобьет меня по праву. Но я была бы достойна осуждения,

если бы допустила хоть в мыслях, что это может случиться.

«Я избран ею на долгий срок, — подумал я и вздохнул. — Ну что ж, постараюсь извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу». И я сказал:

— Хорошо, в таком случае едем сейчас же.

Она рыдала, прощаясь со своей свининой; а я сдал аристократок на руки слугам. Я попросил их взять тряпки и вытереть полы в тех помещениях, где жили и прогуливались эти знатные дамы, но слуги решили, что вытирать полы не стоит, так как это было бы нарушением обычаев и вызвало бы много толков. Нарушение обычаев — значит, конечно: эта нация способна на любое преступление, кроме такого. Слуги заявили, что они поступят по обычаю, существующему с незапамятных времен и освященному давностью: они посыплют полы всех комнат и зала свежим тростником, скрыв под ним следы пребывания аристократических гостей. Получалось нечто вроде сатиры на природу; метод был научный, геологический — увековеченье истории семьи путем напластования; впоследствии археолог, раскапывая эти пласты, будет иметь возможность определить по остаткам каждого периода, как изменялось питание семьи в течение сотен лет.

Как только мы двинулись в путь, мы наткнулись на шествие паломников. Нам было с ними не по дороге, но мы присоединились, так как во мне с каждым часом крепло убеждение, что, если я хочу управлять этой страной мудро, я должен хорошенько изучать ее, и не с чужих слов, а путем внимательного личного наблюдения.

Это сборище паломников очень напоминало то, которое описал Чосер^[29]; здесь были все профессии и все одеяния тогдашней Англии. Молодые мужчины и старые, молодые женщины и старые, люди веселые и люди печальные. Они ехали верхом на мулах и на лошадях, но ни единого дамского седла я не заметил — оно появилось в Англии лишь девятьсот лет спустя.

Это была добродушная, дружелюбная, общительная толпа; набожная, счастливая, веселая, склонная к бессознательной грубости и невинным непристойностям. Рассказы, которые эти люди считали веселыми, без конца переходили из уст в уста и смущали слушателей не больше, чем такие же рассказы смущали лучшее английское общество двенадцать столетий спустя. Они выкидывали веселые штуки, достойные английского остроумия первой четверти девятнадцатого века, вызывая всеобщий восторг; порой чье-нибудь крылатое словцо облетало из конца в конец все шествие, и путь его можно было проследить по взрывам хохота, раздававшимся то там, то сям, а также по стыдливому румянцу, вспыхивавшему на мордах мулов.

Сэнди было известно, куда направляются паломники, и она сразу сообщила об этом мне. Она сказала:

— Они идут в Долину Святости получить благословение отшельников, испить чудотворной воды и очиститься от грехов.

— Где находится этот водный курорт?

— В двух днях пути отсюда, у пределов страны, которая зовется королевством У-Черта-На-Рогах.

— Расскажи мне об этом курорте. Он, наверно, очень знаменит?

— О, еще бы! Знаменитее всех! В старые времена там поселился настоятель и кучка монахов. Говорят, святее их не было никого на свете; они изучали священное писание и ни с кем не разговаривали, даже друг с другом, и ели только траву, и спали на жесткой земле, и много молились, и никогда не умывались и не меняли одежды до тех пор, пока она сама от ветхости не сваливалась с плеч. Слава об их святом подвижничестве распространилась по всему свету, и стали к ним ходить богатые и бедные, и все чтили их.

— Продолжай.

— Одна беда — у них не было воды. И настоятель стал молить бога даровать им воду, и бог,

по молитве его, совершил чудо, и из земли хлынул поток чистой воды. Но тут слабым духом монахов стал искушать дьявол, и они пристали к своему настоятелю, прося и умоляя его построить купальню; настоятель под конец устал с ними спорить и сказал: «Пусть будет по-вашему», и исполнил их просьбу. Сейчас вы узнаете, что значит нарушить чистоту, угодную господе, и погнаться за чистотой, угодной свету. Монахи вошли в купальню и вышли оттуда чистыми и белыми, как снег, но, увы, в то же мгновение господь явил знамение свое и покарал их! Оскорбленные воды господнего источника перестали бить из земли. Источник иссяк.

— Это еще милостиво, Сэнди, если вспомнить, как относятся в здешней стране к такому преступлению.

— Возможно, но ведь они согрешили впервые; до этого греха они вели безупречную жизнь, жили, как ангелы. Молитвы, плач, истязания плоти — ничто не могло заставить источник бить снова. Даже крестные ходы, даже курение ладана, даже свечи перед образом святой девы — ничего не помогало, и вся страна дивилась божьей каре.

— Как странно, что даже в этой отрасли промышленности бывают финансовые кризисы, во время которых цена акций падает до нуля и все останавливается. Продолжай, Сэнди.

— Миновал один год и один день; и настоятель, смирившись, разрушил купальню. И сразу же гнев господень утих, и воды снова обильно хлынули из земли и текут по сей день.

— Значит, с тех пор никто уже ни разу в них не мылся?

— Тот, кто попробовал бы в них вымыться, был бы немедленно растерзан.

— И обитель с тех пор процветает?

— Слава о чуде разнеслась повсюду, из края в край. Монахи стали стекаться туда со всех концов земли; они шли стаями, как рыбы; и монастырь строил здание за зданием, рос и ширился, пока не принял всех пришедших в свои объятия. Приходили и монахини; они основали отдельную обитель на другом краю долины, они строили здание за зданием, и, наконец, вырос обширный женский монастырь. Монахи и монахини жили дружно; объединив свои труды, они совместно воздвигли превосходный приют для подкинутых младенцев как раз на полпути между двумя монастырями.

— Ты хотела рассказать об отшельниках, Сэнди.

— Отшельники стекались туда со всех концов земли. Отшельник процветает там, где бывает много паломников. В Долине Святости отшельники самые различные. Если кому-нибудь нужен отшельник совсем небывалый, какие встречаются только в далеких странах, пусть он пошарит в ямах, пещерах и болотах Долины Святости, — там он найдет то, что ему надо.

Я поехал рядом с круглолицым веселым толстяком, надеясь разговориться с ним и узнать от него какие-нибудь подробности. Но едва я с ним познакомился, как он, к моему ужасу, принялся весьма неумело, но с необыкновенным оживлением рассказывать мне тот самый старый анекдот, который мне рассказал сэр Дайнадэн в день, когда сэр Саграмор поссорился со мной и вызвал меня на поединок. Я извинился и отъехал назад, в самый хвост шествия. Мне было грустно, мне хотелось уйти из этой жизни, полной тревог, из этой юдоли слез, положить конец этому беспокойному краткому существованию, омраченному тучами и бурями, утомительной борьбой и постоянными поражениями; и все же я страшился смерти — при мысли о том, как длинна вечность и сколько уже ушло в нее людей, знавших этот анекдот.

Вскоре после полудня мы нагнали другое шествие паломников; но там ни среди старых, ни среди молодых не слышно было ни шуток, ни смеха, не видно было ни забавных выходов, ни веселых дурачеств. А между тем там были и старые и молодые, седые старики и старухи, здоровые мужчины и женщины средних лет, молодожены, мальчики и девочки и три грудных младенца. Даже дети не улыбались; все эти люди, — а их было около пятидесяти, — шли понурих головы, и на лицах их лежала печать безнадежности — след долгих, тяжких испытаний

и давнего знакомства с отчаяньем. Это были рабы. Их руки и ноги были прикованы цепями к кожаным поясам; кроме того, все, за исключением детей, были еще скованы общей цепью, которая шла от ошейника к ошейнику, вынуждая несчастных идти вереницей на расстоянии шести футов один от другого. За восемнадцать дней они прошли пешком триста миль, питаясь скверно и скудно. По ночам они спали не снимая цепей, сбившись в кучу, как свиньи. Их жалкие лохмотья нельзя было даже назвать одеждой. Кожа на лодыжках у них была содрана кандалами, и в воспаленных ранах копошились черви; босые ноги — изодраны в кровь, они все хромали. В начале пути этих несчастных была целая сотня, но половину из них уже распродали по дороге. Работорговец, гнавший их, ехал сбоку верхом, держа в руке плеть с коротенькой ручкой и длинным тяжелым ремнем, конец которого был разделен на множество узловатых ремешков. Этой плетью он хлестал по плечам, заставляя выпрямляться тех, кто шатался от усталости и боли. Он не разговаривал; плеть выражала его волю сильнее слов. Ни один из этих несчастных не поднял даже глаз, когда мы поравнялись с ними; казалось, они даже не заметили нашего присутствия. Они шли молча, но всякий раз, когда сорок три человека одновременно поднимали ноги, цепь, тянувшаяся из одного конца вереницы в другой, мрачно и страшно звенела. Облако пыли висело над ними.

Пыль лежала толстым слоем на всех лицах. Такой слой пыли мы видим на мебели в нежилых домах и пальцем пишем по нему свои праздные мысли. Я вспомнил об этом, заметив на пыльных лицах молодых матерей, младенцы которых были близки к смерти и свободе, письма, начертанные их сердцами, — такие заметные письма, такие разборчивые! — следы слез. Одна из этих молодых матерей была сама совсем еще девочка, и у меня заныло сердце, когда и на ее лице я прочел эти письма, ибо ее слезы были слезы ребенка, который не должен знать никаких забот, а лишь наслаждаться утром жизни и, конечно...

Она споткнулась, измученная усталостью, и на нее сразу же обрушилась плеть, сорвав лоскут кожи с ее обнаженного плеча. Я содрогнулся так, словно ударили не ее, а меня. Торговец остановил всех рабов и соскочил с лошади. Он шумел и ругался, крича, что эта негодная девчонка измучила его своей ленью, и так как сегодня последний день, что она находится под его опекой, он хочет свести с ней счеты. Она упала на колени, протянула к нему руки и, рыдая, в страхе умоляла его, но он не обратил на это внимания. Он вырвал у нее из рук ребенка и приказал рабам-мужчинам, ближайшим соседям по цепи, повалить ее на землю, обнажить и держать, а сам стал над нею и исполосовал ей плетью всю спину; женщина жалобно плакала и билась. Один из мужчин, державших ее, отвернулся, и за это проявление жалости был обруган и избит.

Паломники стояли, смотрели и обсуждали со знанием дела, хорошо ли торговец владеет плетью. Всю жизнь видя вокруг себя рабство, они так очерствели, что не были способны взглянуть на это истязание с какой-нибудь иной точки зрения. Вот до какого омертвения лучших человеческих чувств доводит рабство, — ибо паломники были люди добросердечные и ни за что не позволили бы этому человеку так обращаться с лошадью.

Мне хотелось остановить истязание и освободить рабов, но делать этого не следовало. Не следовало слишком часто вмешиваться в чужие дела, чтобы не прослыть человеком, нарушающим законы и попирающим права граждан. Я дал себе слово, что, если буду жив и не потеряю власть, я казню рабство. Я буду палачом рабства, — но надо стремиться к тому, чтобы стать его палачом волею народа.

Возле дороги стояла кузница; землевладелец, уже купивший эту молодую женщину в нескольких милях отсюда, поджидал здесь колонну рабов, чтобы снять с нее кандалы. Ее расковали; покупатель поссорился с продавцом из-за того, кто должен заплатить кузнецу. Едва с женщины сняли кандалы, она, рыдая, кинулась в объятия того раба, который отвернулся, когда

ее били. Он прижал женщину к груди, осушил ее заплаканное лицо и лицо младенца поцелуями и оросил слезами. Я начал догадываться и стал спрашивать. Да, я не ошибся: это муж и жена. Их растащили силой; женщину повели прочь, и она рвалась, билась и кричала, как помешанная, до тех пор, пока поворот дороги не скрыл ее из вида; но и потом еще долго до нас издали доносились ее рыдания. А как держал себя муж и отец, который никогда больше не увидит своей жены и своего ребенка? У меня не хватило сил смотреть на него, и я отвернулся; но я знал, что зрелище это никогда не изгладится из моей памяти; оно и сейчас стоит у меня перед глазами, и всякий раз, когда я вспоминаю его, сердце мое разрывается.

Мы провели ночь в деревенской гостинице. На следующее утро, выйдя на крыльцо, я в сиянии зари увидел скачущего всадника и узнал в нем одного из своих рыцарей — сэра Озану ле Кер-Арди. Он был специалистом по мужской галантерее, в частности занимался распространением цилиндров. Рыцарь весь был закован в сталь, и доспехи у него были по тем временам превосходные, только на голове вместо шлема он носил лоснящийся цилиндр — забавнейшее сочетание на свете. Мой тайный замысел был именно таков: ослабить рыцарство, сделав его смешным и нелепым. На седле сэра Озаны висели кожаные шляпные коробки, и каждый раз, побеждая какого-нибудь странствующего рыцаря, он приказывал ему поступить ко мне на службу и напяливал ему на голову цилиндр. Я оделся и побежал навстречу сэру Озане, чтобы приветствовать его и узнать у него новости.

— Как торговля? — спросил я.

— Осталось только четыре коробки; а когда я выезжал из Камелота, у меня их было шестнадцать.

— Вы совершили славные подвиги, сэр Озана. Где вы сейчас странствовали?

— Я только что из Долины Святости, сэр.

— Я сам еду туда. Ну, как монахи? Есть там что-нибудь новенькое?

— Ох, и не спрашивайте!.. Эй, мальчишка, прими коня, накорми его хорошенько, если тебе дорога твоя башка; веди его в конюшню и делай, что тебе велено... Сэр, я привез печальные вести... А, здесь паломники! Слушайте меня, добрые люди! Вести мои повергнут вас в печаль, ибо вы не найдете того, что ищете, и поиски ваши будут тщетны, — пусть я умру, если солгу. Случилось то, чего не случалось уже двести лет; но несчастье, двести лет назад волею всевышнего справедливо постигшее святую долину, было вызвано явными и всем понятными причинами, а теперь...

— Чудодейственный источник иссяк! — вырвался крик из двадцати глоток разом.

— Вы сами сказали, добрые люди, то, что я собирался вам сказать.

— Кто-нибудь опять выкупался?

— Некоторые так и думают, но большинство этому не верит. Полагают, что совершен какой-нибудь иной грех, но какой — никто не ведает.

— А как монахи переносят это бедствие?

— Словами не передашь. Источник сух вот уже девять дней. Они молятся, они причитают, надев рубища и посыпав пеплом главы, они устраивают крестные ходы, не отдыхая ни днем, ни ночью; монахи, монахини и подкидыши уже так устали, что лишились голосов, и, не имея возможности молиться вслух, развешивают молитвы, начертанные на пергаменте. Наконец они послали за вами, сэр Хозяин, чтобы испытать вашу магию и ваше колдовство; а на случай, если вы не согласитесь прибыть, отправили посла за Мерлином, и Мерлин прибыл туда уже три дня назад и заявил, что он вернет воду, даже если для этого придется перевернуть всю землю и повергнуть все царства земные. И он усердно колдует и сзывает себе на помощь все силы ада, однако до сих пор влаги не появилось даже столько, сколько появляется на медном зеркале, если подышать на него, а между тем не счесть бочек пота, которые проливает он от зари до

зари, усердствуя в своих трудах. И если вы...

Нам подали завтрак. После завтрака я показал сэру Озани слова, которые написал внутри его цилиндра:

«Химический департамент, лабораторный отдел, секция Рххр. Вышлите два самых крупных, два № 3 и шесть № 4 вместе со всеми необходимыми деталями, а также двух моих опытных помощников».

И сказал:

— Теперь, отважный рыцарь, скачите во весь дух в Камелот, покажите эту надпись Кларенсу и скажите ему, чтобы он как можно скорее прислал все, о чем здесь написано, в Долину Святости.

— Будет исполнено, сэр Хозяин, — сказал Озана и умчался.

22. Священный источник

Паломники были люди. Если бы они не были людьми, они поступили бы иначе. Они совершили долгий, трудный путь, и теперь, когда путь этот был уже почти окончен и они вдруг узнали, что главное, ради чего они ехали, перестало существовать, они поступили не так, как на их месте поступили бы лошади, или кошки, или черви, — те, вероятно, повернули бы назад и занялись бы чем-нибудь более выгодным, — нет, прежде они жаждали увидеть чудотворный источник, а теперь они в сорок раз сильнее жаждали увидеть то место, где этот источник когда-то был. Поведение людей необъяснимо.

Мы двигались быстро. Часа за два до захода солнца мы уже стояли на высоких холмах, окружающих Долину Святости, и видели все ее достопримечательности. Я говорю о самых главных — о трех огромных зданиях. Здания эти, стоявшие одиноко, казались в этой беспредельной пустыне хрупкими, как игрушки. Такое зрелище всегда печально, — тишина и неподвижность напоминают нам о смерти. Хотя тишину нарушал звук, доносимый издали порывами ветра, но от этого звука становилось еще печальнее: то был отдаленный похоронный звон, такой слабый, что мы не могли понять, слышим ли мы его на самом деле, или он нам только чудится.

Еще засветло мы добрались до мужского монастыря; мужчин приютили в нем, а женщин отправили дальше, в женский монастырь. Колокола были теперь совсем близко, и их торжественное гудение врвалось в уши, как весть о страшном суде. Суеверное отчаянье владело сердцами иноков и было ясно написано на их изнуренных лицах. Они шныряли вокруг нас, то появляясь, то исчезая, в черных рясах, в мягких туфлях, с восковыми лицами, бесшумные и причудливые, как образы страшного сна.

Старый настоятель встретил меня с трогательной радостью. Слезы брызнули у него из глаз, но он сдержал себя. Он сказал:

— Не медли, сын мой, приступай к своему спасительному труду. Если нам в самый короткий срок не удастся вернуть воду, мы погибли и все, созданное благородными трудами за двести лет, будет разрушено. Только смотри, чары твои должны быть святыми чарами, ибо церковь не потерпит дьявольских чар, даже если эти чары пойдут ей на пользу.

— К моим чарам, отец, дьявол не имеет никакого отношения. Ни к каким дьявольским чарам я прибегать не стану, я буду пользоваться только теми веществами, которые созданы божьей рукой. Но уверены ли вы, что Мерлин поступает столь же благочестиво?

— Да, мой сын, он обещал мне не прибегать к помощи нечистой силы и подтвердил свое обещание клятвой.

— Ну что ж, тогда пусть он и продолжает работать.

— Но, надеюсь, ты не будешь сидеть сложа руки, ты поможешь ему?

— Не годится смешивать столь различные методы, отец; и, кроме того, это было бы нарушением профессиональной этики. Два человека, занимающиеся одним ремеслом, не должны подставлять ножку друг другу. Дела хватит на каждого, а кто из нас лучше, выяснится когда-нибудь само собой. Вы подрядили Мерлина; ни один другой чародей не станет вмешиваться в его работу, пока он сам от нее не откажется.

— Но я прогоню его. Дело великой важности, и я имею законное право прогнать его. А если даже и не имею такого права, так кто осмелится предписывать законы церкви? Церковь сама предписывает законы всему; все, что нужно для церкви, должно быть исполнено, а если кто-нибудь этим обижен, пусть обижается. Я прогоню его, приступай к работе немедленно.

— Нет, так нельзя, отец. Разумеется, ты прав: тот, кто всех сильнее, может делать, что

хочет, и никто не посмеет ему перечить, но мы, несчастные чародеи, находимся в особом положении. Мерлин — отличный чародей на малые дела и пользуется недурной репутацией в провинции. Он старается, он делает все, что в его силах, и было бы неприлично отнимать у него работу, пока он сам от нее не откажется.

Лицо настоятеля просияло.

— Ну, этого добиться нетрудно. Мы найдем способ заставить его отказаться.

— Нет, нет, отец, это не пройдет. Если вы отстраните его насильно, он заколдует источник, и вам не удастся расколдовать его, пока я не проникну в тайну его чар. А это может занять целый месяц. У меня у самого есть такое небольшое колдовство, которое я называю телефон, и Мерлину пришлось бы потратить по крайней мере сто лет, чтобы проникнуть в его тайну. Да, он может задержать меня на целый месяц. Неужели вы согласны рисковать целым месяцем в такую засуху?

— Целый месяц! Одна мысль об этом меня пугает. Пусть будет по-твоему, сын мой. Но в сердце моем тяжелое разочарование. Оставь меня наедине с моей мукой, терзающей меня вот уже девять долгих дней, во время которых я не знал, что такое покой, ибо даже тогда, когда мое простертое тело как будто наслаждалось покоем, его не было в глубине моей души.

Конечно, Мерлин поступил бы благоразумнее, если бы пренебрег приличиями и бросил это дело, так как ему все равно никогда не удалось бы пустить воду, ибо он был подлинный чародей своего времени, а это означает, что все крупные чудеса, которые приносили ему славу, он всегда ухитрялся творить в такие мгновения, когда его никто не видел. Не мог он пустить воду при всей этой толпе. Глазеющая толпа в те времена так же мешала творить чудеса чародею, как в мое время мешает она творить чудеса спириту: всегда в ней найдется скептик, который включит свет в самую критическую минуту и все испортит. Но я вовсе не хотел, чтобы Мерлин уступил мне дело, прежде чем я сам буду в состоянии за него взяться; я же не мог приняться за него до тех пор, пока не привезут из Камелота нужные мне вещи, а это займет два-три дня.

Мое присутствие вернуло монахам надежду и так их ободрило, что вечером они как следует поужинали — впервые за девять дней. Когда желудки их наполнились, они воспрянули духом, а когда вкруговую пошла чаша с медом, они и совсем развеселились. Подвыпившие святые отцы не хотели расходиться, и мы просидели за столом всю ночь. Было очень весело. Рассказывали добрые старые истории сомнительного свойства, от которых у иноков слезы текли по щекам, рты широко раскрывались, зияя, и сотрясались круглые животы; пели сомнительные песни, ревели их хором так громко, что заглушали звон колоколов.

В конце концов я и сам решился кое-что рассказать и имел успех огромный. Не сразу, конечно, так как до жителей тех островов смешное никогда не доходит сразу; но когда я в пятый раз повторил свой рассказ, стена дала трещину; когда я повторил его в восьмой раз — начала осыпаться; после двенадцатого повторения — раскололась на куски; после пятнадцатого — рассыпалась в пыль, и я, взяв швабру, вымел ее. Я говорю, разумеется, в переносном смысле. Эти островитяне вначале тугие плательщики и очень скупно оплачивают ваши труды, но под конец они платят столь щедро, что по сравнению с их платой всякая другая покажется нищей и скупой.

На другой день, чуть свет, я был у источника. Я уже застал там Мерлина, который колдовал с усердием бобра, но не добился даже сырости. Настроение у него было весьма скверное; и всякий раз, когда я намекал ему, что, пожалуй, для человека неопытного подряд, который он взял на себя, слишком тяжел, он давал волю своему языку и начинал выражаться, как епископ, — как французский епископ эпохи Регентства^[30].

Дело обстояло приблизительно так, как я и ожидал. «Источник» оказался самым обыкновенным колодцем, вырытым самым обыкновенным способом и облицованным самым

обыкновенным камнем. Никакого чуда в нем не было. Даже во лжи, прославившей его, не было никакого чуда; я и сам мог бы без всякого труда изобрести такую ложь. Колодец находился в темном помещении, в самой середине часовни, построенной из нетесаного камня; стены этой каморки были увешаны благочестивыми картинами, перед которыми и рекламы страховых обществ могли бы гордиться совершенством, — картинами, изображавшими чудесные исцеления, совершенные водами источника, когда никто этого не видел, — никто, кроме ангелов. Ангелы всегда вылезают на палубу, когда совершается чудо, — вероятно для того, чтобы попасть на картину. А они любят это не меньше, чем пожарные; можете проверить по картинам старых мастеров.

Часовню, в которой находился колодец, тускло освещали лампы. Когда была вода, монахи доставали ее с помощью ворота и ведра на цепи и переливали в желоба, по которым она стекала в каменные резервуары, помещавшиеся снаружи; и в часовню, где находился колодец, никто не имел права входить, кроме монахов. Однако я вошел в нее — с любезного разрешения моего собрата по ремеслу и подчиненного. Сам он туда не входил. В работе он прибежал только к заклинаниям; к разуму он не прибежал никогда. Если бы он вошел в эту комнату и, вместо того чтобы напрягать свои поврежденные мозги, оглядел ее собственными глазами, он нашел бы способ исправить колодец естественными средствами, а потом мог бы выдать это за чудо, как обычно делается; но нет, он был старый дурень, он был из тех колдунов, которые сами верят в свое колдовство, а колдун, одержимый таким суеверием, никогда не добьется успеха.

Я подозревал, что колодец дал течь, что несколько камней возле дна обрушилось и образовалось отверстие, через которое уходит вода. Я измерил цепь, — длина ее равнялась девяноста восьми футам. Затем я вызвал двух монахов, запер дверь на замок, взял свечу и заставил их спустить меня в колодец на ведре. Когда цепь размотали до конца, я при свете свечи убедился в правильности своих предположений: значительная часть стены вывалилась, образовав большую трещину.

Я почти жалел, что мои догадки подтвердились, так как я имел в виду кое-что другое, более выгодное для чуда. Мне вспомнилось, что в Америке, много веков спустя, когда нефтяной фонтан переставал бить, его снова вызывали к жизни, взрывая землю динамитом. Если бы оказалось, что колодец просто высох без видимых причин, я мог бы благородно удивить всех, заставив какого-нибудь не особенно ценного человека бросить в него динамитную бомбу. У меня была даже мысль использовать для этого Мерлина. Однако теперь я убедился, что бомбу бросать не придется. Обстоятельства не всегда складываются так, как мы хотим. Деловой человек не должен поддаваться разочарованию, он должен сообразить, как бы ему получить свое. Так я и поступил. Я сказал себе, что торопиться некуда, что я могу и подождать; дойдет черед и до бомбы. В свое время и дошел.

Когда меня подняли, я прогнал монахов и опустил в колодец рыболовную лесу; глубина колодца оказалась равной ста пятидесяти футам, а вода держалась в нем сейчас на уровне сорока одного фута. Я позвал монаха и спросил:

— Какова глубина колодца?

— Не знаю, сэр, мне никто об этом не говорил.

— На каком уровне обычно стояла в нем вода?

— В течение всех этих двухсот лет вода стояла в нем недалеко от края; так говорит предание, унаследованное нами от наших предшественников.

Слова этого монаха подтвердили свидетели, более заслуживающие доверия: только двадцать или тридцать футов цепи носили следы употребления, а вся остальная часть ее была заржавлена и, видимо, никогда не опускалась в колодец. Каким образом в прошлый раз вода сначала исчезла, а потом появилась вновь? Несомненно, какой-то практичный человек

спустился в колодец и заделал течь, а потом пришел к настоятелю и заявил, что, если разрушат купальню, вода вернется. А теперь снова образовалась течь, и эти простакки молились бы, и устраивали бы крестные ходы, и звонили бы в колокола, пока сами не высохли бы и ветер не развеял бы их на все четыре стороны, — и никому из них не пришло бы в голову спустить в колодец рыболовную лесу или самому спуститься туда и исследовать, в чем собственно дело. Преодолеть укоренившиеся навыки мышления труднее всего на свете. Они передаются от поколения к поколению, как черты лица; и если у человека той эпохи появилась какая-нибудь мысль, которой не было у его предков, начинали подозревать, что он незаконнорожденный. Я сказал монаху:

— Трудное чудо — вернуть воду в сухой колодец, но мы попробуем его сотворить, если моего брата Мерлина постигнет неудача. Брат Мерлин очень способный чародей, но его специальность — салонные фокусы, и здесь он может не добиться успеха; да, по всей вероятности успеха он не добьется. Но в этом нет ничего постыдного, ибо человек, способный творить такие чудеса, может открыть отель.

— Отель? Я как будто не слышал...

— Об отелях? Это то, что вы зовете постоялым двором. Человек, который может сотворить такое чудо, управится и с постоялым двором. Это чудо мне по силам, я его сотворю; но не скрою от вас, что, для того чтобы сотворить это чудо, мне придется напрячь все свои чародейские способности до крайней степени.

— Уж кому-кому, а нашей монастырской братии это известно, ибо предание гласит, что в тот раз восстановление источника оказалось настолько трудным, что потребовало целый год. Как бы то ни было, мы будем молиться богу и просить у него для вас успеха.

С деловой точки зрения удачная это была мысль — распространить слух, будто сотворить такое чудо очень трудно. Иногда самые незначительные вещи приобретают огромное значение благодаря рекламе. Этот монах был потрясен трудностью того, что мне предстояло совершить, — он потрясет этим других. Через два дня сострадание ко мне станет всеобщим.

В полдень, возвращаясь домой, я встретил Сэнди. Она только что была у отшельников. Я сказал:

— Я хочу сам их осмотреть. Сегодня среда. У них бывают утренние спектакли?

— Извините, сэр, о чем вы говорите?

— Утренние спектакли. У них открыто днем?

— У кого?

— У отшельников, конечно.

— Открыто?

— Ну да, открыто? Что же тут непонятного? Или они закрывают в полдень?

— Закрывают?

— Закрывают. Ну да, закрывают. Никогда не видал я такой тупицы: что ни скажи, ничего не понимает. Спрашиваю тебя самыми простыми словами: когда они закрывают лавочку? Когда они кончают игру? Когда они гасят свет?

— Закрывают лавочку, кончают...

— Ну, все равно, хватит! Ты мне надоела. Не понимаешь самых простых вещей.

— Я была бы рада вам угодить, сэр, и я скорблю и горюю оттого, что мне не удастся угодить вам, но я всего только простая дева, и меня ничему не учили, не окрестили меня с колыбели в глубоких водах познания, окропивших того, кто приобщился к самому благородному из таинств, того, на кого с благоговением взирают очи смиренных смертных, сознающих, что их невежество — лишь прообраз иных несовершенств, скорбя о которых, люди облачаются во власяницу и посыпают пеплом горестей свои головы; и когда в мрак,

окутывающий разум такого невежды, проникают такие золотые слова, исполненные высокой тайны, как, например: «закрывать лавочку», «кончать игру», «гасить свет», только милосердие божие спасет невежду от того, чтобы не лопнуть от зависти к тому, чей разум способен вместить, а язык способен произнести столь величавые, благозвучные и чудесные речения, и путаница, возникающая в — смиренном уме невежды, и неумение постигнуть божественное значение этих чудес проистекают не из тщеславия — оно искренне и правдиво, и вы должны понять, что оно — самая сущность благоговейного преклонения, никогда не проходящего и хорошо вам известное, если вы изучили склад души моей и моего разума и поняли, что я не *не хочу*, а *не могу*, а раз не могу, то ничего не могу поделать, если бы и хотела, и не в нашей власти превратить *хочу* в *могу*, и потому я прошу вас, мой добрый господин и драгоценный лорд, быть снисходительным к моей вине и простить мне ее по доброте вашей и по вашему милосердию.

Я не в состоянии был понять все, что она говорила, но общий смысл я уловил и почувствовал себя пристыженным. Неблагодарно было обрушивать технические выражения девятнадцатого века на невежественную дочь шестого и потом бранить ее за то, что она не понимает; она изо всех сил старалась понять смысл моих речей, и не ее вина, если это ей не удалось; и я извинился. Мы вместе пошли по извилистым тропкам к норам отшельников, мирно беседуя между собой и чувствуя, что стали еще лучшими друзьями, чем прежде.

Во мне постепенно возникало таинственное и полное трепета уважение к этой девушке; всякий раз, когда она пускала в ход свой поезд и он мчался через беспредельные материки, волоча за собой одну из ее фраз, мне казалось, что я стою перед страшным ликом самой праматери германских языков. Порой, когда она принималась изливать на меня такую фразу, я, полный невольного благоговения, снимал шлем и стоял с непокрытой головой; и если бы слова ее были водой, я, несомненно, утонул бы. Она поступала совершенно как немцы: когда ей хотелось что-нибудь сказать, — все равно что — ответить ли на вопрос, произнести ли проповедь, изложить ли энциклопедию или историю войн, — она непременно должна была всадить все целиком в одну единственную фразу или умереть. Так поступает и всякий немецкий писатель: если уж он нырнет во фразу, так вы не увидите его до тех пор, пока он не вынырнет на другой стороне своего Атлантического океана с глаголом во рту.

До самого вечера мы таскались от отшельника к отшельнику. Это был в высшей степени странный зверинец. Казалось, отшельники соперничали друг с другом главным образом в том, кто превзойдет остальных нечистоплотностью и разведет вокруг себя больше насекомых. Все их повадки свидетельствовали о необычайном самодовольстве. Один анахорет, например, гордился тем, что лежит голый в грязи и разрешает насекомым кусать себя; другой тем, что стоит весь день у скалы, на виду у восхищенных паломников, и молится; третий тем, что, раздевшись догола, ползает на четвереньках; четвертый тем, что много лет подряд таскает на себе восемьдесят фунтов железа; пятый тем, что никогда не ложится спать, как все люди, а спит стоя среди терновника, и храпит, когда паломники собираются вокруг и глазеют на него. Одна женщина, прикрывавшая свою наготу только седыми волосами, стала черной от головы до пят благодаря сорокасемилетнему благочестивому воздержанию от воды. Вокруг каждого из этих странных людей в почтительном изумлении стояли паломники и завидовали благодати, которую те стяжали себе на небесах своими набожными подвигами.

Мало-помалу добрались мы до самого великого из отшельников. Он был необычайно знаменит, слава его гремела по всему христианскому миру; именитые и знатные люди съезжались с отдаленнейших краев земного шара, чтобы поклониться ему. Он выбрал себе место в самой широкой части долины, и все пространство вокруг него всегда было заполнено толпой.

Отшельник стоял на столбе в шестьдесят футов вышиной, с широкой площадкой на

верхушке. Он был занят тем, чем занимался каждый день в течение вот уже двадцати лет подряд: то нагибался к своим ногам, то разгибался. Так он молился. Я подсчитал с часами в руке — за 24 минуты 46 секунд он отбил 1244 поклона. Жаль было, что такая энергия пропадает зря. Движение, которое он совершал, для механики настоящий клад, — все равно, как если бы нажимали педаль. Я отметил это в своей записной книжке, предполагая в будущем приспособить к нему систему мягких ремней и заставить его вертеть колесо швейной машины. Впоследствии я осуществил этот план, и отшельник превосходно работал целых пять лет; за этот срок он сшил восемнадцать тысяч рубах из домотканого холста — по десяти штук в день. Я заставлял его работать и по воскресеньям; в воскресенье он отбивал не меньше поклонов, чем в будни, и было бессмысленно расходовать столько энергии вхолостую. Эти рубашки обходились мне даром, если не считать ничтожных затрат на материал; материал оплачивал я сам, так как было бы несправедливо возложить этот расход на отшельника; наши рубашки продавались паломникам по полтора доллара за штуку, а на полтора доллара в королевстве Артура можно было купить пятьдесят коров или чистокровного коня. Рубашки эти считались лучшим предохранительным средством от всякого греха, и мои рыцари так усердно рекламировали их с помощью красок и трафарета, что скоро во всей Англии не осталось ни одной скалы, ни одного камня, ни одной стены, где не было бы надписи, видной за милю:

ПОКУПАЙТЕ РУБАШКИ ТОЛЬКО СВ. СТОЛПНИКА

ИХ НОСИТ ВСЯ ЗНАТЬ. ПАТЕНТ ЗАЯВЛЕН.

Это предприятие принесло столько денег, что я не знал, куда их девать. Когда оно разрослось, мы стали изготавливать рубашки для королей, изящные сорочки для герцогинь и прочих знатных дам — с оборочками на носовой части, со сборками на корме, с вышивкой у спасательных кругов, с подбором по левому борту. Да, прелестные вещицы.

Но как раз в это время я стал замечать, что мой двигатель приобрел обыкновение стоять на одной ноге, — с другой, очевидно, случилось что-то неладное; я сократил производство и вышел из дела, которое купил сэра Боре де Ганис в компании со своими друзьями; а через год и совсем пришлось закрыть это предприятие, так как святой подвижник удалился на покой. Он заслужил его. Могу утверждать это с полной ответственностью.

Но когда я его увидел впервые, он вел себя так, что описать его поведение здесь невозможно. Если угодно, прочтите о нем в Житии святых^[31].

23. Восстановление источника

В субботу, около полудня, я отправился к колодцу — посмотреть, что там делается. Мерлин все еще жег благовонные курения, размахивал руками и усердно бормотал какую-то чушь, но, видимо, уже пал духом, так как, разумеется, ему не удалось добиться ни капли влаги. Наконец я сказал:

— Ну, как дела, компаньон?

— Взирай, я сейчас обращусь к помощи могущественнейших чар, ведомых только мудрейшим знатокам тайных наук Востока; если и эти чары не помогут, значит ничто уже не в силах помочь. Храни молчание, пока я не кончу.

Он напустил столько дыму, что все потемнело вокруг, и отшельники испытали немало неприятностей, так как ветер дул в их сторону и дым, густой, волнистый, полез прямо к ним в норы. Он говорил так много, что из его речей можно было бы составить целые темы, он извивался всем телом и яростно рассекал воздух руками. Через двадцать минут он упал на землю, задыхаясь и изнемогая. Тут явились и настоятель, и сотни монахов с монахинями, и паломники, и бесчисленные подкидыши, привлеченные чудодейственным дымом и чрезвычайно взволнованные. Настоятель озабоченно спросил, удалось ли чего-нибудь добиться. Мерлин сказал:

— Если бы сил смертного могло хватить на то, чтобы развеять чары, сковывающие эти воды, источник был бы уже расколдован. Однако он не расколдован; следовательно, произошло то, чего я больше всего опасался: моя неудача доказывает, что источник околдован могущественнейшим духом, хорошо известным магом Востока, имя которого так страшно, что всякий, кто произнесет его, умрет. Нет и не будет такого смертного, который способен проникнуть в тайну этих чар, а не проникнув в их тайну, разрешить их невозможно. Воды никогда уже больше здесь не потекут, добрейший отец мой. Я сделал все, что может сделать человек. Позволь мне удалиться.

Конечно, настоятель пришел в отчаянье. Расстроенный, он сказал мне:

— Ты слышал его? Правду он говорит?

— Отчасти правду.

— Значит, правду, но не совсем! Что же в его словах правда?

— Правда то, что этот колодец действительно околдован духом с восточным именем.

— Господи помилуй! Мы погибли!

— Быть может.

— Но не наверняка? Ты хочешь сказать, что не наверняка?

— Да, не наверняка.

— Следовательно, ты хочешь сказать, что он, утверждая, будто никто не в силах развеять эти чары...

— Говорит то, что может оказаться и неправдой. Существуют условия, при которых попытка развеять эти чары имеет некоторые, очень ничтожные, шансы на успех.

— Условия...

— О, в этих условиях нет ничего трудного. Вот в чем они заключаются: колодец и пространство на полмили кругом нужно передать в полную мою власть с сегодняшнего заката до тех пор, пока я не сниму заклятье, и никто не должен заходить сюда без моего разрешения.

— Это все?

— Да.

— И ты не боишься попробовать?

— О, ничуть! Разумеется, меня может постичь неудача. Ну а вдруг я добьюсь успеха? Отчего не сделать попытку? Я готов попытаться. Согласны на мои условия?

— Мы согласны на любые условия. Я сейчас прикажу выполнять все твои требования.

— Подождите, — сказал Мерлин и злобно ухмыльнулся. — Известно ли вам, что тот, кто хочет развеять эти чары, должен знать имя того духа?

— Да, я знаю его имя.

— Но известно ли вам также, что мало знать это имя, надо еще уметь произнести его? Ха-ха! Знаете ли вы об этом?

— Да, знаю!

— Знаете? Но разве вы безумец? Разве вы согласны произнести его имя и умереть?

— Назвать его имя? Конечно согласен. Я сумею произнести его имя, даже если оно валлийское.

— В таком случае вы уже покойник; так я и сообщу Артуру.

— Отлично. Берите свое барахло и убирайтесь. Ступайте домой, Джон У.Мерлин, и принимайтесь за предсказания погоды. Здесь вам больше делать нечего.

Я попал не в бровь, а в глаз и заставил его поморщиться, ибо он был самый скверный предсказатель погоды во всем королевстве. Когда он отдавал приказ вывесить на побережье штормовые сигналы, начинался мертвый штиль, который длился целую неделю, а когда он предсказывал хорошую погоду, дождь лил ручьями. Тем не менее я оставил его в бюро предсказаний погоды, — я хотел подорвать его репутацию. Мой намек разозлил его, и он, вместо того чтобы отправиться домой и доложить о моей смерти, заявил, что собирается остаться здесь и насладиться зрелищем моей гибели.

Мои специалисты прибыли вечером, страшно измученные, так как в пути они почти не отдыхали. С ними были выючные мулы, на которых они привезли все, что мне могло пригодиться: инструменты, насос, свинцовую трубу, бенгальский огонь, связки больших ракет, римские свечи, электрическую батарею — все необходимое для самого пышного чуда. Они поужинали, немного поспали, и около полуночи мы втроем отправились к колодцу, вокруг которого была такая мертвая тишина, такая пустота, какой я даже не требовал.

Мы завладели колодцем и его окрестностями. Мои ребята умели делать все — от облицовки стен камнем до сооружения точных приборов. За час до восхода солнца течь была заделана и уровень воды начал подниматься. Тогда мы сложили весь наш фейерверк в часовне, заперли ее на замок и отправились спать.

Еще обедня не кончилась, а мы уже снова были у колодца, ибо работы предстояло еще много, а я хотел сотворить свое чудо непременно до полуночи, исходя из следующего делового соображения: чудо, сотворенное на пользу церкви в воскресенье, ценится в шесть раз дороже такого же чуда, сотворенного в будни. За девять часов вода поднялась до своего обычного уровня; иными словами, она стояла в двадцати трех футах от края колодца. Мы погрузили в воду маленький железный насос — один из первых, изготовленных на моей Фабрике возле столицы; мы пробуравили каменный резервуар, стоявший возле наружной стены часовни, в которой помещался колодец, и вставили в отверстие обрезок свинцовой трубы — как раз такой длины, что конец его достигал дверей часовни и мог выбросить за порог струю воды, хорошо видную всей той толпе, которая должна была, по моим расчетам, заполнить не меньше двухсот пятидесяти акров вокруг часовни.

Мы вышибли дно у пустой бочки, отнесли ее на плоскую крышу часовни, прибили к крыше, потом насыпали в бочку ровный слой пороха в дюйм толщиной и понатыкали в порох ракет всех сортов, какие у нас только были, — а было их у нас немало. Мы воткнули в порох провод, соединенный с карманной электрической батареей, затем сложили весь наш запас

бенгальского огня на четырех углах крыши — в одном углу синий, в другом зеленый, в третьем красный, в четвертом фиолетовый — и тоже соединили каждый угол с батареей.

В двухстах ярдах от часовни мы из брусьев и досок построили платформу. Мы убрали эту платформу взятыми напрокат яркими коврами и водрузили на ее верхушку трон самого настоятеля. Когда чудо предназначается для народа невежественного, следует особое внимание обращать на мелочи: каждая мелочь должна поражать публику; не меньшее внимание следует уделить тому, чтобы вашим почетнейшим посетителям были предоставлены все удобства. Если эти условия соблюдены, вы можете смело приступать к делу. Я знаю цену мелочам и удобствам, ибо я знаю природу человека. Пышностью чуда не испортишь. Пышность требует много хлопот, много труда, порой много денег, но в конце концов она всегда окупится. Итак, мы протянули провода под землей от часовни до платформы, а под ней спрятали батарею. Вокруг платформы мы отгородили веревкой пространство площадью в сто квадратных футов, чтобы держать толпу подальше, и на этом кончили работу. Мой план был таков: впуск публики с 10:30; представление — ровно в 11:25. Я не прочь был бы брать плату за вход, но, разумеется, это было неудобно. Я приказал моим ребятам явиться в часовню не позже десяти, когда еще никого не будет, чтобы вовремя пустить в дело насос. И мы отправились ужинать.

Весть о несчастье с источником к этому времени распространилась далеко, и за последние три дня народ валом валил в долину. Вся нижняя часть долины была занята огромным лагерем. Сбор у нас будет великолепный, об этом беспокоиться нечего. Едва начало смеркаться, глашатаи обошли всю долину, оповещая всех о предстоящей попытке вернуть воду, и ожидание стало еще лихорадочнее. Глашатаи объявили, что ровно в 10:30 настоятель со своими приближенными совершит торжественный выход из монастыря и займет свое место на платформе и что до тех пор никто не смеет переступить черту, объявленную мною под запретом; когда настоятель усядется, колокола перестанут звонить — и это будет знак, что все желающие могут подойти.

Я уже стоял на платформе, готовый к приему гостей. И вот, наконец, показалась торжественная процессия, во главе которой шел настоятель. Я увидел их только тогда, когда они подошли к веревке, так как ночь была черная, беззвездная, а зажечь факелы я не позволил. Вместе с настоятелем явился Мерлин и уселся на платформе в первом ряду; как видите, он на этот раз сдержал свое слово. Я не мог разглядеть толп, стоявших за веревкой, но знал, что они уже там. Едва смолкли колокола, эти толпы ворвались огромной черной волной и разлились по всему свободному пространству; они продолжали прибывать еще в течение получаса, потом застыли, замерли; можно было пройти несколько миль по мостовой из человеческих голов.

Я заставил подождать минут двадцать — для того чтобы усилить эффект; всегда полезно немного помучить публику ожиданием. Наконец среди всеобщего безмолвия хор мужских голосов запел прекрасный латинский гимн, сначала тихо, потом все громче, и торжественная мелодия величаво звучала в ночи. Это был самый удачный из всех изобретенных мною эффектов. Когда гимн смолк, я поднялся на платформу, выпрямился во весь рост, широко распростер руки и, закинув голову, стоял неподвижно минуты две, — этим способом всегда можно достигнуть полнейшей тишины. Затем медленно произнес страшное слово^[321], при звуке которого все содрогнулись, а многие женщины попадали в обморок:

— Константинополитанишердудельзакспфайфенмахергезельшаффт!

Когда из моих уст со стоном вырвался последний слог этого слова, я коснулся одного из электрических проводов, и потонувшие во мраке толпы озарил мертвенно-синий свет. Как это было эффектно! Раздалось множество криков, женщины кинулись в разные стороны, подкидывая падали в обморок целыми взводами. Настоятель и монахи торопливо крестились и, потрясенные, бормотали молитвы. Мерлин держал себя в руках, но изумление пробрало его до

самых мозолей, он никогда еще ничего похожего не видывал. Пора было приниматься за новые эффекты. Я поднял руки и, словно в предсмертных муках, простонал:

— Нигилистендинамиттеатеркестхеншпренгунгсаттентэтсферзухунген!

И включил красный свет. Вы бы послушали, как застонал и завыл этот людской Атлантический океан, когда алое адское пламя присоединилось к голубому! Через шестьдесят секунд я крикнул:

— Трансваальтрупентропентранспорттранпельтиртрайбертраунгстрэнтрагеди!

И зажег зеленый свет. Прождав на этот раз всего сорок секунд, я широко распростер руки и громовым голосом выкрикнул все разрушительные слоги вот этого слова слов:

— Меккамузельманненмассенменшенмердерморенмуттермармормонументенмахер!

И вспыхнуло фиолетовое сияние. Все четыре огня горели разом — красный, синий, зеленый, фиолетовый! — четыре неистовых вулкана струили вверх широкие клубы ослепительного дыма, озаряя радужным светом, ярким, как свет полудня, всю долину до самых отдаленных ее концов. Вдали, на фоне неба, виден был столпник, застывший на своем столбе, — впервые за двадцать лет он перестал кланяться, как болванчик. Я знал, что ребята мои уже возле насоса и ждут только знака. И я сказал настоятелю:

— Час настал, отец. Сейчас я назову страшное имя и прикажу чарам рассеяться. Будьте готовы. Ухватитесь за что-нибудь руками.

Затем я крикнул народу:

— Слушайте! Через минуту чары будут рассеяны, — или никогда ни один смертный не рассеет их. Если рассеять чары мне удастся, вы сразу об этом узнаете, ибо святая вода хлынет из дверей часовни.

Я подождал несколько мгновений, чтобы дать возможность слышавшим пересказать мои слова тем, кто, стоя в задних рядах, не мог расслышать их, и затем, приосанясь, нелепо размахивая руками, воскликнул:

— Повелеваю падшему духу, поселившемуся в священном источнике, извергнуть в небеса все адские огни, которые еще таятся в нем, рассеять свои чары, умчаться отсюда в преисподнюю и лежать там связанным тысячу лет. Его собственным грозным именем заклинаю:

— Бдвджджилигкк!

Я включил провод, ведущий к бочке с ракетами, и целый фонтан ослепительных огненных стрел с пронзительным свистом взлетел к зениту, рассыпаясь в небе ливнем алмазов! Вопль ужаса пронесся над толпой, но сразу же его заглушили неистовые крики радости — ибо из дверей часовни, у всех на виду, в сиянии таинственных огней, хлынула освобожденная вода! Старый настоятель не мог произнести ни слова, слезы душили его. Он молча обнял меня и чуть не задушил в объятиях. Его объятия были красноречивее всяких слов. И гораздо опаснее, вдобавок, ибо в этой стране ни один доктор не стоил и ломаного гроша.

Посмотрели бы вы, как толпы людей кидались к воде и целовали ее; целовали, и ласкали, словно живую, и называли ее нежными прозвищами, как друга, который долго пропадал без вести, считался погибшим и вдруг вернулся домой. Да, на это было приятно смотреть; я стал лучшего мнения об этих людях, чем был прежде.

Мерлина я отправил домой на носилках. Когда я произнес страшное имя духа, Мерлин лишился чувств и с тех пор так и не мог окончательно прийти в себя. Никогда прежде не слышал он этого имени, — как и я, — но сразу узнал, что оно настоящее; какое бы дурацкое имя я ни придумал, он признал бы его настоящим. Впоследствии он говорил, что даже родная мать этого духа не могла бы произнести его имя лучше, чем я. Он никак не мог понять, каким образом я остался жив, а я не открывал ему этой тайны. Такие тайны разбалтывают только молодые чародеи. Мерлин потратил три месяца, стараясь с помощью колдовства разгадать

трюк, дающий возможность произнести это имя и остаться в живых. Но ничего у него не вышло.

Когда я направился в часовню, толпа почтительно снимала шапки и широко расступалась передо мной, словно я был каким-то высшим существом, — впрочем, я действительно был существом высшим и сам сознавал это. Я отобрал несколько монахов, посвятил их в тайну насоса и велел им качать воду, так как множество людей, несомненно, захочет провести возле воды всю ночь, и нужно, чтобы ее хватило на всех. Монахам и самый насос показался чудом; они не могли надивиться на него и восхищались, как он превосходно работает.

То была великая ночь, необычайная ночь. Эта ночь принесла мне славу. Переполненный гордостью, я долго не мог заснуть.

24. Маг-конкурент

Мое влияние в Долине Святости было теперь безгранично. И мне хотелось использовать его для какого-нибудь полезного дела. Эта мысль пришла мне в голову на следующее утро, когда к монастырю подъехал один из моих рыцарей, распространявших мыло. История утверждает, что двести лет назад здешние монахи были настолько доступны мирским соблазнам, что пожелали вымыться. Быть может, в них и доныне сохранилось немного этого нечестия. Я спросил одного из братьев:

— Не хочется ли вам выкупаться?

Он содрогнулся при мысли о том, какая опасность грозит источнику, но ответил взволнованно:

— Зачем вопрошать об этом бедное тело, с детских лет не знавшее благодатного освежения? Боже, как я хочу выкупаться! Но это невозможно, благородный сэр, не искушай меня: это запрещено.

И он вздохнул так скорбно, что я твердо решил дать ему возможность смыть хоть верхний слой своего земельного надела, даже если после этого влияние мое рухнет, а монастырь обанкротится. Я пошел к настоятелю и попросил его разрешить этому брату выкупаться. Настоятель при этих словах побледнел, — я не хочу сказать, будто я видел, как он побледнел, ибо для того чтобы увидеть, мне пришлось бы снять с его лица слой грязи толщиной в книжный переплет, а я вовсе не собирался этим заниматься, — но я знаю, что он побледнел и задрожал. И проговорил:

— Ах, сын мой, я все отдам тебе с благодарностью, требуй, чего хочешь, но только не этого. Неужели ты хочешь, чтобы священный источник снова иссяк?

— Нет, отец, я не дам ему иссякнуть. Я имел тайное откровение и теперь знаю, что в тот раз источник иссяк вовсе не потому, что монахи построили купальню. — Старик с любопытством насторожился. — Господь открыл мне, что купальня была неповинна в этом несчастье, ниспосланном совсем за другой грех!

— Речи твои дерзки... но... но, если они правдивы, мне отрадно слышать их.

— Они правдивы, не сомневайтесь. Позвольте мне заново построить купальню, отец. Позвольте мне восстановить ее, и воды источника будут течь вечно.

— Ты обещаешь это? Ты обещаешь? Только скажи, обещаешь ли ты это?

— Да, я обещаю.

— Тогда я первый войду в купальню и искупаюсь в ней. Ступай принимайся за дело. Не медли, не медли, ступай.

Я со своими ребятами сразу же приступил к работе. Развалины купальни и поныне стояли на прежнем месте, ниже монастыря, ни один ее камень не пропал. В течение всех этих лет никто не осмеливался даже приблизиться к ней; ее избегали с набожным страхом, словно над ней тяготело проклятие. За два дня мы все починили и даже воду в нее провели, — получился обширный пруд с чистой, прозрачной водой, в котором можно было плавать. Вода была проточная. Она втекала и вытекала по древним трубам. Старый настоятель сдержал свое слово и первый влез в воду. Он влез в воду черный, дрожащий, и вся его черная братия в тревоге и страхе смотрела на него; а вылез он белый, радостный. Еще одна победа, еще один триумф.

Вся наша работа в Долине Святости прошла успешно, и я был вполне удовлетворен ею. Я уже собирался уезжать, но тут меня постигла неудача: я сильно простудился, и у меня разыгрался застарелый ревматизм. Как всегда бывает, ревматизм нашел во мне самое слабое место и поразил именно его. Это было то место, которое пострадало от объятий настоятеля,

когда он выражал мне свою благодарность.

Я поднялся, наконец, с постели, но от меня осталась одна тень. Однако все были так добры и внимательны ко мне, так старались меня развеселить, что я стал быстро поправляться.

Сэнди очень утомилась, ухаживая за мною, и я решил отправиться в путь один, оставив ее отдыхать в женском монастыре. Мне пришло в голову переодеться свободным поселянином и побродить пешком по стране недельку-другую. Это дало бы мне возможность есть и спать вместе с низшим и беднейшим классом свободного населения страны. У меня не было иного способа познакомиться с его повседневной жизнью и с тем, как влияют на нее законы. Если бы я бродил между простолюдинами в дворянской одежде, они стали бы стесняться, чуждаться меня, скрывать от меня свои подлинные радости и горести, и все наблюдения мои оказались бы внешними и поверхностными.

Однажды утром я, чтобы размять ноги и подготовить себя к предстоящему путешествию, отправился в долгую прогулку, забрался на горный кряж, окаймлявший долину с севера, и подошел к искусственной пещере, которую мне давно показывали снизу; то была пещера одного отшельника, прославившегося суровостью и нечистоплотностью. Я знал, что отшельнику этому недавно предложили видный пост в Сахаре, где благодаря львам и комарам жизнь отшельников особенно трудна и заманчива, и что он уехал в Африку, а потому я решил войти и убедиться лично, действительно ли в этой берлоге так воняет, как мне рассказывали.

Каково же было мое удивление, когда оказалось, что пещера вычищена и подметена. Меня ждал здесь и другой сюрприз: во тьме пещеры зазвенел звонок, и я услышал голос:

— Алло, центральная! Это Камелот? Радуйся! Как не верить в чудеса, как не верить в то, что они окружают нас со всех сторон и проявляют себя там, где мы их не ожидаем, когда вот тут, рядом со мною, стоит во плоти его могущество Хозяин, и ты сейчас собственными ушами услышишь его голос!

Какой решительный переворот! Что за нагромождение чудовищных несообразностей! Что за фантастическое сочетание непримиримых противоречий: в обиталище лжечудотворца поселилось подлинное чудо, берлога средневекового отшельника превратилась в телефонную станцию!

Телефонист вышел на свет, и я узнал в нем одного из своих юных помощников. Я спросил:

— Когда здесь устроили телефонную станцию, Ульфиус?

— Вчера в полночь, благородный сэр Хозяин. Мы заметили в долине множество огней и решили устроить здесь телефонную станцию, ибо столько огней бывает лишь в очень больших городах.

— Вы поступили правильно. Хотя здесь и нет большого города, тем не менее это вполне подходящее место для телефонной станции. Вам известно, где вы находитесь?

— Я еще не успел навести справки, ибо, когда товарищи мои ушли на работу, оставив меня здесь дежурить, я прилег оглохнуть, решив сначала выспаться, а уж потом навести справки и доложить в Камелот название этой местности.

— Знай же, что это Долина Святости.

Не клюнуло! Я думал, он так и подпрыгнет при этом названии, а он и бровью не повел. Только сказал:

— Я так и доложу.

— Позволь, да ведь вся округа гремит славой чудес, сотворенных здесь за последние дни! Неужели ты не слыхал о них?

— Ведь мы передвигаемся по ночам и не вступаем в разговоры с посторонними. Мы знаем только то, что нам сообщают по телефону из Камелота.

— Но ведь в Камелоте все известно. Разве тебе не рассказывали о великом чуде

восстановления святого источника?

— Конечно, рассказывали. Но ведь та долина совсем иначе называется, чем эта. Большое несходство трудно себе даже...

— Как же тебе назвали ту долину?

— Долиной Гадости.

— Теперь все понятно. Да будь он проклят, этот телефон. Он вечно путает похожие по звуку слова, совершенно искажая смысл. Ну, да все равно, теперь тебе известно название долины. Вызови Камелот.

Он вызвал Камелот, и Кларенс подошел к телефону. Как приятно было слышать голос моего мальчика! словно я вернулся домой. Обменявшись с ним ласковыми приветствиями и рассказав ему о своей недавней болезни, я спросил:

— Что нового?

— Король и королева, в сопровождении многих придворных, сейчас отправляются в вашу долину благочестиво поклониться восстановленному вами источнику, очиститься от греха и посмотреть то место, откуда адский дух извергал в облака настоящее адское пламя. Если вы хорошенько вслушаетесь, вы услышите, как я, поддакивая, хихикаю про себя, ибо я сам выбирал это пламя на нашем складе и сам посылал его к вам по вашему приказу.

— Разве король знает дорогу сюда?

— Король? Нет, не знает. И никто не знает. Но наши ребята, помогавшие вам творить чудо, поедут с ними как проводники и будут указывать места привалов и ночлегов.

— Когда же они будут здесь?

— Послезавтра, во время вечерни.

— А еще какие новости?

— Король начал создавать постоянную армию, как вы ему советовали. Один полк уже совсем готов, и все офицеры назначены.

— Какая досада! Я хотел сам назначить офицеров. Во всем королевстве есть только одна группа людей, которые годятся в офицеры для регулярной армии.

— Да. Но должен вас удивить: ни один человек из нашей Военной академии не попал в полк.

— Что ты говоришь? Ты не шутишь?

— Я говорю правду.

— Ты встревожил меня. Кто же назначен? И как выясняли пригодность или непригодность того или иного кандидата? Устроили, вероятно, конкурсный экзамен?

— Об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что все офицеры знатного происхождения и — как это вы называете — бараньи головы.

— Тут что-нибудь не так, Кларенс.

— Успокойтесь: два кандидата в лейтенанты сопровождают короля, оба молодые аристократы, — и если вы дождетесь их, они сами ответят вам на все вопросы.

— Это важная новость. Во всяком случае, хоть одного из своих курсантов я непременно включу в офицерский состав. Пошли тотчас же в академию конного гонца с моим приказом: пусть загонит, если надо, хоть десяток лошадей, он должен быть там сегодня же до заката солнца и...

— В этом нет надобности. Я установил с академией телефонную связь. Позвольте мне соединить вас.

Как приятно было это слышать! В атмосфере телефонов, в атмосфере постоянной связи с отдаленнейшими районами мне дышалось легко и свободно. Только теперь я понял, каким ползучим, унылым, бездушным ужасом была для меня эта страна в течение всех этих лет, как

задышался я в ней, пока мало-помалу не привык к духоте.

Я отдал приказ начальнику академии лично. Я заодно попросил его прислать мне немного бумаги, самопишущее перо и несколько коробков безопасных спичек. Мне надоело обходиться без этих скромных удобств. Теперь мне удастся ими пользоваться, так как я не собираюсь больше надевать лат и у меня снова будут карманы.

Вернувшись в монастырь, я застал там занятное зрелище. Настоятель и монахи, собравшись в большом зале, с ребяческим любопытством и младенческой доверчивостью следили за фокусами нового чародея, только что прибывшего. Одежда на нем была фантастическая, такая же нелепая и пестрая, как одежда индейских знахарей. Он вертелся, бормотал, размахивал руками, чертил таинственные знаки по воздуху и по полу — словом, вел себя, как все фокусники. Он был очень знаменит во всей Азии, — так он сам утверждал, и этого было вполне достаточно. Такие утверждения ценятся на вес золота и повсюду находят сбыт.

Как легко и дешево досталась этому человеку слава великого чародея! Его специальностью было рассказывать, что в данную минуту делает любой обитатель земного шара, а также, что он делал в прошлом и что он станет делать в будущем. Он спросил, не желает ли кто-нибудь узнать, что сейчас делает император Востока? Блеск глаз, восхищенные потирания рук были красноречивее любого ответа. Еще бы! Разумеется, вся эта благочестивая толпа мечтала узнать, что делает этот монарх. Обманщик забормотал и затем торжественно возвестил:

— Высочайший и могущественнейший император Востока сейчас кладет деньги на ладонь святого нищенствующего монаха — одну монету, две, три монеты, и все серебряные.

Толпа восторженно загудела:

— Изумительно! Удивительно! Сколько пришлось учиться, сколько пришлось работать, чтобы приобрести столь необычайную силу.

Не желают ли они узнать, что сейчас делает повелитель Индии? Да, желают. Он сказал им, что делает повелитель Индии. Затем он сообщил им, чем занят султан Египта и что собирается предпринять король Дальних Морей. И так далее, и так далее... И с каждым новым чудом изумление перед точностью его знаний все возрастало. Порой его пытались сбить трудным вопросом, — но нет, сбить его было невозможно, на каждый вопрос он отвечал без колебания и промедления, с полной уверенностью. Я видел, что если так будет продолжаться, я потеряю свое превосходство, — этому детине достанется все, а я останусь за флагом. Я должен сунуть палку ему в колесо, и притом как можно скорее. И я сказал:

— Мне очень хотелось бы узнать, что сейчас делает один человек.

— Спрашивайте, не бойтесь. Я дам вам ответ.

— Это, пожалуй, будет трудно... Быть может, даже невозможно...

— Для моего искусства нет ничего невозможного. Чем труднее вопрос, тем охотнее я на него отвечу.

Как видите, я старался привлечь любопытство. И мне это удалось. Кругом насторожились, вытянули шеи, затаили дыхание. Любопытство привлечено, теперь нужно его разжечь.

— Если вы не ошибетесь, если вы ответите правильно, я дам вам двести серебряных пенни.

— Эти деньги уже все равно что мои... Я скажу вам все, что вы желаете узнать.

— В таком случае ответьте мне, что я сейчас делаю правой рукой?

— Ах!

Все были изумлены необычайно. Во всей этой толпе никому не пришел бы в голову простейший трюк — спросить о человеке, который находится не за десять тысяч миль отсюда. Чародей смутился. Очевидно, такого вопроса ему никогда еще никто не задавал. Он не знал, как ему вывернуться. Он был сбит с толку. Он не мог выговорить ни слова.

— Чего ж вы ждете? — сказал я. — Если вы в состоянии сразу, без всякой подготовки,

определить, что делает человек на другом конце света, неужели вы не можете ответить, что делает человек, находящийся в трех ярдах от вас? Люди, стоящие позади меня, видят, что я делаю своей правой рукой, и подтвердят, если вы ответите правильно.

Он продолжал молчать.

— Хорошо, я объясню вам, почему вы молчите: потому что вы не знаете. Это вы-то чародей! Друзья, этот бродяга — просто обманщик и лгун.

Монахи огорчились и перепугались. Они никогда не видели людей, осмеливающихся бранить чародеев, и опасались за последствия. Наступила мертвая тишина; тяжелые предчувствия зародились в суеверных умах. Чародей тем временем успел овладеть собой и улыбнулся спокойно и небрежно. И все сразу почувствовали облегчение, ибо раз он улыбается, значит гибель им не угрожает. Он сказал:

— Речь этого человека так дерзка, что у меня отнялся язык от негодования. Да будет ведомо всем, кому это еще не ведомо, что волшебники моего ранга могут иметь дело только с королями, принцами, императорами, только с людьми, родившимися в золоте и пурпуре. Если бы вы меня спросили, что делает великий король Артур, я бы вам ответил, а деяния его подданных для меня безразличны.

— О, значит я неправильно вас понял. Мне послышалось, будто вы сказали: спрашивайте про любого человека; и я думал, что любой человек и есть любой человек, каждый человек.

— Ну, да... любой человек благородного происхождения, а самое лучшее — королевского происхождения.

— Мне кажется, так оно и есть, — вмешался настоятель, очевидно полагая, что теперь как раз удобно уладить спор и предупредить беду. — Вряд ли такой удивительный дар мог быть создан для того, чтобы наблюдать за деяниями людей, не родившихся на вершинах величия. Наш король Артур...

— Хотите знать, что он делает? — перебил его чародей.

— О, конечно, пожалуйста, будем очень вам благодарны.

Все опять были полны внимания и любопытства — неисправимые идиоты! Они с глубоким волнением следили за движениями чародея и взглянули на меня с таким видом, словно говорили: «Ну, что ты теперь скажешь?», когда он произнес:

— Король утомился на охоте и вот уже два часа лежит у себя во дворце, погруженный в сон без сновидений.

— Да благословит его господь, — сказал настоятель и перекрестился. — Пусть этот сон укрепит его тело и душу.

— Так бы оно и было, если бы король спал, — сказал я. — Но король не спит, король скачет верхом.

Снова все взволновались: столкнулись два авторитета. Никто не знал, кому из нас верить, ведь я еще не вполне потерял свою славу. Чародей посмотрел на меня с презрением и сказал:

— Я на своем веку видал немало удивительных ясновидцев, и пророков, и чародеев, но ни один из них не умел проникать в сущность вещей без заклинаний.

— Вы всю жизнь прожили в лесном захолустье и многое прозевали. Вся здешняя добрейшая братия знает, что я и сам иногда прибегаю к заклинаниям, но не ради таких пустяков.

Когда дело доходит до насмешек, со мной справиться нелегко. Чародею пришлось попотеть. Настоятель спросил его, что делают королева и придворные, и получил ответ:

— Все они спят, так как утомились не меньше короля.

— Еще одна ложь! — сказал я. — Одни придворные веселятся, а другие вместе с королевой скачут верхом. А теперь понатужьтесь и ответьте нам, куда направляются король и королева?

— Как я уже сказал, сейчас они спят; но завтра они и вправду будут скакать, ибо собираются съездить на берег моря.

— А где они будут послезавтра во время вечерни?

— Далеко к северу от Камелота, на полпути к морю.

— Еще одна ложь, и огромная — в полтораста миль. Их путешествие придет к концу, и они будут здесь, в этой долине.

Вот это получилось здорово! Настоятель и монахи пришли в восторг, а чародей рухнул. Я добил его, сказав:

— Если король не приедет, я готов прокатиться верхом на бревне; но если он приедет, я прокачу вас.

На другой день я побывал на телефонной станции и установил, что король проехал уже через два города, лежавшие у него на пути. На следующий день я опять разговаривал по телефону и, таким образом, все время был в курсе дела. Но, разумеется, никому об этом не говорил. На третий день из донесений выяснилось, что, если короля никто не задержит, он прибудет к четырем часам пополудни. Однако в монастыре, видимо, вовсе не готовились к встрече; сказать по правде, я удивился. Этому могло быть только одно объяснение: чародей подкапывается под меня. Так оно и оказалось. Я расспросил одного своего приятеля-монаха, и тот сказал мне, что действительно чародей опять чего-то наколдовал и установил, что при дворе решено не предпринимать никакой поездки и остаться дома. Посудите сами, многого ли стоит слава в этой стране! На глазах у этих людей я сотворил чудо, превосходящее великолепием все чудеса, известные в истории, и притом единственное чудо, имеющее хоть некоторую подлинную ценность, — а они тем не менее готовы были в любую минуту изменить мне ради проходимца, который не мог предъявить ни одного доказательства своего могущества, кроме собственного непроверенного утверждения.

Как бы то ни было, дурная политика — позволить королю прибыть в монастырь неожиданно, без всякой торжественности и пышности; поэтому я устроил процессию из паломников и в два часа дня отправил ее навстречу королю, включив в нее нескольких отшельников, которых выкурил предварительно из нор. Больше никто короля не встречал. Настоятель онемел от ярости и унижения, когда я вывел его на балкон и показал ему, как глава государства въезжает в монастырь, как его не встречает ни один монах, даже самый захудалый, как пустынные и мертвые монастырские дворы, как безмолвствуют даже колокола, не веселя монарха своим звоном. Он только взглянул и помчался со всех ног. Через минуту колокола неистово гремели, а из монастырских зданий выбегали монахи и монахини, строясь в крестный ход. Вместе с этим крестным ходом из монастыря выехал и тот чародей; по распоряжению настоятеля он ехал верхом на бревне; его слава рухнула в грязь, а моя снова взлетела к небесам. Да, даже и в такой стране можно поддерживать честь своей торговой марки, но для этого надо все время трудиться, все время быть настороже и не сидеть сложа руки.

25. Конкурсный экзамен

Когда король, развлекаясь, разъезжал по стране или отправлялся в гости к какому-нибудь далеко живущему вельможе, которого собирался разорить своим посещением, его сопровождала целая орда крупных чиновников. Таков был обычай того времени. И на этот раз вместе с королем в долину прибыла комиссия, которой поручена была проверка знаний кандидатов на офицерские должности в армии, ибо работать здесь она могла с таким же успехом, как и дома. И хотя поездка эта была предпринята королем ради увеселений, он и сам продолжал заниматься делами. Каждое утро на рассвете он садился в воротах и творил суд, ибо он был верховным судьей в своем королевстве.

Со своими судейскими обязанностями он справлялся блестяще. Он был мудрый и человеколюбивый судья и, видимо, изо всех сил старался решать дела справедливо — в меру своего разумения. А эта оговорка много значит. Его решения нередко носили на себе печать предрассудков, привитых ему воспитанием. Если спор шел между дворянином и человеком простого звания, он невольно, сам того не подозревая, сочувствовал дворянину. Да иначе и быть не могло. Всеми миру известно, что рабство притупляет нравственное чувство рабовладельцев, а ведь аристократия — не что иное, как союз рабовладельцев, только под другим названием. Это звучит неприятно, но тем не менее не должно никого оскорблять, даже и самого аристократа, — если только факт сам по себе не кажется ему оскорбительным, ибо я всего лишь констатирую факт. Ведь в рабстве нас отталкивает его сущность, а не его название. Достаточно послушать, как говорит аристократ о низших классах, чтобы почувствовать в его речах тон настоящего рабовладельца, лишь незначительно смягченный; а за рабовладельческим тоном скрывается рабовладельческий дух и притупленные рабовладельчеством чувства. В обоих случаях причина одна и та же: старая укрепившаяся привычка угнетателя считать себя существом высшей породы. Приговоры короля были часто несправедливы, но виной этому было лишь его воспитание, его естественные и неизменные симпатии. Он не годился в судьи, как в голодные годы мать не годится на то, чтобы раздавать молоко голодающим детям: ее собственные дети получали бы больше, чем чужие.

Однажды королю пришлось разбирать весьма любопытное дело. Молоденькая девушка, сирота, имевшая большое поместье, вышла замуж за молодого человека, не имевшего ничего. Поместье девушки находилось в феодальной зависимости от церкви. Епископ местной епархии, высокомерный отпрыск знатного рода, потребовал конфискации принадлежащего девушке поместья на том основании, что она обвенчалась тайно и тем самым лишила церковь одного из присвоенных ей, как сеньору, прав — так называемого «права сеньора». За отказ или уклонение от подчинения этому праву закон карал конфискацией имущества. Девушка строила свою защиту на том, что представителем власти сеньора в данном случае был епископ, что указанное право не может быть передано другому лицу, но должно быть осуществлено либо самим сеньором, либо никем, а между тем другой закон, еще более древнего происхождения и установленный самой церковью, строжайше воспрещал епископу пользоваться таким правом. Да, дело было запутанное.

Оно напомнило мне прочитанный в юности рассказ о хитроумной выдумке, с помощью которой лондонские олдермены собирали деньги на постройку Мэншен-Хауза. Всякое лицо, не причащавшееся по англиканскому обряду, не имело права выставлять свою кандидатуру на должность лондонского шерифа. Следовательно, иноверцы, даже будучи избранными, принуждены были отказаться от исполнения обязанностей шерифа. Олдермены — несомненно, переодетые янки — изобрели такую хитрую уловку: провели закон, налагающий штраф в

четыреста фунтов на всякого, кто отказывался выставить свою кандидатуру в шерифы, и в шестьсот фунтов — на всякого, кто, будучи избран шерифом, отказывается исполнять его обязанности. Потом они принялись за работу и избрали в шерифы одного за другим множество иноверцев, взимая с каждого положенный штраф, — до тех пор, пока общая сумма штрафов не достигла пятнадцати тысяч фунтов; и вот поныне висится величественный Мэншен-Хауз, чтобы напоминать краснеющим гражданам о давнопрошедшем и прискорбном дне, когда банда янки проникла в Лондон и принялась разыгрывать те штуки, благодаря которым их нация пользуется теперь среди всех честных людей мира такой исключительно скверной славой.

Мне казалось, что права девушка; но епископ по-своему был тоже прав. Я не мог сообразить, как выберется король из этого тупика. Но он выбрался. Вот как он рассудил:

— Ничего трудного здесь нет, в этом деле мог бы разобраться и ребенок. Если бы невеста, как повелевал ей долг, своевременно заявила епископу, своему феодальному господину, повелителю и защитнику, о своем предстоящем замужестве, она не потерпела бы никакого ущерба, ибо названный епископ мог бы получить разрешение от аббата, делающее его временно способным осуществить названное свое право, и все ей принадлежащее осталось бы при ней. Виновная в невыполнении своего первого долга, она тем самым виновна во всем; ибо тот, кто, цепляясь за веревку, перерезает ее выше того места, за которое держится, непременно упадет; и как бы он ни уверял, что остальная часть веревки крепка, это не спасет его от гибели. Дело этой женщины в корне несправедливо. Суд присуждает передать все ее имущество до последнего фартинга вышеупомянутому лорду-епископу и возложить на нее судебные издержки. Следующий!

Так трагически кончился прекрасный медовый месяц. Бедные молодожены! Недолго они блаженствовали, наслаждаясь богатством. Они были хорошо одеты, они были украшены всеми драгоценностями, дозволенными законами о роскоши, установленными для людей их звания; и она, в своих пышных одеждах, плакавшая у него на плече, и он, пытавшийся ее утешить словами надежды, положенными на музыку отчаянья, — оба они ушли из суда в широкий мир, бездомные, бесприютные, голодные; последний нищий, сидевший у дороги, не был так нищ, как они.

Что ж, король распутал это трудное дело, разумеется, к полному удовлетворению церкви и аристократии. Можно приводить сколько угодно изящных и правдоподобных доводов в защиту монархии, но факт остается фактом, что там, где каждый житель государства имеет право голоса, нет зверских законов. Народ короля Артура был, разумеется, мало пригоден для создания республики — слишком долго он жил под унижающим игом монархии, но даже у этого народа хватило бы ума отменить закон, только что примененный королем, если бы это зависело от свободного и всеобщего голосования. Существует одно такое сочетание слов, совершенно бессмысленное, которое от частого употребления как будто получило значение и смысл: я имею в виду слова «способный к самоуправлению», применяемые то к одному, то к другому народу; при этом подразумевается, что где-то есть, или был, или может быть народ, не способный к самоуправлению, — народ, который не способен управлять собою так, как им управляют или могли бы управлять специалисты, сами себя признавшие достойными власти. Лучшие умы всех народов во все века выходили из народа, из народной толпы, а вовсе не из привилегированных классов; следовательно, независимо от того, высок ли, или низок общий уровень данного народа, дарования его таятся среди безвестных бедняков, — а их так много, что не будет такого дня, когда в недрах народных не найдется людей, способных помочь ему руководить собою. А из этого следует, что даже самая лучшая, самая свободная и просвещенная монархия не может дать народу того, чего он достиг бы, если бы сам управлял собою; и тем более это относится к монархиям не свободным и не просвещенным.

Я совсем не ожидал, что король Артур так поспешит с устройством армии. Я не мог

предположить, что он займется этим делом в мое отсутствие, и потому не подготовил требований, которые нужно предъявлять каждому желающему занять офицерскую должность; я только сказал мимоходом, что кандидатов нужно подвергнуть суровому и строгому экзамену; а про себя решил потребовать от них таких военных знаний, какими могут обладать только слушатели моей Военной академии. Напрасно не выработал я программу испытаний до своего отъезда: мысль о создании постоянной армии так захватила короля, что он не в силах был ждать и, не откладывая, сам принялся за дело и составил такую программу испытаний, какую способен был составить.

Мне не терпелось познакомиться с ней и доказать, насколько она хуже той, которую я сам собирался предъявить экзаменационной комиссии. Я осторожно намекнул об этом королю и сразу разжег его любопытство. Едва комиссия собралась, явился и я вслед за королем, а вслед за нами явились кандидаты. Один из этих кандидатов был молодой блестящий слушатель моей Военной академии, прибывший в сопровождении двух профессоров.

Увидев комиссию, я не знал, плакать ли мне, или смеяться. В ней председательствовал главный герольдмейстер! Двое членов были начальниками отделений в его департаменте; и все трое, разумеется, были попами, — все чиновники, умевшие читать и писать, были попами.

Из учтивости ко мне моего кандидата вызвали первым, и глава комиссии с официальной торжественностью стал задавать ему вопросы:

— Имя?

— Мализ.

— Чей сын?

— Уэбстера.

— Уэбстер... Уэбстер... Гм... Что-то не припомню такой фамилии. Звание?

— Ткач.

— Ткач! Господи, спаси нас!

Король был потрясен до глубины души, один член комиссии упал в обморок, другой, казалось, вот-вот упадет.

Председатель опомнился и, негодуя, сказал:

— Довольно. Вон отсюда!

Но я воззвал к королю. Я умолял его допустить моего кандидата к экзаменам. Король соглашался, но комиссия, состоявшая из столь знатных особ, просила короля избавить ее от унижения экзаменовать сына ткача. Я знал, что экзаменовать его они все равно не могут, так как сами ничего не знают, а потому присоединился к их просьбам, и король возложил эту обязанность на моих профессоров. У меня заранее была приготовлена классная доска, я велел ее внести, и представление началось. Приятно было слушать, как бойко мой юноша излагал военную науку, как подробно рассказывал он о битвах и осадах, о снабжении и переброске войск, о минах и контрминах, о тактике и стратегии отдельных частей и крупных соединений, о сигнальной службе, о пехоте, кавалерии, артиллерии, об осадных орудиях, полевых орудиях, о винтовках, о ружьях крупного и мелкого калибра, о револьверах, — а эти болваны слушали и не понимали ни одного слова; приятно было смотреть, как он вычерчивает мелом на доске математические головоломки, которые поставили бы в тупик и ангелов, как легко и просто рассказывает он о затмениях, о кометах, о солнцестояниях, о созвездиях, о полуденном времени, о полночном времени, об обеденном времени, обо всем, что только есть над облаками и под облаками годного для того, чтобы извести и замучить врага и заставить его пожалеть, что ему вздумалось напасть на вас; и когда он, наконец, кончил и, отдав честь по-военному, отошел в сторону, я с гордостью обнял его, а остальные были потрясены, уничтожены и смотрели на него, как пьяные. Я решил, что дело в шляпе и большинством голосов пройдем мы.

Образование — великая вещь! Когда этот самый юноша явился в мою Военную академию, он был так невежествен, что на мой вопрос: «Как должен поступить старший офицер, если во время боя под ним убьют лошадь?» — наивно ответил:

— Встать и почиститься.

Следующим вызвали одного из молодых дворян. Я решил сам задавать ему вопросы. Я спросил:

— Умеете ли вы, ваше сиятельство, читать?

Он весь вспыхнул от негодования и гневно выпалил:

— Вы принимаете меня за псаломщика? Кровь, текущая в моих жилах, не потерпит...

— Отвечайте на вопрос!

Он подавил свой гнев и ответил:

— Нет.

— А писать вы умеете?

Он опять собирался обидеться, но я сказал:

— Прошу отвечать только на вопросы и не говорить ничего лишнего. Вы здесь не для того, чтобы хвастать своею кровью и своим происхождением, этого вам здесь не позволят. Умеете вы писать?

— Нет.

— А таблицу умножения знаете?

— Не понимаю, о чем вы спрашиваете.

— Сколько будет девятью шесть?

— Это тайна, которая сокрыта от меня, ибо еще ни разу в моей жизни не было у меня нужды познать ее, и, не имея надобности познать ее, я ее не познал!

— Если А уступил В бочонок луку ценою по два пенса за бушель в обмен на овцу ценою в четыре пенса и собаку ценою в один пенни, а С убил собаку, прежде чем она была доставлена покупателю, ибо она укусила его, приняв за D, какую сумму В должен А? и кто обязан оплатить стоимость собаки — С или D? и кому должны достаться эти деньги? и если деньги эти должны достаться А, то должен ли он удовольствоваться одним пенни, составляющим стоимость собаки, или имеет право потребовать дополнительного возмещения за тот доход, который могла бы принести ему собака, став его собственностью?

— Поистине, премудрое и неисповедимое божественное провидение, таинственно управляющее миром, никогда не стало бы предлагать человеку подобных вопросов, единственная цель которых — сбить с толку и помутить сознание. А потому я прошу вас предоставить собаке, луку и этим людям со странными языческими именами выпутываться из своих удивительных и жалости достойных затруднений самим, без моей помощи, ибо, если бы я попытался им помочь, я только еще больше запутал бы все дело и, возможно, не пережил бы и сам того отчаянья, в которое они были бы повергнуты.

— Что вам известно о законах притяжения и тяготения?

— Если такие законы существуют, значит его величество король издал их, когда я в начале года лежал больной и ничего не мог о них услышать.

— Что вы знаете о науке оптике?

— Я знаю о губернаторах провинций, о сенешалях замков, о шерифах графств, знаю о многих других должностях и почетных званиях помельче, но о том, кого вы величаете Оптикой, я никогда прежде не слышал; вероятно, эта должность новая.

— Да, в этой стране.

Подумайте только — такой моллюск с полной самонадеянностью предъявляет права на получение офицерского чина! Его способностей хватило бы разве только на то, чтобы

выучиться стучать на пишущей машинке, да и тут ему будет мешать склонность к нововведениям в области грамматики и пунктуации. И все-таки странно, почему при такой неспособности к любому сколько-нибудь сложному делу он действительно не взялся за переписку на машинке. Впрочем, если он пока еще не стал переписчиком, это не значит, что он не станет им в будущем. Помучив его еще немного, я сдал его на руки профессорам, которые вывернули его наизнанку, стараясь выяснить, осведомлен ли он в военных науках, и, разумеется, обнаружили полнейшую пустоту. Он знал кое-что о военном ремесле своей эпохи — о рысканье по зарослям в поисках людоедов, о побоищах на турнирах и тому подобной ерунде, — но во всем остальном он был невежествен и бесполезен. Затем мы вызвали другого знатного юношу, и оказалось, что он не уступает первому ни в невежестве, ни в бездарности. Я передал обоим председателю комиссии, в полной уверенности, что песенка их спета. И комиссия проэкзаменовала их заново.

— Имя, будьте любезны.

— Пертиполь, сын сэра Пертиполя, барона Солод.

— Дед?

— Так же сэр Пертиполь, барон Солод.

— Прадед?

— То же имя и тот же титул.

— Прапрадед?

— Его у нас не было, почтенный сэр, наш род не столь древен.

— Это не важно. Все-таки целых четыре поколения; основное условие выполнено.

— А что это за условие? — спросил я.

— Условие, согласно которому каждый кандидат должен доказать наличие четырех поколений знатных предков.

— Значит, тот, за спиной которого не стоят четыре поколения знатных предков, не может стать армейским лейтенантом?

— Никоим образом, ни лейтенантом, ни любым другим офицером.

— О, что вы! Это изумительно. Да какой же толк в подобном требовании?

— Какой толк? Смелый вопрос, благородный сэр и Хозяин: предлагать такие вопросы, значит оспаривать премудрость нашей святой матери-церкви.

— Это почему?

— Потому что подобным же правилом церковь руководствуется при провозглашении святых. По церковному закону, к лику святых может быть причислен лишь тот, кто умер столь давно, что после его смерти сменились четыре поколения.

— Понимаю, понимаю... да, да, и здесь то же самое. Удивительно! В одном случае четыре поколения предков человека прожили как мертвые, — превращенные в мумии невежеством и ленью, — и это дает ему право командовать живыми людьми, беря в свои бессильные руки управление их счастьем и горем; а в другом случае человек лежит мертвый под землей, черви едят его в течение смены четырех поколений, — и это дает ему право командовать небесным воинством. И его величество король одобряет этот странный закон?

Король сказал:

— По правде говоря, я не вижу в нем ничего странного. Все почетные и доходные должности принадлежат, в силу естественного права, лицам благородной крови; офицерские должности в армии точно так же являются их собственностью и достались бы им по праву и без этого закона. Закон только ставит преграду. Он отстраняет тех, чья знатность недавнего происхождения, ибо если офицерские должности займут люди безродные, никто не станет к этим должностям относиться с уважением, а люди знатные отвернутся от них и брезгливо

откажутся их занимать. Я был бы достоин осуждения, если бы допустил такое несчастье. *Вы* — дело другое, ваша власть заемная, не прирожденная, но если бы это сделал король, он был бы не понят, признан безумным и всеми осужден.

— Я сдаюсь! Продолжайте, сэр председатель коллегии герольдии.

Председатель продолжал:

— Каким славным подвигом в честь трона и государя основатель вашего великого рода возвысился до священного звания британского дворянина?

— Он построил пивоварню.

— Государь, комиссия находит, что кандидат этот удовлетворяет всем требованиям и вполне достоин стать офицером, но окончательное решение откладывает до опроса его соперника.

Соперник вышел вперед и сразу доказал, что у него тоже четыре поколения знатных предков. Так чья же военная квалификация выше? Да, не легко было развязать этот узел.

Он отошел в сторону, и председатель обратился к сэру Пертиполю:

— К какому сословию принадлежала супруга основателя вашего рода?

— Она была из семьи очень зажиточных землевладельцев, но не дворян, она была очаровательна, чиста, милосердна и жизнь свою прожила так безупречно, что ее по праву можно поставить рядом с самыми знатными дамами в стране.

— Довольно, отойдите.

Председатель снова вызвал второго дворянина и спросил:

— К какому сословию или званию принадлежала ваша прабабушка, супруга человека, возведенного в дворянское достоинство и основавшего ваш великий род?

— Она была королевской любовницей и достигла этого блистательного положения без всякой посторонней помощи, исключительно благодаря своим личным качествам, поднявшись из сточной канавы, где была рождена.

— Ах, вот это истинное дворянство; кровь королей течет в ваших жилах. Чин лейтенанта за вами, благородный лорд. Не презирайте его; это первый скромный шаг, который приведет вас к почестям, более достойным вашего высокого происхождения.

Я был низвергнут в бездонную пропасть унижения. Я рассчитывал на легкий ослепительный триумф — и вот чем все кончилось!

Мне было стыдно смотреть в глаза моему несчастному, посрамленному ученику. Я сказал ему, чтобы он ехал домой и терпеливо ждал, ибо это еще не конец.

Я получил у короля частную аудиенцию и сделал ему новое предложение. Я признал, что он был совершенно прав, назначая в этот полк только дворян, что мудрее поступить невозможно. Недурно было бы назначить туда офицерами еще человек пятьсот дворян или даже произвести в офицеры этого полка всех знатных людей королевства и всех их родственников; не беда, если в полку окажется в пять раз больше офицеров, чем солдат; пусть это будет блестящий полк, полк, возбуждающий всеобщую зависть, собственный полк его величества, пусть он сражается, как ему хочется и где ему угодно, пусть во время войны он приходит или уходит по своей собственной воле, никому не подчиняясь, совершенно независимый. Все дворяне будут с величайшей охотой служить в этом полку, и все они будут довольны и счастливы. А остальные части нашей постоянной армии мы можем создать из более заурядных материалов и офицерами назначим туда людей безродных, не считаясь ни с чем, кроме настоящего знания военного дела; этот полк соблюдал бы строжайшую дисциплину, не пользовался бы никакими аристократическими вольностями и постоянно был бы занят учениями и упражнениями; и собственный полк его величества, утомясь или попросту пожелав для перемены поохотиться на каких-нибудь великанов, мог бы заняться этим без всякого опасения, зная, что дело остается в

надежных руках и будет идти, как всегда. Король был очарован моей выдумкой.

При виде его восторга у меня явилась еще одна ценная мысль. Мне показалось, что на этот раз удастся разрешить одну старую и очень трудную задачу. Видите ли, дело в том, что все члены королевского дома Пендрагонов отличались долговечностью и плодовитостью. Когда у кого-нибудь из них рождался ребенок, — а случалось это очень часто, — вся нация безумно радовалась на словах и глубоко горевала в душе. Радость была сомнительная, но горе совершенно искреннее, — ибо рождение нового члена королевского дома влекло новый сбор в королевский фонд. Список членов королевского дома был очень длинен; постоянно возрастая, он ложился тяжким бременем на государственное казначейство и создавал угрозу самому существованию королевской власти. Однако Артур никак не мог этому поверить и не хотел даже слушать, когда я предлагал разные проекты замены королевских фондов. Если бы мне удалось убедить его хоть изредка помогать своим дальним родственникам из собственного кармана, это произвело бы отличное впечатление на народ; но нет, он об этом и слышать не хотел. В уважении, которое питал он к королевскому фонду, было что-то почти религиозное; он смотрел на него, как на свою священную добычу, и неизменно сразу приходил в ярость, когда кто-нибудь нападал на это почтенное учреждение. Когда я осторожно намекал ему, что в Англии нет ни одной другой уважаемой семьи, которая согласилась бы унижить себя, протягивая шляпу за подающим, — вот до чего я договаривался, — он всегда обрывал меня с первых же слов и довольно резко.

Но тут мне показалось, что, наконец-то, я добьюсь своего. Этот блестящий полк я решил составить из одних офицеров — ни одного простого солдата. Половина полка будет состоять из дворян, которые получают все чины вплоть до генерал-майора включительно; служить они будут даром и сами оплачивать все расходы; и, конечно, они будут осчастливлены этим, узнав, что вторая половина полка состоит только из принцев крови. Эти принцы крови получают все чины от генерал-лейтенанта до фельдмаршала включительно, будут получать большое жалованье, будут одеваться и кормиться на казенный счет. Кроме того — в этом и заключалось самое главное, — будет постановлено, что те из принцев, которые согласятся служить в этом полку, получают оглушительно пышный, страх нагоняющий титул (я сам собирался его придумать), и этим титулом будут иметь право именоваться только они одни. Перед всеми принцами крови встанет выбор: либо вступить в полк, получить пышнейший титул и отказаться от королевского фонда, либо сохранить за собой фонд, но зато не вступать в полк и остаться без титула. Но вот что было лучше всего: в полк можно было записывать, по заявлению родителей, даже еще не родившихся, но готовых к рождению принцев крови, и они, едва появившись на свет, получали хорошее жалованье и высокое звание.

Я не сомневался, что все принцы вступят в полк; следовательно, все уже существующие фонды будут отменены; а всех новорожденных запишут в полк заранее, в этом я тоже не сомневался. Еще два месяца, и смешная нелепость — королевский фонд, — перестав существовать, займет место среди курьезов прошлого.

26. Первая газета

Когда я сказал королю, что намерен отправиться странствовать, переодевшись свободным простолудином, чтобы поближе познакомиться с жизнью простого народа, он мгновенно загорелся новизной этого плана и объявил, что отправится странствовать вместе со мной, что ничто на свете его не удержит. Он сейчас все бросит и пойдет, — так ему нравится этот план. Он хотел отправиться немедленно, но я убедил его, что так нельзя. Он уже назначил время, когда будет исцелять от золотухи, а в таких вещах обманывать нехорошо, тем более что речь шла о задержке всего на одну ночь. Кроме того, я полагал, что он должен предупредить королеву о своем предстоящем отъезде. Когда я сказал это, он стал мрачен и печален. Я пожалел, что заговорил о королеве, особенно после того, как он грустно ответил:

— Ты забываешь, что Ланселот остается здесь. А когда Ланселот здесь, она не замечает ни приездов короля, ни отъездов.

Разумеется, я сразу же заговорил о другом. Спору нет, Гиневра красавица, но особа довольно легкомысленная. Я никогда не вмешиваюсь в то, что меня не касается, но мне не нравилось ее поведение, и я не стесняюсь об этом заявить. Сколько раз она меня спрашивала: «Сэр Хозяин, не видали ли вы сэра Ланселота?» А если ей и случалось когда-нибудь спрашивать о короле, меня, должно быть, не было поблизости.

Обстановку для исцеления от золотухи создали вполне подходящую — все было аккуратно и внушительно. Король сидел на троне под балдахинном; вокруг него построилось духовенство в полном облачении. На виду у всех важно стоял Маринэл, отшельник из породы лекарей-шарлатанов, и представлял королю больных. На полу, вплоть до самых дверей, сидели и лежали больные, озаренные ярким светом. Все это было как на сцене и казалось нарочно подстроенным, хотя в действительности никто ничего не подстраивал. Присутствовало восемь сотен больных. Работа шла медленно; она не представляла для меня большого интереса, потому что я и прежде видел уже подобные церемонии. Мне все это скоро надоело, но приличие заставляло меня терпеть до конца. Излечение основывалось на том, что в подобных толпах всегда много таких людей, которые только воображают, что они больны, и таких, которые притворяются больными, чтобы сподобиться бессмертной чести королевского прикосновения или чтобы получить монету, вручаемую королем при этом прикосновении. Монета была золотая и стоила примерно треть доллара. Если вы примете в расчет, как много можно было купить на эти деньги в те времена и в той стране и какая обычная болезнь золотуха для всех, кто еще не лежит в могиле, вы поймете, как дорого обходились казне эти ежегодные исцеления и как казна обирала налогоплательщиков, чтобы покрыть этот расход. И потому я про себя решил исцелить казну от золотухи. За неделю до отъезда из Камелота на поиски приключений я удержал в казначействе шесть седьмых из ассигнований на исцеление, а оставшуюся седьмую часть велел потратить на чеканку пятицентовых никелевых монет, которые передал в руки старшего клерка Золотушного департамента, чтобы вместо каждой золотой монеты он выдавал никелевую. Никеля у нас было не так много, но я надеялся, что его хватит. Как правило, я не одобряю подделки монет. Но в данном случае, по-моему, стесняться было нечего, потому что речь шла как-никак о подарке. Когда даришь вино, можешь его немного разбавить; я всегда так и поступаю. Старинные золотые и серебряные монеты, обращавшиеся в стране, были в большинстве неизвестного происхождения; попадались между ними и римские; все они были неправильной формы и не круглее, чем луна неделю спустя после полнолуния; они были выбиты, а не отлиты, и так стерлись от употребления, что надписи на них, похожие на простые царапины, стали неудобочитаемы. Я и подумал: четкие, яркие, новенькие никелевые монетки с очень схожим

изображением короля на одной стороне и таким же изображением Гиневры на другой да еще с какой-нибудь благочестивой надписью способны исцелять от золотухи не хуже полновесных червонцев и даже больше понравятся золотушным; и я оказался прав. На этой партии больных мы впервые поставили наш опыт, и он удался на славу. Экономия получилась значительная. Вот вам цифры. Из 800 пациентов король удостоился прикосновением более 700; по прежней расценке это обошлось бы государству в 240 долларов; по новой расценке мы выплатили около 35, сэкономив на одной операции более 200 долларов. Чтобы понять все значение этого переворота, примите во внимание другие цифры. Годовой расход национального правительства равен среднему трехдневному заработку всего населения страны, считая каждого жителя за взрослого мужчину, Возьмем нацию численностью в 60.000.000 с ежедневным средним заработком одного жителя в 2 доллара; трехдневный общий заработок будет равен 360.000.000, — и это та сумма, которой можно оплатить расходы правительства за год. В мое время у меня на родине деньги эти государство собирало с помощью пошлин, а граждане воображали, что платят их иностранцы, ввозящие товары, и мысль эта была для них утешительна; на самом же деле их платил сам американский народ, и сумма эта была с такой точностью разделена между американцами поровну, что и владелец ста миллионов и грудной ребенок чернорабочего платили в год одно и то же — 6 долларов. Большого равенства, я полагаю, и быть не может. Ну, а здесь Ирландия и Шотландия были данниками Артура, и общее население Британских островов приближалось к 1.000.000. Ремесленник зарабатывал 3 цента в день на своих харчах. Следовательно, расходы национального правительства равнялись 90.000 долларов в год, или 250 долларов в день. Итак, заменив никелем золото в день исцеления от золотухи, я не только никого не обидел, не только никого не разочаровал, но, наоборот, доставил удовольствие всем заинтересованным лицам и сохранил в казне четыре пятых всех государственных расходов на этот день, что в Америке в мое время составило бы 800.000 долларов. Совершая эту подмену, я руководствовался мудростью, почерпнутою из очень отдаленного источника: мудростью моего детства, — ибо подлинный государственный деятель не должен пренебрегать мудростью, как бы низменно ни было ее происхождение; в детстве я всегда сберегал монетки, которые мне велели бросать для дикарей в кружки миссионеров, и бросал вместо них пуговицы. Для невежественного дикаря все равно что монеты, что пуговицы, а для меня монеты были лучше пуговиц; таким образом все оставались довольны и никто не испытывал ущерба.

Маринэл первый принимал пациентов. Он проверял каждого кандидата; если кандидат не выдерживал проверки, его прогоняли; если же выдерживал, его подводили к королю. Священник произносил слова: «Да возложит он руки на страждущего и да исцелит его». Тем временем король под чтение молитвы касался язв; этим и ограничивался курс лечения; король надевал пациенту никелевую монету на шею и отпускал его. Как, по-вашему, исцеляло это или нет? Безусловно исцеляло. Любой обман может исцелить, если пациент твердо верит в него. Возле Астолата была часовня, выстроенная на том месте, где однажды святая дева явилась девочке, которая пасла гусей; девочка сама об этом рассказала; в часовне повесили картину, изображавшую это событие, — такую картину, что больному человеку, казалось бы, опасно к ней приблизиться; однако, напротив, тысячи увечных и больных приходили ежегодно молиться перед этой картиной и уходили исцеленными; и даже здоровые смотрели на нее и не умирали. Конечно, когда мне рассказали об этом, я не поверил, но, увидев все собственными глазами, я сдался. Я сам видел исцеления; и то были настоящие исцеления, а не сомнительные. Я видел, как калеки, которых я в течение многих лет встречал возле Камелота на костылях, приходили, молились перед картиной, потом бросали свои костыли и уходили не хромя. Лучшее доказательство — груды костылей, которые валяются возле этой часовни.

В одних местах целители воздействовали непосредственно на воображение больного,

исцеляли его, не произнося ни слова. В других специалисты собирали пациентов в комнату, и молились за них, и зывали к их вере, и исцеляли. Если вам попадетсЯ король, который не может излечить золотуху, будьте уверены, что самое ценное суеверие, поддерживающее его трон, — вера в божественное происхождение его власти, — утрачено. В годы моей юности монархи Англии перестали лечить золотуху своим прикосновением — и напрасно: они добились бы излечения в сорока пяти случаях из пятидесяти.

Уже три часа подряд гнусавил священник и добрый король возлагал свои персты на язвы, а толпа больных не уменьшалась, и мне все это нестерпимо надоело. Я сидел у раскрытого окошка, неподалеку от королевского балдахина. Уже пятисотый больной подходил к королю, выставляя свои отвратительные язвы, и в пятисотый раз звучали слова: «Да возложит он руки на страждущего», как вдруг за окном прозвенел звонкий, словно дудочка, детский голос, восхитивший мою душу и сразу перенесший меня на тринадцать веков вперед:

— Камелотская «Еженедельная Осанна» и «Литературный Вулкан»! Последний выпуск! Только два цента! Полный отчет о великом чуде в Долине Святости!

Это был величайший из королей — мальчишка-газетчик. Но во всем этом многолюдном собрании я был единственный, кто знал, что значит его величавое пришествие, и понимал, что сделает с миром этот могущественный волшебник.

Я кинул за окно монетку и получил газету; газетчик — Адам всех газетчиков — скрылся за углом, чтобы принести мне сдачу; он до сих пор не вернулся из-за угла. Необычайно приятно было снова увидеть газету, но, признаться, я был потрясен, когда взор мой скользнул по заголовкам первой страницы. Я так долго жил в заразной атмосфере почтительности, уважения, низкопоклонства, что холодная дрожь прошла по спине, когда я прочел:

ВЕЛИКИЕ СОБЫТИЯ В ДОЛИНЕ СВЯТОСТИ. ВОДОМЕТ ЗАСОРИЛСЯ!

Старый Мерлин пускает в ход все свое искусство, но ничего не выходит!

Зато Хозяин одним махом добивается всего!

Чудотворный источник забил среди ужасающих взрывов адского пламени, и дыма, и грома!

Весь курятник всполошился! Невообразимый восторг!

И так далее, и так далее. Пожалуй, слишком трескуче. Когда-то такие заголовки мне нравились и я не видел в них ничего дурного, но теперь они резали мне глаза. Это был славный арканзасский журнализм, но ведь здесь не Арканзас. Мало того, намек предпоследней строчки был рассчитан на то, чтобы оскорбить отшельников, а это могло лишить нас их объявлений. Вообще весь тон газеты был слишком легкомысленный и задорный. Очевидно, я, сам того не замечая, сильно изменился. Меня неприятно поражали мелкие дерзости, которые в первый период моей жизни показались бы мне только изящными оборотами речи. Не понравились мне и такие заметки, которых в газете было множество:

МЕСТНЫЙ ДЫМ И ПЕПЕЛ

На прошлой неделе за болотом, к югу от свинарни сэра Бальморала ла Мервейса, сэр Ланселот неожиданно повстречался со старым королем Агривансом Ирландским. Доводится до сведения вдовы. Экспедиция № 3 отправится в начале будущего месяца

на розыски сэра Саграмора Желанного. Ее возглавляет известный рыцарь Алых Лугов. Его сопровождает сэр Персант Индский, который хорошо знает дело, умен и любезен, а также сэр Паламид Сарацин, который тоже не промах. С такими ребятами можно быть уверенным, что получится дело, а не увеселительная прогулка.

Читатели «Осанны» с огорчением узнают, что красивый и популярный сэр Чароле Галльский, который прожил у нас в городе четыре недели на постоялом дворе «Бык и камбала» и покорил все сердца изысканностью манер и изяществом речи, на днях уезжает домой. Приезжай к нам опять, Чарли!

Похороны покойного сэра Даманса, сына герцога Корнваллийского, павшего в бою с великаном Узловатой Дубины в прошлый вторник на краю Долины Очарований, распорядился услужливый и деловитый Мембл, краса гробовщиков, славящийся непревзойденным умением отдать последний долг. Испытайте его.

Вся контора «Осанны» от редактора до последнего наборщика приносит сердечное спасибо Третьему помощнику Камердинера Лорда Сенешаля Дворца за несколько блюдец мороженого столь превосходного качества, что у вкусивших глаза увлажнились от благодарности. Мы не останемся в долгу. Когда начальство начнет подыскивать кандидата для повышения в чине, «Осанна» окажет нужную поддержку.

Демуазель Ирен Дьюлеп из Южного Астолата гостит у своего дяди, радушного хозяина Харчевни Скототорговцев, в Печеночном переулке, у нас в городе.

Барнер Младший, занимающийся починкой раздувальных мехов, снова дома и очень усовершенствовался в своем ремесле, поработав во время отпуска в окрестных кузницах. См. его объявление.

Разумеется, для начала это неплохо, и тем не менее я был несколько разочарован. «Придворная хроника» понравилась мне больше; ее простой, проникнутый почтительным достоинством тон освежил меня после всех этих неприличных фамильярностей. Но и она могла бы быть лучше. Я, конечно, хорошо знаю, что, при всем старании, в придворную хронику разнообразия не внесешь. Придворная жизнь так однообразна, что разбивает все попытки внести в нее краски. Лучший и единственный разумный способ — прикрыть повторение одного и того же разнообразием формы: раздевайте каждый раз ваш факт догола и одевайте его в новое облачение из слов. Это обманет глаз; факт покажется вам новым; у вас сложится представление, что при дворе жизнь кипит вовсю. Вы увлечетесь и с аппетитом проглотите всю колонку, не замечая, что ведро супа сварено из одного единственного боба. Тот стиль, которым пользовался Кларенс, был хорош, был прост, был полон достоинства, был прям, был деловит, — и все же он, по-моему, не был лучшим из возможных:

ПРИДВОРНАЯ ХРОНИКА

В понедельник король катался в парке

" вторник " " "

" среду " " "

" четверг " " "

" пятницу " " "

" субботу " " "

" воскресенье... " " "

Но в общем я был очень доволен этой газетой. В ней попадались кое-какие технические погрешности, но в целом она была бы достаточно хороша даже для арканзасских корректоров, а для эпохи короля Артура и подавно. Грамматика, правда, хромала, изложение мыслей тоже, но я не придавал этому значения. У меня у самого те же недостатки, а человек не должен критиковать других на той почве, на которой он сам не может стоять перпендикулярно.

Я так изголодался по литературе, что готов был проглотить сразу весь газетный лист, но мне удалось только откусить от него раза два, потому что меня осадили монахи и забросали вопросами: «Что это за странная штука? Для чего она? Это носовой платок? Попона? Кусок рубахи? Из чего она сделана? Какая она тонкая, какая хрупкая и как шуршит. Прочная ли она, и не испортится ли от дождя? Это письма на ней или только украшения?» Они подозревали, что это письма, потому что те из них, которые умели читать по-латыни и немного по-гречески, узнали некоторые буквы, но все-таки не могли сообразить, в чем тут дело. Я старался отвечать им возможно проще.

— Это общедоступная газета; что это значит, я объясню вам в другой раз. Это не материя, это бумага; когда-нибудь я объясню вам, что такое бумага. Строчки на ней действительно служат для чтения; они не рукой написаны, а напечатаны; со временем я объясню вам, что значит печатать. Таких листков выпущена целая тысяча, все точь-в-точь как этот, так что не отличишь один от другого.

Они все хором воскликнули с удовольствием и восторгом:

— Тысяча! Какой огромный труд! Работа на год для многих людей!

— Нет, работа на день для взрослого и мальчишки.

Они перекрестились и пробормотали несколько молитв.

— О чудо, о диво! О тайные силы волшебства!

Я не стал их переубеждать. Я прочел вслух, негромко, так, что слышать могли только те, кто придвинул ко мне свои бритые головы, отрывок из описания чуда восстановления источника под аккомпанемент изумленных и благоговейных восклицаний:

— Ах! Как правдиво! Удивительно, удивительно! Все как раз так, как было, поразительная точность!

А можно им взять эту странную вещь в руки, пощупать ее, изучить? Они будут очень осторожны. Можно. Они взяли газету так бережно и благоговейно, словно это было нечто священное, упавшее с небес; осторожно щупали ее, гладили, зачарованно разглядывали невиданные знаки. Эти склоненные головы, зачарованные взоры, — как я наслаждался! Ибо разве газета не была моим детищем, и разве все это немое изумление, и любопытство, и восторг не были красноречивой данью ее достоинствам? Я понял, что чувствует мать, когда другие женщины — все равно, подруги или посторонние — берут ее новорожденное дитя и склоняются над ним в таком восторженном порыве, что на время весь остальной мир перестает для них существовать. Я знал теперь, что это за чувство, я понял, что никакое другое удовлетворенное тщеславие — короля, победителя или поэта — не может доставить такого блаженства, такой беспредельной полноты счастья.

До самого конца сеанса моя газета переходила от одной кучки к другой, путешествуя по всей огромной зале, и мой счастливый взор следил за ней, и я сидел не двигаясь, упоенный. Да, то было райское блаженство; я вкусил его, — больше, может быть, вкусить не доведется.

27. Янки и король путешествуют инкогнито

Перед сном я отвел короля в свои покои, подстриг ему волосы и показал, как одеваются простые люди. Высшие классы стригли волосы надо лбом и давали им свободно расти сзади и падать на плечи, в то время как простонародье стригло волосы и надо лбом и на затылке; рабы же не стриглись совсем и давали волосам расти как вздумается. Я надел королю на голову горшок и отрезал все торчавшие из-под него пряди. Я подстриг также его бороду и усы; я старался, чтобы стрижка получилась как можно менее художественной, и добился успеха. Получилось криво и косо — я изуродовал его как следует. А когда он надел неуклюжие сандалии и длинную рубаху из грубой коричневой холстины, которая ниспадала от шеи до лодыжек, этот изящнейший в королевстве мужчина превратился в заурядного и непривлекательного уродца. Мы были одеты и пострижены одинаково и могли сойти за мелких фермеров, или за управляющих фермами, или за пастухов, или за возчиков, или, если угодно, за деревенских ремесленников, ибо такую одежду, какая была на нас, носили все бедняки, так как она прочна и дешева. Я не хочу сказать, что она действительно дешево обходилась для очень бедного человека, я только имею в виду, что более дешевого материала для мужской одежды не было, — материал был домотканый, как вы понимаете.

Мы незаметно ускользнули за час до восхода солнца. Прежде чем начало припекать, мы прошли уже миль восемь-десять и очутились в малонаселенной местности. Мешок, который я тащил, оказался тяжелым, он был полон провизии — провизии для короля, который только постепенно мог привыкнуть есть без вреда для себя крестьянскую пищу.

Я нашел удобное место возле дороги, усадил короля и дал ему немного закусить. Затем сказал ему, что пойду поищу воду, и ушел. По правде сказать, мне просто хотелось побыть одному, посидеть и отдохнуть. В присутствии короля я всегда стоял, даже на заседаниях совета, кроме тех редких случаев, когда заседание тянулось несколько часов; если заседание затягивалось, мне разрешалось присесть на маленькую скамейку без спинки, похожую на перевернутый желоб и удобную, как зубная боль. Я не хотел нарушить этот обычай сразу, а собирался приучить короля постепенно. Все равно в присутствии посторонних нам теперь придется сидеть обоим, а то люди обратят внимание; но было бы неполитично с моей стороны разыгрывать с ним равного наедине, когда в этом нет необходимости.

Я нашел воду ярдах в трехстах и отдыхал уже минут двадцать, когда вдруг услышал голоса. «Волноваться нечего, — подумал я, — это крестьяне отправляются на работу; никто, кроме крестьян, не станет подниматься так рано». Но через минуту из-за поворота дороги выехали на конях хорошо одетые знатные люди в сопровождении мулов, нагруженных кладью, и слуг. Я вскочил и как пуля понесся через кусты. Я боялся, что эти люди подъедут к королю раньше, чем я добегу до него. Но отчаяние придает силы. Я весь устремился вперед, набрал воздуха и помчался. Я добежал. И как раз вовремя.

— Простите, государь, но теперь не до церемоний. Вставайте! Вставайте! Едут какие-то знатные люди!

— Ну и что же? Пускай себе едут.

— Но, мой повелитель, нельзя, чтобы они увидели вас сидящим. Вставайте! И стойте в смиренной позе, пока они не проедут. Ведь вы крестьянин.

— Это правда. А я и забыл об этом. Я был погружен в обдумыванье планов большой войны с Галлией. — Он поднялся, но неторопливо, не так, как поспешил бы подняться крестьянин в подобных обстоятельствах. — Ты так неожиданно налетел на меня и разогнал эту величавую мечту, которая...

— Внимание, государь! Внимание! Нагните голову! Ниже! Еще ниже! Опустите ее!

Он добросовестно старался, но достиг немногого. Смирения у него было столько же, сколько у Пизанской падающей башни ^[33]. Иначе, пожалуй, не сказать. Смиренная поза так плохо ему удалась, что лица всех всадников, одно за другим, изумленно нахмурились, и нарядный слуга, последний в ряду, поднял свой бич, но я вовремя подскочил и принял удар на себя. Под взрыв грубого хохота я потихоньку убеждал короля не обращать на это внимания. Он пересилил себя, но с трудом; он, казалось, так бы и съел всех этих всадников. Я сказал:

— Наши приключения оборвались бы в самом начале: безоружные, мы ничего не могли бы поделаться с вооруженной бандой. Если мы хотим, чтобы наша затея удалась, мы должны не только быть похожими на крестьян, но и вести себя, как крестьяне.

— Это мудро, возразить тебе невозможно. Так вперед, сэра Хозяин! Я приму твой совет во внимание и постараюсь им руководствоваться, насколько возможно.

Он сдержал свое слово. Он старался, как мог, но у многих получалось лучше, чем у него. Если вы когда-нибудь видели резвого, неосторожного, предприимчивого ребенка, который в течение всего дня беспечно переходит от одной шалости к другой, и его озабоченную мать, которая не отходит от него ни на шаг, оберегая его то от опасности утонуть, то от опасности сломать шею, — вы видели короля и меня.

Если бы я мог предугадать, как пойдут наши дела дальше, я бы сказал: «Нет, если у кого есть охота зарабатывать себе на хлеб, выдавая короля за мужика, тот пускай и берется за это дело, а я лучше буду возить зверинец — оно безопаснее». Первые три дня я даже не позволял ему заходить в дома. Мы принуждены были вначале держаться пустынных дорог и пользоваться такими постоянными дворами, где не слишком приглядываются к людям. Да, он очень старался, но что из того? Дело шло ничуть не лучше.

Он постоянно пугал меня всякими неожиданными выходками в самых неподходящих местах. Под вечер второго дня он, представьте себе, вдруг вытащил из-под полы кинжал!

— Господи, мой повелитель, где вы это достали?

— У контрабандиста на постоялом дворе, вчера вечером.

— Ради какого дьявола вы его купили?

— Мы избегли многих опасностей с помощью хитрости — твоей хитрости, — но мне подумалось, что не худо было бы иметь при себе и оружие. А вдруг твоя хитрость изменит тебе в трудную минуту.

— Но людям нашего звания запрещено носить оружие. Что скажет лорд или любой другой человек, обнаружив у крестьянина кинжал?

Счастье наше, что в это время никого поблизости не было. Я убедил его выбросить кинжал, а сделать это было не легче, чем убедить ребенка выбросить новую пеструю игрушку, которой он может убить себя. Мы молча шли рядом и размышляли. Наконец король сказал:

— Если тебе известно, что я задумал что-нибудь опасное, отчего ты не предупреждаешь меня заранее, чтобы я мог отказаться от своего намерения?

Этот вопрос озадачил меня. Я не знал, как ответить на него, и потому в конце концов дал самый естественный ответ:

— Но, государь, как я могу знать, что вы задумали?

Король остановился и взглянул на меня изумленно.

— А я думал, что ты более велик, чем Мерлин; и правда, в колдовстве ты превзошел его, но пророчество важнее колдовства. Мерлин пророк.

Я понял, что совершил промах. Нужно было выворачиваться. После глубокого размышления я осторожно наметил план действий и сказал:

— Государь, вы меня не поняли. Я сейчас все объясню. Существуют два рода пророчества.

Существует дар предсказывать близкие события, и существует дар предсказывать то, что будет через века. Какой дар, по-вашему, могущественнее?

— Конечно, второй!

— Правильно. А обладает ли им Мерлин?

— Отчасти да. Он за двадцать лет вперед предсказал мое рождение и то, что я буду королем.

— А что будет дальше, он тоже предсказал?

— А он и не брался.

— Это, вероятно, его предел. Каждый пророк имеет свой предел. Предел некоторых великих пророков — сто лет.

— Таких, я думаю, немного.

— Существовало два еще более великих, чей предел был четыреста и шестьсот лет, и один, чей предел приближался к семистам двадцати.

— Господи, это поразительно!

— Но что они в сравнении со мной? Ничто!

— Да ну? Ты можешь глядеть вперед через такой океан времени, как...

— Семьсот лет? Повелитель, мой пророческий взор ясен, как взор орла, и я совершенно ясно прозреваю, что будет с этим миром через тринадцать с половиною веков.

О, если бы вы видели, как широко король раскрыл глаза! Они чуть не выскочили из орбит. Старикашка Мерлин был уничтожен. Этим людям никогда не приходится доказывать — они верят на слово. Никому из них и в голову не пришло бы усомниться в любом голом утверждении.

— Оба пророческих дара доступны мне, — продолжал я. — Я умею прорицать далекое и близкое, для этого мне нужно только переключиться. Но обычно я предсказываю отдаленное будущее, потому что предсказывать ближайшее будущее ниже моего достоинства. Это больше свойственно всяким Мерлинам — короткохвостым пророкам, как называем их мы, собратья по профессии. Конечно, я иногда забавляюсь и малым пророчеством, но не часто. Вы, вероятно, помните, сколько было толков, когда вы прибыли в Долину Святости, о том, что я за двое или трое суток предсказал день и час вашего прибытия.

— Конечно, я это помню.

— Предсказать ваше прибытие мне было бы в сорок раз легче и я привел бы в тысячу раз больше подробностей, если бы оно должно было совершиться не через два-три дня, а через пять столетий.

— Как это странно и удивительно!

— Да, опытному специалисту всегда легче предсказывать за пятьсот лет, чем за пятьсот секунд.

— А ведь, казалось бы, рассуждая разумно, должно было бы быть как раз наоборот; казалось бы, в пятьсот раз легче предсказать близкое, чем далекое, ибо близкое так близко от нас, что и обыкновенный человек может его предвидеть. Надо признать, что пророческий дар противоречит вероятности, превращая самым причудливым образом трудное в легкое и легкое в трудное.

У него была умная голова. Скрыть этого не могла даже крестьянская шапка; хоть водолазный колокол наденьте на эту голову, все равно обнаружится, что это голова королевская, стоит ей только пошевелить мозгами.

Теперь у меня появилась новая забота. Король с такой жадностью хотел знать все, что случится за ближайшие тринадцать веков, словно он сам собирался прожить их. Я из кожи лез, стараясь угодить ему. Мне и прежде случалось поступать необдуманно, но я никогда еще не

поступал глупее, чем теперь, вздумав выдавать себя за пророка. Впрочем, в этом были и свои хорошие стороны. Пророку не нужны мозги. В повседневной жизни они, конечно, могут ему пригодиться, но в профессиональной он вполне может без них обойтись. Пророчество — самая спокойная профессия на свете. Когда на вас накатывает дух прорицания, вы берете свой рассудок, кладете его куда-нибудь в прохладное место, чтобы он не испортился, и принимаетесь работать языком: язык работает вхолостую, без участия рассудка; в результате получается пророчество.

Каждый день нам попадались странствующие рыцари, и при виде их в короле вспыхивал воинственный дух. Он непременно забылся бы и сказал бы им что-нибудь неподобающее, несоответствующее его теперешнему положению, если бы я всякий раз не отводил его в сторону от дороги. Он стоял и смотрел на них во все глаза. Гордое пламя пылало в его взоре, ноздри его раздувались, как у боевого коня, и я видел, что ему смертельно хочется подраться с ними. Но на третий день около полудня я остановился, чтобы принять кое-какие меры предосторожности, о которых я подумал было еще два дня назад, когда меня ударили бичом. Я бы охотно без них обошелся, настолько они были мне неприятны, но тут случай напомнил мне об этом: беспечно шагая, я пророчествовал, язык мой работал, а мозг отдыхал; вдруг я споткнулся о корень и шлепнулся на землю. Я чуть было не потерял рассудок со страху, но потом осторожно поднялся и развязал свою сумку: в сумке лежала динамитная бомба, обернутая шерстью и уложенная в ящичек. В дороге это была вещь полезная; придет, быть может, время, когда я с ее помощью совершу чрезвычайно ценное чудо; но необходимость постоянно носить ее с собой меня нервировала, а отдать ее королю мне не хотелось. Нужно было либо выбросить ее, либо придумать какой-нибудь безопасный способ пользоваться ее обществом. Я вытащил ее из сумки и положил себе в карман; и как раз в это мгновение заметил двух рыцарей. Король остановился гордо, как изваяние, и уставился на них, — он, разумеется, опять забыл свою роль; и прежде чем я предупредил его, чтобы он отскочил в сторону, он уже отскочил поневоле. Он думал, что они посторонятся. Посторонятся, чтобы не раздавить грязного мужика, шагающего пешком по дороге! Разве сам он когда-нибудь сворачивал с пути в таких случаях? И разве крестьянин, завидя его, не спешил сам сойти прочь с дороги? Да и не только крестьянин, а и благородный рыцарь. Рыцари не обратили на короля никакого внимания: он должен сам быть поосторожней; и если бы он не отскочил, они раздавили бы его да вдобавок посмеялись бы над ним.

Король пришел в бешенство и, в королевском негодовании, стал осыпать их самой жестокой бранью. Рыцари уже успели немного отъехать. Они остановились, глубоко изумленные, и повернулись в своих седлах, как бы размышляя, стоит ли связываться с такой дрянью, как мы. Потом повернули коней и устремились на нас. Нельзя было терять ни мгновения. Я кинулся им навстречу и бросил им такое тринадцатизэтажное душераздирающее ругательство, в сравнении с которым брань короля казалась бедной и жалкой. Я вынес это ругательство из девятнадцатого столетия, — там это дело хорошо было поставлено. С разбега рыцари не могли сразу остановиться. Они были уже почти возле короля, но тут, обалдев от ярости, они вздыбили коней и, повернув, ринулись на меня. Я находился ярдах в семидесяти от них и стал карабкаться на большой валун возле дороги. В тридцати шагах от меня они разом выставили свои длинные пики и низко пригнули головы в шлемах, так что видны были только плюмажи из конских волос; и вся эта громада неслась ко мне! Когда между нами оставалось ярдов пятнадцать, я уверенной рукой швырнул бомбу, и она стукнулась о землю как раз под мордами коней.

Да, это было славное зрелище, славное и приятное! Словно взрыв парохода на Миссисипи. Потом целых четверть часа на нас сыпался дождь из микроскопических частиц рыцарей, металла и конины. Я говорю — на нас, так как король, отдышавшись, примчался ко мне. На том

месте, где были рыцари, образовалась яма, которая, как я предвидел, задаст много труда окрестным жителям: я, конечно, имею в виду, что им трудно будет объяснить ее происхождение, а засыпать ее будет нетрудно, так как эта честь выпадет на долю избранного меньшинства — на крестьян местного сеньора, которым ничего за это не заплатят.

Королю я все объяснил сам. Я сказал ему, что яма вырыта динамитной бомбой, — объяснение это не могло ему повредить, потому что он ровно ничего из него не понял. Он считал это новым великолепным чудом, новым сокрушительным ударом по Мерлину. Я счел за лучшее пояснить, что подобные чудеса очень редки и что совершать их можно только при благоприятном состоянии атмосферы, — иначе он при каждом удобном случае приставал бы ко мне, чтобы я повторил это чудо, а мне этого не хотелось, так как у меня больше не было бомб.

28. Дрессировка короля

Утром четвертого дня, на восходе солнца, прошагав уже целый час в предрассветной прохладе, я пришел к решению: короля необходимо выдрессировать! Так больше не может продолжаться, его нужно взять в руки и добросовестно вымуштровать, иначе нам нельзя будет войти ни в один жилой дом: даже кошки сразу поймут, что этот крестьянин ряженный. Я предложил ему остановиться и сказал:

— Государь, ваша одежда и внешность в полном порядке и не вызывает подозрений, но между вашей одеждой и вашим поведением! — бросающийся в глаза разлад. Военная выправка, царственная осанка — нет, это никуда не годится. Вы держитесь слишком прямо, ваши взоры слишком надменны. Царственные заботы не горбят спины, не приучают клонить голову, не заставляют смотреть себе под ноги, не поселяют в сердце страх и сомнение, которые делают голову понурой, а поступь неуверенной. Низкорожденный человек вечно согбен под бременем горьких забот. И вам необходимо научиться этому; вы должны подделывать клейма бедности, несчастья, унижения, обид, которые обесчеловечивают человека и превращают его в преданного покорного раба, радующего взор своего господина, — иначе младенцы отгадают, что вы ряженный, и наша затея рухнет в первой же хижине, куда мы зайдем. Прошу вас, попробуйте ходить вот так.

Король внимательно посмотрел на меня и попытался мне подражать.

— Недурно, совсем недурно. Подбородок немного ниже, пожалуйста... вот так, хорошо. Слишком надменный взор. Постарайтесь смотреть не на горизонт, а на землю, в десяти шагах от себя. Так лучше, так, хорошо. Нет, погодите, в вашей походке слишком много уверенности, решительности; нужно ступать неуклюжей. Будьте добры, посмотрите на меня: вот как надо ступать... У вас получается... в этом роде... Да, почти хорошо... Но чего-то все-таки не хватает, я сам не вполне понимаю — чего. Пожалуйста, пройдите ярдов тридцать, чтобы я мог посмотреть на вас со стороны... Голову держите правильно, плечи тоже, подбородок тоже, скорость шага как раз такая, как нужно, осанка, взор — все как следует. Однако все вместе — не то. Итог не сбалансирован. Пройдите еще, пожалуйста... Ага, я начинаю понимать. Нет в вас настоящей унылости, вот в чем загвоздка. Получилась *любительщина*, *дилетантщина* — все детали проработаны правильно, до волоска, казалось бы иллюзия должна быть полная, а иллюзии нет.

— Что же делать?

— Дайте мне подумать... Ничего мне не приходит на ум. По правде сказать, здесь помочь может только практика. Вот как раз подходящее место: корни и камни, есть на чем испортить себе походку. Никто нам тут не мешает — кругом поле и всего одна хижина, да и то так далеко, что оттуда не видно. Сойдите, пожалуйста, с дороги, государь, и мы посвятим этот день дрессировке.

Поддрессировав его немного, я сказал:

— А теперь вообразите себе, государь, что мы подходим к двери той хижины и нас встречает вся семья. Прошу вас, как вы обратитесь к главе дома?

Король бессознательно выпрямился, словно памятник, и с ледяной суровостью произнес:

— Мужик, принеси мне кресло. И подай мне чего-нибудь поесть.

— Ах, ваше величество, не так.

— Чем же не так?

— Эти люди не называют друг друга мужиками.

— Не называют?

— Их так называют только те, кто выше.

— Ну так я попробую еще раз. Я скажу — «крепостной».

— Нет, нет. Он, может быть, свободный человек.

— Ну хорошо, я назову его «добрый человек».

— Это подходит, ваше величество, но еще лучше, если вы назвали бы его другом или братом.

— Братом! Такую грязь!

— Но ведь мы притворяемся, что мы такая же грязь, как и он.

— Ты прав. Я скажу ему: «Брат, подай мне кресло и угости, чем можешь». Так хорошо?

— Не совсем, не вполне хорошо. Вы просите для себя одного, а не для нас обоих: пищу для одного, кресло для одного.

Король посмотрел на меня удивленно, — он был не очень сообразителен, голова его работала медленно; он мог усвоить новую мысль, но не сразу, а по зернышкам.

— Разве тебе тоже нужно кресло? Разве ты сел бы?

— Если бы я не сел, этот человек заметил бы, что мы только притворяемся равными и притворяемся очень плохо.

— Ты говоришь справедливо! Как удивительна истина, в каком бы неожиданном виде она не предстала перед нами. Он обязан принести кресла и пищу для обоих и подавать рукомойник и салфетки одному с такой же почтительностью, как и другому.

— И все-таки остается еще одна деталь, которую нужно исправить: он ничего не обязан приносить. Мы войдем в хижину; там будет грязь и, вероятно, много противного, но мы войдем и сядем за стол вместе с его семьей, и будем есть, что подадут и как подадут, и держаться будем на равной ноге — если только хозяин не раб; а рукомойника и салфеток не будет вовсе, кто бы ни был хозяин, раб или свободный... Прошу вас, повелитель, пройдитесь еще раз. Так... это лучше... еще лучше; и все же не совсем хорошо. Ваши плечи не гнутся — они никогда не знали ноши, менее благородной, чем железная кольчуга.

— Дай мне твой мешок. Я хочу узнать, что значит неблагородная ноша. Не вес ее сгибает плечи, а ее неблагородство; кольчуга тяжела, но благородна, и человек, носящий ее, остается прям... Нет, не спорь, не возражай. Дай мне мешок. Взвали его мне на спину.

Теперь, с мешком за плечами, король, наконец, совсем не был похож на короля. До конца упрямыми оказались только его плечи: они не гнулись, а если и гнулись, то совсем неестественно. Продолжая дрессировку, я направлял и исправлял его:

— Вообразите себе, что вы опутаны долгами, что вас мучают беспощадные кредиторы; вы безработный — ну, скажем, вы кузнец, и вас выгнали со службы; ваша жена больна, а дети ваши плачут, потому что им хочется есть...

И так далее, и так далее. Я заставлял его изображать людей, страдающих от самых разных несчастий и притеснений. Но, господи, для него это были всего только слова, и если бы я свистел, а не говорил, мой свист тронул бы его не больше. Слова не значат для вас ничего, если вы не пострадали сами того, что слова эти пытаются выразить. Бывают мудрецы, которые любят с видом знатоков снисходительно потолковать о «рабочем классе» и успокаивают себя тем, что умственный труд куда тяжелее труда физического и по праву оплачивается много лучше. Они и вправду так думают, потому что испытали только умственный труд, а физического не знают. Но я испытал и умственный и физический; и за все деньги вселенной не согласился бы я тридцать дней подряд работать заступом, а любым умственным трудом, даже самым тяжелым, я охотно займусь почти даром — и буду доволен.

Умственный «труд» неправильно назван трудом, — это удовольствие, наслаждение, и высшая награда его в нем самом. Самый низкооплачиваемый архитектор, инженер, генерал,

писатель, скульптор, живописец, лектор, адвокат, депутат, актер, проповедник, работая, блаженствует, как в раю. А что сказать про музыканта, сидящего со смычком в руке посреди большого оркестра, в то время как льющиеся струи божественных звуков плещут вокруг него? Он, конечно, трудится, если вам угодно это называть трудом, но, по правде говоря, такое название — издевательство над самим понятием труда. Закон труда крайне несправедлив, но уж таким он создан и изменить его невозможно: чем больше радости получает труженик трудясь, тем больше денег платят ему за труд. Подобному же закону подчинены и такие откровенно мошеннические установления, как наследственная знать и королевская власть.

Когда мы подошли к этой хижине, день уже клонился к вечеру. Никаких признаков жизни мы не обнаружили. Хлеб на поле был уже сжат, и притом сжат так чисто, что поле казалось голым. Заборы, сараи — все развалилось, все красноречиво говорило о бедности. Ни единой живой души поблизости. Безмолвие казалось жутким, как безмолвие смерти. Хижина была одноэтажная, соломенная, крыша ее почернела от времени и висела лохмотьями.

Дверь была слегка приотворена. Мы к ней подкрались беззвучно, на носках и почти не дыша, повинувшись какому-то смутному предчувствию. Король постучал. Мы подождали. Нет ответа. Он постучал еще раз. Нет ответа. Я осторожно открыл дверь и заглянул внутрь. Что-то шевельнулось в темноте; женщина поднялась с пола и уставилась на меня, как во сне. Потом мы услышали ее голос.

— Пощадите! — взмолилась она. — Все уже взято, ничего не осталось.

— Я ничего не собираюсь брать, бедная женщина.

— Ты не священник?

— Нет.

— Ты не из усадьбы лорда?

— Нет, я прохожий.

— Так ради господ бога, карающего невинных нищетой и смертью, беги отсюда! Это место проклято богом, и его церковью.

— Позволь мне войти и помочь тебе. Ты больна, ты в беде.

Глаза мои привыкли к сумраку. Я видел ее запавшие глаза, устремленные на меня. Я видел, как она страшно худа.

— Говорю тебе, это место проклято церковью. Спасайся, беги, чтобы кто-нибудь не заметил тебя здесь случайно и не донес.

— Ты обо мне не беспокойся, церковное проклятье меня не тревожит. Позволь мне помочь тебе.

— Так пусть же все добрые духи, — если только они существуют, — благословят тебя за эти слова! Мне бы только немного воды. Но нет, забудь, что я сказала, и беги, ибо тот, кто не страшится церкви, должен страшиться той болезни, от которой мы умираем. Оставь нас, отважный и добрый прохожий, и мы благословим тебя от всего сердца, если только могут благословлять те, на ком лежит проклятие.

Но прежде чем она договорила, я схватил деревянную чашку и побежал к ручью. До ручья было десять ярдов. Когда я вернулся, король был уже внутри и отворял ставни, чтобы впустить свет и воздух. В хижине стоял тяжкий, удушливый запах. Я поднес чашку к губам женщины. Она ухватилась за нее исхудалыми руками, похожими на птичьи когти. Как раз в это мгновение ставни распахнулись, и свет ударил ей прямо в лицо. Оспа!

Я подскочил к королю и зашептал ему на ухо:

— Бегите, государь, бегите! Эта женщина умирает от той самой болезни, которая в позапрошлом году опустошила окрестности Камелота...

Он не двинулся с места.

— Клянусь, я останусь здесь и постараюсь помочь!

Я снова зашептал:

— Король, так нельзя, вы должны уйти.

— Ты стремишься к добру, и слова твои мудры. Но стыдно было бы королю дрожать от страха, стыдно было бы рыцарю отказать нуждающемуся в помощи. Успокойся, я не уйду

отсюда. Это ты должен уйти. Церковное проклятие не может коснуться меня, но тебе запрещено быть здесь, и церковь наложит на тебя свою тяжелую руку, если ты нарушишь ее запрет.

Оставаясь в этом страшном доме, король мог поплатиться жизнью, но спорить с ним было бесполезно. Если он считает, что задета его рыцарская честь, ничего не поделаешь: он останется, и помешать ему невозможно; я знал это по опыту. Я не настаивал. Женщина заговорила:

— Добрый человек, будь так милостив, подымись по этой лесенке, посмотри, что там творится, и скажи мне. Что бы ты ни увидел там, не бойся сказать мне, ибо бывает, что и матери можно сказать все, не опасаясь разбить ее сердце, так как оно давно разбито.

— Останься здесь, — сказал король, — и накорми эту женщину. Я поднимусь наверх.

И положил мешок на лавку.

Я не успел повернуться, как король был уже у лестницы.

Он помедлил немного и взглянул на мужчину, который лежал в полутьме и, казалось, не замечал нас.

— Это твой муж? — спросил король.

— Да.

— Он спит?

— Да, благодарение богу, он спит уже три часа. Сердце мое разрывается от благодарности за этот сон, который снизошел на него.

Я сказал:

— Мы будем осторожны. Мы не разбудим его.

— Нет, вы его не разбудите, он умер.

— Умер?!

— О, какое счастье знать, что он умер! Никто больше не может ни обидеть, ни оскорбить его. Он теперь в раю и счастлив, а если он в аду, он все-таки доволен, потому что там он не встретит ни аббата, ни епископа. Мы выросли вместе; мы двадцать пять лет женаты и никогда не расставались за это время. Подумайте, как долго мы любили друг друга и как долго мы вместе мучились! Сегодня утром в бреду ему представлялось, что мы с ним снова мальчик и девочка и снова гуляем по счастливым полям. Так, под невинный младенческий говор, шел он все дальше и дальше, пока не перешел незаметно в другие поля, о которых мы ничего не знаем, и не скрылся от наших смертных взоров. Разлуки не было, потому что в бреду ему представлялось, будто я иду вместе с ним и будто моя рука у него в руке, — юная, мягкая рука, не эта птичья лапа. Умереть — и не заметить смерти, разлучиться — и не заметить разлуки, может ли кончина быть более мирной? Это ему награда за тяжкую жизнь, которую он нес так безропотно.

В темном углу, где стояла лестница, раздался слабый шум. Это спускался король. Он нес что-то, прижимая к себе одной рукой, а другою придерживаясь за перекладины. Он вышел к свету; на груди его лежала худенькая девочка лет пятнадцати. Она была почти без сознания и тоже умирала от оспы. Это был высший предел героизма, его вершина. Это значило вызвать смерть на поединок, будучи безоружным, когда все против тебя, когда нет не только никаких надежд на награду, но даже нет глазеющей рукоплещущей толпы, одетой в шелк и золото. А между тем осанка короля была так же спокойна и мужественна, как и во время тех дешевых поединков, когда рыцарь встречается с рыцарем; в равном бою, защищенный стальной кольчугой. Король был велик в эту минуту, возвышенно велик. К грубым статуям его предков у него во дворце будет присоединена еще одна, — я позабочусь об этом. И это не будет изображение короля в кольчуге, убивающего великана или дракона, — это будет изображение короля в крестьянской одежде, несущего смерть на руках, чтобы крестьянка могла в последний

раз посмотреть на свое дитя и успокоиться.

Он положил дочь рядом с матерью, и та стала осыпать ее ласками и нежными словами; и в ответ в глазах девочки вспыхнул слабый свет, но и только. Мать нагнулась над ней, целуя ее, лаская ее, умоляя ее сказать хоть слово, но губы девочки шевелились беззвучно. Я достал из мешка флягу с вином, но женщина остановила меня, сказав:

— Нет, она не страдает; пусть лучше так. Вино может вернуть ее к жизни, а такой добрый человек, как ты, не захочет поступать с ней столь жестоко. Посуди сам, для чего ей жить? Ее братья в неволе, ее отец умер, ее мать умирает, над ней тяготеет проклятие церкви, и никто не посмел бы поднять ее и приютить, даже если бы она лежала умирающая посреди дороги! Она погибла. Я даже не спрашиваю тебя, доброе сердце, жива ли ее сестра там, наверху; я и без того знаю, что, если бы она была жива, ты снова поднялся бы наверх и не оставил бы бедняжку там одну...

— Она покоится в мире, — тихим голосом прервал ее король.

— И я не хотела бы, чтоб было иначе. Как богат счастьем этот день! Ах, моя Эннис, ты уже скоро догонишь сестру, ты на верном пути, а эти люди — друзья, они милосердны, они не задержат тебя.

И она снова забормотала, нагнувшись над девочкой, глядя ее по волосам, по щекам, целуя и шепча ласковые слова, но глаза девочки уже остекленели. Я видел, как слезы хлынули из глаз короля и покатались по лицу. Женщина тоже заметила это и сказала:

— О, я знаю, что это значит: у тебя, бедняга, дома тоже есть жена, и вы с ней нередко голодными ложились спать, отдав последнюю корку детям; ты знаешь, что такое бедность, ты перенес немало обид от тех, кто знатнее тебя, ты знаком с тяжелой рукой церкви и короля.

Король вздрогнул от неожиданно попавших в цель слов, но сдержался, — он вошел в свою роль и, для человека, который вначале играл так плохо, справлялся с нею отлично. Я поспешил заговорить о другом: предложил женщине еды и вина, но она отказалась. Она не хотела отдавать часа своей смерти. Я принес сверху ее мертвое дитя и положил рядом с нею. Она этого не выдержала, и произошла новая раздирающая душу сцена. Я опять осторожно отвлек ее внимание и заставил рассказать нам свою историю.

— Вы ее хорошо знаете, сами натерпелись того же, ибо кто у нас в Британии, кроме знати, не перенес таких же страданий. Это старая, скучная повесть. Мы боролись, и боролись с успехом; с успехом — это значит, что мы могли жить и не умирать; чего же нам еще? До нынешнего года мы справлялись со всеми бедами, но в этом году беды обрушились на нас все сразу — и одолели. Несколько лет назад лорд из усадьбы посадил на нашей ферме фруктовые деревья, на самом лучшем участке. Как это грешно и стыдно!..

— Но это его право, — перебил ее король.

— Никто этого не отрицает; смысл закона таков: что принадлежит лорду, то его, а что принадлежит мне, то тоже его. Мы арендовали у лорда эту ферму, но землю он все-таки считал своей и делал на ней, что хотел. Недавно три его дерева оказались срубленными. Три наших взрослых сына испугались и сразу сообщили лорду о преступлении. Они там и остались, у его сиятельства в подземной темнице, — пусть гниют пока не сознаются. А им не в чем сознаваться, они ни в чем не повинны, — и, следовательно, приговор этот означает, что им придется сидеть там до смерти. Вы знаете, как это бывает. А теперь вот что случилось с нами: мужчине, женщине и двум девочкам пришлось убирать поле, которое вспахали и засеяли, кроме нас, еще трое взрослых мужчин, да еще отгонять днем и ночью голубей и разных зверей, которых не дай бог убить или обидеть. Пшеница лорда поспела в одно время с нашей; когда его колокол зазвонил и созвал нас убирать бесплатно жатву на его полях, лорд не согласился считать меня с дочками за трех моих заключенных сыновей, а только за двух; вышло, что одного

не хватает, и мы за него ежедневно платили пеню. А тем временем наша собственная жатва пропадала, потому что некому было ее убирать; и священник и его сиятельство лорд наложили на нас пеню, потому что от нашего небрежения страдали и те доли жатвы, которые причитались им. В конце концов эти пени пожрали весь наш урожай, и у нас его забрали да заставили еще собрать и увезти его, ничего нам не платя, не кормя нас; и мы умирали с голоду. Но худшее случилось тогда, когда я от голода, от тоски по сыновьям, от вида лохмотьев, в которые были одеты мой муж и мои маленькие дочки, от горя и отчаянья потеряла рассудок и возроптала на церковь и ее дела. Это было десять дней назад. Я заболела вот этой болезнью, и когда пошел пришел побранить меня за то, что я не смирилась перед карающей десницей божьей, я стала ругать церковь. Он донес на меня. Я не отреклась от своих слов; и на мою голову, и на головы всех, кто был дорог мне, пало проклятие Рима. С тех пор нас все чуждаются, бегут от нас в ужасе. Никто не зашел в эту хижину узнать, живы ли мы, или нет. Муж и дочери заболели. Тогда я заставила себя встать и ухаживать за ними — ведь я жена и мать. Есть они не просили, да у нас и не было никакой еды. Но вода была, и я давала им пить. Как они жадно пили! Как они благословляли воду! Но вчера все кончилось; силы мне изменили. Вчера я в последний раз видела мужа и младшую дочь. Я лежала тут одна все эти часы, все эти века и слушала, слушала, слушала, не услышу ли звук, который...

Она быстро взглянула на свою старшую дочь, затем вскрикнула: «О милая!» и ослабевшими руками притянула к себе коченеющее тело. Она услышала, как стучит костями смерть.

30. Трагедия усадьбы

В полночь все кончилось, и мы сидели рядом с четырьмя трупами. Мы укрыли их теми тряпками, какие нам удалось найти, и ушли, затворив за собою дверь. Их дом должен был стать их могилой, ибо отлученных от церкви нельзя хоронить по христианскому обряду, в освященной земле. Они были как псы, как дикие звери, как прокаженные, и ни одна душа, надеющаяся на вечную жизнь, не согласилась бы пожертвовать своей надеждой, войдя в соприкосновение с этими осужденными и отверженными.

Мы не успели отойти, как вдруг я услышал звук шагов по песку. Мое сердце забилося. Нельзя, чтобы видели, как мы выходим из этого дома. Я оттащил короля за полу, мы попятились и спрятались за углом, хижины.

— Теперь мы в безопасности, — сказал я, — но чуть не попались. Если бы ночь была светлее, этот прохожий непременно увидел бы нас, он проходил так близко.

— Быть может, это вовсе не человек, а зверь?

— Возможно. Но человек это или зверь, а нам нужно постоять здесь и подождать, пока он уйдет.

— Тише! Он идет сюда.

Король был прав. Шага приближались к нам, направляясь прямо к хижине. Очевидно, это зверь, и нам нечего бояться. Я уже собирался идти, но король положил руку мне на плечо. Наступила тишина, потом кто-то чуть слышно постучал в дверь хижины. Я вздрогнул. Стук повторился, и мы слышали осторожный голос:

— Мама! Отец! Мы вышли на волю и принесли вам вести! От них побледнеют ваши щеки, но развеселят сердца. Нельзя терять ни мгновенья, нужно бежать! И... но отчего они не отвечают? Мама! Отец!

Я увлек короля подальше от двери, шепча:

— Идем! Теперь мы можем выйти на дорогу.

Король медлил, не хотел уходить, но тут мы услышали, как дверь открылась, и поняли, что эти несчастные уже рядом со своими мертвецами.

— Идем, повелитель! Сейчас они зажгут свет, и то, что мы услышим, разобьет ваше сердце.

Он больше не колебался. Едва мы вышли на дорогу, я побежал, и король, забыв о своем сане, побежал тоже. Мне тяжело было думать о том, что сейчас происходит в хижине. Стараясь отогнать неприятные мысли, я заговорил о первом, что мне пришло на ум:

— Я болел той болезнью, от которой умерли эти люди, и мне нечего бояться, но если вы не болели ею...

Он перебил меня, сказав, что он в тревоге: его мучает совесть.

— Эти молодые люди, по их словам, вышли на волю. Но как? Вряд ли лорд сам освободил их.

— О нет; не сомневаюсь, что они удрали!

— Вот это меня и тревожит; я опасюсь, что они удрали, и твои слова подтверждают мои опасения.

— Я не стал бы это называть опасениями. Я подозреваю, что они удрали, но если это так, я ничуть не огорчен.

— Я тоже не огорчен... но...

— В чем же дело? Что может вас тревожить?

— Если они удрали, наш долг повелевает нам поймать их и доставить лорду, ибо нехорошо, если человек столь знатный потерпит тяжкую обиду от людей низкого звания.

Вот оно, опять! Он способен был видеть только одну сторону дела. Так он был воспитан, в его венах текла кровь предков, отравленная бессознательной жестокостью, передаваемая по наследству длинной цепью сердец, из которых каждое еще добавляло отравы. Посадить в тюрьму этих людей без всякого доказательства вины и уморить голодом их родителей — это не беда, так как они всего только крестьяне и покорны воле и прихотям своего лорда, какими бы страшными ни были эти прихоти. Но если они разобьют столь несправедливо наложенные на них оковы — это дерзость, которую не может терпеть ни один порядочный человек, сознающий свой долг по отношению к своей священной касте.

Целых полчаса старался я отвлечь его от этих мыслей, но безуспешно; наконец одно внешнее событие отвлекло его: поднявшись на вершину небольшого холма, мы увидели вдали красное зарево.

— Пожар, — сказал я.

Я вообще очень интересовался пожарами, так как начал вводить страховое дело, одновременно тренируя лошадей и строя машины, чтобы завести со временем пожарную команду. Попы восставали против моих проектов страхования от огня и несчастных случаев, утверждая, что это дерзостная попытка помешать проявлению божьей воли; когда же я доказывал, что я вовсе не пытаюсь идти против божьей воли, а лишь стремлюсь смягчить тяжкие последствия ее проявления, они утверждали, что смягчать суровость божьей кары — не меньшая дерзость. Они мешали мне, но тем не менее страхование от несчастных случаев у меня налаживалось. Как правило, рыцари были глупы и невежественны, и эти торговцы суевериями легко могли их убедить самыми убогими доводами, но даже рыцари оказывались иногда способными понять практическую сторону вопроса; и потому в последнее время при уборке после турниров в каждом шлеме непременно находили квитанцию моего общества страхования жизни от несчастных случаев.

Мы стояли в глубоком мраке и безмолвии, глядя на алевшее вдалеке зарево, и старались объяснить себе значение отдаленного рокота, то тихого, то более громкого. Иногда казалось, что он приближается, и мы уже надеялись отгадать его причину, но он вдруг затихал и удалялся, унося с собой свою тайну. Мы спустились с холма и пошли извилистой тропинкой в ту сторону, откуда доносился шум, и погрузились в непроглядный мрак, оказавшись между двумя стенами высоких деревьев. Так шли мы около полумили вниз по скату, а рокот становился все слышнее, и все явственнее ощущали мы приближение грозы по внезапным порывам ветра, по слабым вспышкам молний, по угрюмому ворчанию отдаленных раскатов грома. Я шагнул вперед и вдруг наткнулся на что-то мягкое и грузное, слегка поддавшееся под тяжестью моего тела; блеснула молния, и на расстоянии фута перед собой я увидел искаженное лицо человека, висевшего на ветке дерева. Это было омерзительное зрелище. Раздался оглушительный грохот, и небеса прорвались: дождь хлынул, как во времена потопа. Тем не менее, разве мы не обязаны были перерезать веревку, на которой висел этот человек, чтобы узнать, не теплится ли в нем жизнь? Ослепительные молнии сверкали одна за другой, и было то светло, как в полдень, то темно, как в полночь. Повешенный был то отчетливо виден, то исчезал во мраке. Я сказал королю, что мы должны перерезать веревку. Но король возразил:

— Если он повесился сам, значит он желал, чтобы его имущество досталось его лорду; так пусть он висит. Если же его повесили, значит имели право повесить, — и пусть он висит.

— Но...

— Никаких «но», оставь его висеть. Есть и еще причина. Когда опять сверкнет молния, погляди вперед. — В пятидесяти ярдах от нас болтались еще двое повешенных. — В такую погоду нет смысла оказывать бесполезные любезности мертвецам. Они уже не в состоянии поблагодарить тебя. Идем. Мы тут зря теряем время.

Слова его были разумны, и мы пошли дальше. На протяжении мили мы при блеске молнии насчитали еще шесть повешенных. Это было пренеприятное путешествие. Рокот, который мы слышали раньше, превратился в рев; рев человеческих голосов. Мимо нас во мраке промчался убегающий человек. Толпа мужчин догоняла его. Они исчезли. Потом опять человек и погоня за ним, и опять, и опять. Внезапный поворот тропинки, и мы очутились перед горящим домом. Горела большая усадьба богатого лорда, от нее уже почти ничего не осталось. И всюду были люди убегавшие и люди, гнавшиеся за ними.

Я предостерег короля, что это не безопасное место для прохожих. Лучше держаться подальше от света и подождать. Мы отошли в сторону и спрятались на опушке леса. Отсюда мы видели мужчин и женщин, за которыми гналась толпа. Эта страшная работа продолжалась почти до рассвета. Затем пожар стал угасать, гроза миновала, крики бегущих смолкли, и снова воцарились темнота и безмолвие.

Мы осторожно двинулись вперед. Мы очень устали и очень хотели спать, но шли до тех пор, пока пожарище не осталось далеко позади. Мы попросили гостеприимства в хижине угольщика и отдали себя в руки судьбы. Жена угольщика уже встала, но он сам все еще спал на соломе, которой был покрыт глиняный пол. Женщина, казалось, встревожилась, но я объяснил ей, что мы путники, сбились с дороги и проблуждали в лесу всю ночь. Тогда она стала разговорчивой и спросила, слышали ли мы об ужасах, которые произошли в Аббласурской усадьбе.

Да, мы слышали о них, но сейчас мы хотим только спать. Король добавил:

— Продайте нам свой дом и уходите, так как мы можем вас заразить. Мы недавно были возле людей, которые умерли от Пятнистой Смерти.

Это было благородно с его стороны, но излишне. Почти у всех его подданных были рябые, как вафельница, лица. Я сразу заметил, что женщина и ее муж тоже были рябые. Она приняла нас радушно и без тени страха. Предложение короля потрясло ее: немалое событие — наткнуться на человека в крестьянской одежде, который готов купить дом, чтобы провести в нем одну ночь. Это внушило ей такое почтение к нам, что она изо всех сил старалась устроить нас поудобнее.

Мы проспали почти весь день и проснулись такими голодными, что крестьянская пища показалась королю очень вкусной, в особенности потому что ее было мало. Разнообразием она тоже не отличалась: лук, соль и черный овсяный хлеб. Хозяйка стала рассказывать нам о вчерашних событиях. Часов в десять или одиннадцать вечера, когда все уже легли спать, усадьба загорелась. Соседи кинулись на помощь, и вся семья лорда была спасена, но сам он исчез. Это всех очень огорчило, и два стражника пожертвовали жизнью, разыскивая его драгоценную особу в горящем здании. Потом нашли его труп: он лежал в трехстах ярдах от усадьбы, связанный, с кляпом во рту и с множеством колотых ран.

Чье это дело? Подозрение пало на скромную семью по соседству, с которой барон не так давно обошелся особенно сурово, а с этой семьи перекинулось на их родных и близких. Одного подозрения было достаточно; ливрейная челядь лорда возглавила крестовый поход против этих людей, и вся округа примкнула к ней. Муж нашей хозяйки тоже принимал участие в погоне и вернулся только на рассвете; теперь он ушел, чтобы узнать, чем все кончилось. Пока мы беседовали, он возвратился. Его рассказ был страшен. Восемнадцать человек повешены или убиты; два стражника и тринадцать узников погибли в огне.

— А сколько узников находилось в подземелье?

— Тринадцать.

— И все они погибли?

— Да, все.

— Но ведь люди успели спасти семью лорда. Почему же они не спасли никого из узников?

Наш хозяин удивился и сказал:

— Кто же станет открывать казематы в такую минуту? Ведь заключенные разбежались бы.

— Ты хочешь сказать, что никто не открыл казематов?

— Никто даже не подошел к тюрьме; замки были крепкие, и достаточно было поставить часового, чтобы изловить всякого, кто попытается удрать. Но ловить никого не пришлось, значит никто и не удрал.

— Нет, трое удрали, — сказал король, — и ты хорошо сделаешь, если объявишь об этом и направишь правосудие на их след, ибо это они убили барона и подожгли дом.

Я так и знал, что он этим кончит. Вначале угольщик и его жена были взволнованы неожиданным сообщением и готовы были сейчас же бежать, чтобы рассказать соседям, но внезапно что-то новое мелькнуло в их глазах, и они стали нас спрашивать. Я сам отвечал на их вопросы и внимательно наблюдал за их лицами. Я с удовольствием заметил, что, узнав, кто были трое бежавших, наши хозяева уже только делали вид, будто торопятся оповестить соседей. Король не заметил перемены, и я был рад этому.

Я заговорил о других подробностях событий минувшей ночи, и наши хозяева вздохнули с облегчением.

Самым печальным в этом деле была та готовность, с какой угнетенные набросились на своих же братьев, защищая общего угнетателя. Этот мужчина и эта женщина, по-видимому, считали, что в ссоре человека, принадлежащего к их собственному классу, с их лордом им естественнее и выгоднее стать на сторону своего господина и сражаться за него, даже не вникая в то, кто прав и кто виноват. Этот угольщик помогал вешать своих соседей, и помогал усердно, хотя отлично знал, что против этих людей нет никаких улик, а одни только смутные подозрения; и ни он, ни его жена не видели в том ничего ужасного.

Это было тяжело для человека, мечтавшего о республике. Мне вспомнилось время тринадцать веков спустя, когда «белые бедняки» нашего Юга, всегда презираемые и притесняемые рабовладельцами, бедствовавшие как раз потому, что вокруг них существовало рабство, малодушно поддерживали рабовладельцев во всех политических движениях, стремившихся сохранить и продлить рабство, и, наконец, даже взяли ружья и проливали кровь свою за то, чтобы не погибло то самое учреждение, которое их принижало. В этом прискорбном историческом событии единственной искупающей чертой было то, что втайне «белые бедняки» ненавидели рабовладельцев и чувствовали, что покрыли себя позором. Это чувство никак внешне не проявило себя, но существовало и при благоприятных обстоятельствах могло проявиться; а это уже немало, так как доказывает, что в глубине души человек остается человеком, даже когда внешне это ни в чем не проявляется.

Как выяснилось, наш угольщик был родным братом тех южных «белых бедняков» отдаленного будущего. Король, наконец, стал выказывать нетерпение и сказал:

— Если вы будете болтать здесь весь день, правосудие пострадает. Вы думаете, преступники так и будут сидеть в доме своего отца? Они убегут, они ждать не станут. Вы должны добиться, чтобы по их следу направили всадников.

Женщина заметно побледнела, а у ее мужа вид был растерянный и нерешительный.

Я сказал:

— Пойдем, друг, я провожу тебя и покажу тебе, в каком направлении они могли удрать. Если бы они обвинялись в уклонении от платежа податей или в каком-нибудь другом пустяке, я постарался бы их защитить, но убийство знатного человека и поджог его дома — дело другое.

Последнее было сказано для короля, чтобы успокоить его. По дороге угольщик взял себя в руки и зашагал увереннее, но особого усердия я в нем не заметил. Как бы невзначай, я спросил:

— Эти люди твои родственники?

Он так побледнел, что бледность стала заметна даже сквозь слой угольной пыли, покрывавшей его лицо, и остановился дрожа.

— О боже, как ты об этом узнал?

— Я ничего не знаю. Я случайно догадался.

— Бедные мальчики, они пропали! А какие славные мальчики!

— Ты и вправду собираешься донести на них?

Он не знал, как отнестись к моему вопросу, и нерешительно ответил:

— Д-да.

— Значит, ты просто негодяй!

Он так обрадовался, словно я назвал его ангелом.

— Повтори свои добрые слова, брат! Ты действительно хочешь сказать, что не выдашь меня, если я не исполню свой долг?

— Долг? У тебя есть один долг — молчать и дать этим людям уйти подальше. Они совершили справедливое дело.

Он был доволен; доволен, хотя и встревожен. Он поглядел по сторонам и, убедившись, что мы одни, сказал вполголоса:

— Из какой страны ты пришел, брат, что говоришь такие опасные слова и не боишься?

— Эти слова несколько не опасны, когда я говорю их человеку одного со мною сословия. Ведь ты никому не скажешь, что слышал от меня эти слова?

— Я? Скорее меня разорвут на части дикие кони!

— Тогда дай мне сказать то, что я думаю. Я не боюсь повторить свои слова. Дьявольское дело совершили вы вчера, повесив невинных. Старый барон получил по заслугам. Будь моя воля, всех таких, как он, постигла бы та же участь.

Выражение страха и подавленности сошло с лица моего спутника, он оживился, в глазах его блеснула отвага.

— Если даже ты шпион и слова твои только ловушка, в них такая отрада, что, ради того чтобы слушать их снова и снова, я готов пойти на виселицу: такие речи — пир для голодного. Дай теперь мне сказать и донеси на меня, если ты доносчик. Я помогал вешать своих соседей потому, что я бы погиб, если бы не проявил усердия в защите моего господина; все остальные помогали по той же причине. Все рады сегодня, что он мертв, но все притворяются опечаленными и проливают лживые слезы, чтобы обезопасить себя. Я сказал. Никогда еще слова не оставляли у меня во рту такого приятного вкуса, и в этом моя награда. Веди меня теперь куда хочешь, хоть на эшафот, — я готов.

Вот видите. Человек всегда остается человеком. Века притеснений я гнета не могут вытравить в нем человека. Тот, кто полагает, что это ошибка, сам ошибается. Да, любой народ таит в себе достаточно сил, чтобы создать республику, даже такой угнетенный народ, как русский, и такой робкий и нерешительный, как немецкий; выведите его из состояния покоя, и он затопчет в грязь любой трон и любую знать. Мы еще увидим многое, будем же надеяться и верить. Сперва смягченная монархия, до конца жизни Артура, потом разрушение трона и упразднение дворянства, дворянам придется заняться полезными ремеслами. Потом введение всеобщего избирательного права и передача власти навеки в руки мужчин и женщин, составляющих народ. Да, у меня пока еще нет причин отказываться от своей мечты.

31. Марко

Мы гуляли с угольщиком Марко, непринужденно болтая. Нам нужно было потратить столько времени, сколько требовалось для того, чтобы сходить в маленькую деревушку Аббласур, направить правосудие на след убийц и вернуться домой. Пока мы гуляли, я предавался развлечению, которое, с тех пор как я очутился в королевстве Артура, не утратило для меня новизны, — наблюдать, как случайные прохожие приветствуют друг друга при встрече. Бритому монаху, по жирным щекам которого струился пот, угольщик отвешивал почтительный низкий поклон; дворянину кланялся он раболепно; с мелкими фермерами и свободными ремесленниками был он сердечен и болтлив; а когда, почтительно склонившись, мимо проходил раб, угольщик даже не видел его, — так высоко он задирает свой нос. Право, иногда хочется повесить весь род человеческий, чтобы положить конец этой комедии.

Внезапно мы наткнулись на любопытное происшествие. Из леса выскочила нам навстречу кучка полуголых мальчишек и девчонок, перепуганных и кричащих. Старшему из них было не больше двенадцати или четырнадцати лет. Они умоляли о помощи, но были так взволнованы, что мы не могли понять, что случилось. Мы кинулись в лес, дети бежали впереди, указывая путь, и скоро нам все стало ясно: они повесили своего товарища на веревке из березовой коры, а он бился, стараясь вырваться, и все туже затягивал петлю, так что чуть не задохся. Мы освободили его и привели в чувство. Еще одна черта человеческой природы — дети во всем подражают взрослым: они играли в толпу, и притом так старались, что последствия могли быть гораздо серьезнее, чем они рассчитывали.

Мне не пришлось скучать во время этой прогулки, не зря я потратил несколько часов. Я со многими познакомился и, как человек пришлый, мог спрашивать обо всем, что меня интересовало. Как государственного деятеля, меня, естественно, прежде всего интересовал вопрос заработной платы. И я узнал о заработной плате все, что можно было узнать за такой короткий срок. Человек неопытный и не любящий размышлять обычно склонен измерять благосостояние или нужду того или иного народа размером средней заработной платы: если заработная плата высока, значит народ процветает; если низка, значит народ бедствует. А между тем это неверно. Важна не та сумма, которую вы получаете, а то, что вы можете на нее приобрести; и только этим определяется, высока или низка ваша заработная плата в действительности. Я вспоминаю, как обстояло дело с заработной платой во время нашей великой гражданской войны в середине девятнадцатого века. На Севере плотник получал три доллара в день в золотом исчислении; на Юге он получал пятьдесят, которые ему выплачивали бумажонками Конфедерации ценой один доллар за бушель. На Севере рабочая спецовка стоила три доллара — заработная плата одного дня; на Юге она стоила семьдесят пять — заработная плата двух дней. В таком же соотношении находились цены и всех других предметов. Следовательно, заработная плата на Севере была вдвое выше, чем на Юге, потому что вдвое выше была ее покупательная способность.

Да, в деревушке я со многим познакомился. Меня очень порадовало, что здесь уже была в ходу наша новая монета — множество мильрейсов, множество миллей, множество центов, очень много никеля и много серебра — и у ремесленников и у крестьян; было и золото, но только, так сказать, в банке, то есть у ювелира. Я зашел к нему, пока угольщик Марко, сын Марко, торговался с лавочником из-за четверти фунта соли, и попросил разменять двадцатидолларовую золотую монету. Ее мне разменяли, попробовав ее предварительно на зуб, и позвенев ею о конторку, и испытав ее кислотой, и спросив меня, где я ее достал, и кто я такой, и откуда я иду, и куда я направляюсь, и когда я собираюсь туда прибыть, и задав мне еще сотни

две вопросов. Ответив на них, я по собственной воле сообщил им еще множество сведений: я сказал им, что у меня есть собака, которую зовут Сторож, что моя первая жена была баптистка, а ее дедушка стоял за запрещение спиртных напитков, и что я знавал человека, у которого было по два больших пальца на каждой руке и бородавка на внутренней стороне верхней губы и который умер в надежде на славное воскресение, и т. д., и т. д. Наконец мой любопытный деревенский банкир почувствовал себя удовлетворенным и даже несколько приуныл; он, конечно, вынужден был относиться с уважением к столь богатому человеку, как я, и не посмел на меня рассердиться, но я заметил, что он сорвал свое раздражение на своих подчиненных, что вполне естественно. Да, они разменяли мне мою двадцатку, но мне показалось, что для банка это было не легко, как не легко было бы разменять двухтысячедолларовый кредитный билет в лавке какой-нибудь бедной деревушки девятнадцатого века. Хозяин лавки, конечно, разменял бы такой кредитный билет, но он удивился бы тому, что мелкий фермер носит при себе столько денег; вот так, по-видимому, удивлен был и этот ювелир; он проводил меня до дверей и долго смотрел мне вслед с почтительным изумлением.

Наши монеты не только были уже повсюду в ходу, но даже к новым их названиям привыкли настолько, что стали забывать старые. Только и было слышно: эта вещь стоит столько-то долларов, или центов, или миллей, или мильрейсов. Это было очень приятно. Мы несомненно шли к прогрессу.

Я познакомился со многими ремесленниками, но самым интересным из них был кузнец Даули. Это был человек живой, большой говорун; он держал двух помощников и трех учеников и все-таки еле справлялся — так много было у него работы. Конечно, он богател со дня на день и пользовался общим уважением. Марко гордился дружбой с таким человеком. Он привел меня к нему якобы для того, чтобы показать мне мощное предприятие, которое приобретает у него столько угля, но в действительности для того, чтобы я увидел, на какой он короткой ноге с таким великим человеком. Мы с Даули сразу сошлись; у меня на оружейном заводе «Кольт» работало немало таких же славных молодцов; я пригласил его прийти в воскресенье к Марко пообедать с нами. У Марко даже дух захватило; и когда богач принял приглашение, он на радостях даже забыл подивиться такой снисходительности.

Марко ликовал — но недолго; он задумался и опечалился; а когда услышал, как я сказал Даули, что собираюсь пригласить каменщика Диккона и колесника Смуга, угольная пыль у него на лице превратилась в мел, и он совсем пал духом. Но я знал, что причина его огорчения — предстоящие расходы; он видел себя уже разоренным, он считал, что состоянию его пришел конец. И, направляясь приглашать других, я сказал:

— Позволь мне пригласить моих друзей, а расходы я беру на себя.

Лицо его прояснилось, и он пылко сказал:

— Но не все расходы, не все. Тебе одному они будут не под силу.

Я перебил его:

— Пойми меня хорошенько, старый друг. Я всего только управляющий фермой, это правда, но я вовсе не беден. Мне очень повезло в этом году, — ты удивился бы, если бы знал, сколько я заработал. Поверь, я могу оплатить дюжину таких обедов, не заботясь о расходах ни вот столько! — и я щелкнул пальцами; я чувствовал, что с каждым словом расту в глазах Марко, а когда выговорил последнюю фразу, то стал высок, как башня. — Так уж позволь мне сделать по-своему. Ты не истратишь ни цента на весь этот пир, это решено.

— Ты великодушен и добр...

— Нисколько. Это ты великодушно раскрыл двери своего дома передо мной и перед Джонсом, — Джонс сам сказал мне об этом; тебе он, конечно, этого не скажет, потому что Джонс неразговорчив и смущается в обществе, но сердце у него доброе, благодарное, и он умеет

ценить хорошее к себе отношение, — да, ты и твоя жена приняли нас очень гостеприимно...

— Ах, брат, такое гостеприимство немного стоит!

— Оно стоит многого; когда человек отдает лучшее, что у него есть, это всегда многого стоит. Больше дать не может и принц, потому что и принц может дать только лучшее, что у него есть. Теперь мы пойдем по лавкам и кое-что купим, и пусть мои расходы тебя не беспокоят. Я такой мот, какого свет не видал. Знаешь, сколько я трачу иногда за одну неделю... Нет, не стоит и говорить, ты все равно не поверишь.

Так мы бродили по деревне из лавки в лавку, прицениваясь, болтая с лавочниками про вчерашние события, — нам о них напоминали ежеминутно попадавшиеся на глаза плачущие и запуганные дети, дома которых были отобраны, а родители убиты или повешены. Одежда Марко и его жены была сшита из холста и сермяги и напоминала географическую карту, склеенную из отдельных кусочков; за пять-шесть лет от первоначальной ткани не осталось и куска шириной в ладонь. Мне хотелось подарить им новую одежду, чтобы они не ударили в грязь лицом перед гостями, но я не знал, как поделикатнее приступить к делу, пока мне не пришлось в голову подкрепить свою выдумку о признательности короля вещественными доказательствами. И я сказал:

— Тебе, Марко, придется позволить мне еще кое-что... из любезности к Джонсу... ведь не захочешь же ты его обидеть... Ему очень хотелось бы выразить тебе свою благодарность, но он такой застенчивый, что не умеет сделать это сам. Он попросил меня купить за его счет кое-какую мелочь для тебя и госпожи Филлис, но так, чтобы вы не знали, от кого эти подарки... Он человек щепетильный, и ему было бы неловко... Я, конечно, обещал ему держать все в секрете от вас, и ты, пожалуйста, не выдай меня. Он считает, что самое лучшее было бы купить вам новую одежду...

— О, это слишком! Не надо, брат, не надо. Подумай, сколько это будет стоить!..

— Да черт с ним, пусть стоит! Помолчи минутку, ты слишком много разговариваешь, ты никому слова не даешь сказать, это не принято. Тебе нужно лечиться от болтливости, Марко, и если ты не научишься сдерживаться, болтливость тебя совсем одолеет. Мы зайдем сюда и приценимся вот к этой материи... Не забудь только — Джонс не должен догадываться, что тебе все известно. Ты и представить себе не можешь, как забавно он щепетилен и горд. Он фермер, зажиточный фермер, а я его управляющий: но что за воображение у этого человека! Иногда он забывается и болтает такое, что можно подумать, будто он соль земли; ты можешь слушать его сто лет и никогда не догадаешься, что он фермер, особенно если он заговорит о сельском хозяйстве. Он считает себя лучшим знатоком сельского хозяйства на всем свете; но — между нами — он столько же понимает в сельском хозяйстве, сколько в управлении королевством. Однако, когда он говорит, нужно молчать и слушать разинув рот, с таким видом, будто ты никогда за всю свою жизнь столь мудрых речей не слышал и боишься пропустить хоть словечко. Вот это Джонсу понравится.

Марко захохотал, услышав о таком чуде, и был теперь хорошо подготовлен к любым неожиданностям. А я знал по опыту, что, странствуя с королем, который выдает себя за кого-то другого и поминутно забывает, за кого именно, нужно быть как можно предусмотрительнее.

Наконец мы дошли до лучшей лавки в селении; в ней было всего понемногу — от молотков и мануфактуры до рыбы и поддельных драгоценностей. Я решил купить все, что мне было нужно, здесь и никуда больше не ходить. Прежде всего я избавился от Марко, отправив его пригласить каменщика и колесника, и тем расчистил себе поле деятельности, — ибо я никогда ничего не делаю тихо: если в деле нет театральности, я теряю к нему всякий интерес. Я беспечно кинул деньги на прилавок, чтобы заставить лавочника уважать меня, а затем написал список необходимых мне вещей и протянул его лавочнику, чтобы посмотреть, умеет ли он

читать. Оказывается, он умел и был рад случаю показать это. Он сказал мне, что учился у священника и умеет и читать и писать. Пробежав список, он с удовольствием заметил, что итог выходит изрядный. Да так оно и было, особенно для такой мелкой лавочки; я покупал не только провизию, но и многое другое. Все это я приказал доставить в тележке на дом к Марко, сыну Марко, в субботу вечером, а в воскресенье в обеденный час прислать мне счет. Он сказал, что я могу быть совершенно спокоен, так как точность и аккуратность — закон его фирмы, и прибавил, что пришлет для Марко пару кошельков-пистолетов^[34] даром, — их теперь все употребляют. Он был высокого мнения об этом мудром изобретении. Я сказал:

— Наполните их до половины и припишите к счету.

Он согласился с удовольствием; тут же наполнил их, и я захватил их с собой. Я не мог ему сказать, что кошелек-пистолет — мое собственное изобретение и что я официально приказал всем лавочникам в королевстве иметь их под рукой и продавать по казенной цене, то есть за пустяк, который шел лавочнику, а не казне. Мы поставляли их бесплатно.

Вернулись мы вечером, и король не заметил нашего прихода. Он рано погрузился в сны о грандиозном вторжении в Галлию со всей армией своего королевства, и вторая половина дня прошла для него незаметно.

32. Посрамление Даули

Когда в субботу на закате прибыл весь этот груз, мне нелегко было помещать Марко и его жене упасть в обморок. Они были уверены, что мы с Джонсом разорены, и проклинали себя за содействие нашему банкротству. Помимо провизии для обеда, которая тоже обошлась мне в довольно крупную сумму, я купил еще многое, что могло пригодиться нашим хозяевам в будущем: например, мешок пшеницы, — белый хлеб такое же редкое лакомство за столом людей их класса, как сливочное мороженое за столом отшельника; затем большой обеденный стол; затем два фунта соли — тоже роскошь в глазах наших хозяев; затем посуду, табуретки, одежду, небольшой бочонок пива и так далее. Я попросил Марко и его жену никому не говорить обо всем этом великолепии, чтобы удивить гостей и пустить им пыль в глаза. Увидав новые одежды, эти простодушные супруги были рады, как дети; они не спали всю ночь, дожидаясь рассвета, чтобы надеть их, и облачились в них за час до восхода солнца. Тут их восторг дошел до таких пределов, что вознаградил меня за мой прерванный сон. Король спал, как всегда, словно мертвый. Марко с женой не могли поблагодарить его за одежду, так как я им это запретил, но пытались всячески показать ему, как они благодарны, однако все впустую: он ничего не заметил.

Июньский день выдался на редкость ясный и теплый, на дворе был просто рай, в комнаты не хотелось заходить. Гости явились к полудню; мы собрались под большим деревом и скоро разговорились, как старые приятели. Даже король оттаял немного, хотя сначала ему нелегко было привыкнуть, что его называют просто Джонсом. Я просил его не забывать, что он фермер, но вместе с тем просил его не вдаваться в подробности, а довольствоваться простым утверждением этого факта, — ибо он был из тех людей, которые все испортят, если их не предупредишь, так как язык он имел гибкий, ум деятельный, а сведения обо всем самые туманные.

Даули был разодет, как павлин. Мне без труда удалось заставить его разговориться и рассказать свою историю; было приятно сидеть под деревом и слушать его болтовню. Он сам выковал свое счастье. А такие люди умеют порассказать; они заслуживают уважения и настойчиво его требуют. Он рассказал, как вступил в жизнь сиротой, без денег и без друзей; как он жил хуже, чем живут рабы у иного хозяина; как он работал ежедневно по шестнадцати, по восемнадцати часов и питался одним черным хлебом, да и то впроголодь; как его усердие привлекло, наконец, внимание доброго кузнеца, который чуть не свалил его с ног великодушным предложением взять его к себе в ученики на девять лет, на готовых харчах и одежде, и научить ремеслу — или «секрету», как выразился Даули. Это было первое его возвышение, первая блистательная удача; и он до сих пор говорил о ней с восторгом и не переставал удивляться, что такое необычайное счастье могло выпасть на долю обыкновеннейшего человека. За все время своего ученичества он ни разу не получил новой одежды, но в тот день, когда ученичество кончилось, его хозяин подарил ему новое одеяние из сермяги, в котором он чувствовал себя несказанно богатым и прекрасным.

— Я помню этот день! — восторженно воскликнул колесник.

— И я тоже! — вскричал каменщик. — Я тогда не поверил, что это твоя одежда. Честное слово, не поверил!

— Никто не верил! — крикнул Даули, и глаза его засверкали. — Я из себя выходил, убеждая соседей, что одежда эта не краденая. То был великий день, великий день! Такие дни не забываются.

Да, его хозяин был прекрасный человек. Дела его процветали так, что он дважды в год до

отвалу наедаться мясом и белым хлебом — настоящим пшеничным хлебом; по правде говоря, он жил, как лорд. Со временем Даули унаследовал его предприятие и женился на его дочери.

— А теперь посмотрите, как все изменилось, — сказал он внушительно. — Два раза в месяц я ем свежее мясо. — Он помолчал, чтобы слушатели имели возможность понять все значение этих слов. — И восемь раз в месяц — солонину.

— Это правда, — подтвердил колесник, затаив дыхание.

— Я это сам видел, — почтительно подтвердил каменщик.

— А белый хлеб у меня на столе каждое воскресенье, круглый год, — торжественно добавил кузнец. — Скажите по совести, друзья, разве это не правда?

— Клянусь головой, правда! — вскричал каменщик.

— Я это подтверждаю, — сказал колесник.

— Скажите сами, какая у меня в доме мебель! — Даули широко раздвинул руки, как бы предоставляя каждому полную свободу слова. — Говорите все, что хотите. Говорите так, словно меня здесь нет.

— У тебя пять табуреток, и притом прекрасной работы, хотя твоя семья состоит из трех человек, — сказал колесник с глубоким уважением.

— А для еды и питья у тебя шесть деревянных кубков, и шесть деревянных тарелок и две оловянные, — торжественно сказал каменщик. — Я говорю это по чистой совести, зная, что буду отвечать перед богом на страшном суде за каждое лживое слово.

— Ну, теперь ты знаешь, что я за человек, брат Джонс, — сказал кузнец с благородной и дружественной снисходительностью, — и, разумеется, думаешь, что такой человек требует к себе уважения и не станет якшаться с незнакомыми людьми, пока не узнает, кто они такие? Но ты не беспокойся: знай, что я готов принять каждого как равного и друга, какое бы скромное ни занимал он положение в этом мире, лишь бы он был хороший человек. И в подтверждение моих слов вот тебе моя рука; я сам заявляю, что мы с тобой равны, совершенно равны, — и он улыбнулся всем самодовольной улыбкой бога, который совершил благородный и прекрасный поступок и отлично понимает это.

Король принял протянутую руку с плохо скрытым неудовольствием и сейчас же выпустил ее, как дама выпускает из рук скользкую рыбу; все это произвело отличное впечатление, ибо ошибочно было принято за естественное смущение человека, ослепленного блеском величия.

Угольщица вынесла стол и поставила его под деревом. Это, видимо, изумило гостей, так как стол был новый и хорошо сделанный. Но изумление еще больше возросло, когда госпожа Филлис, стараясь принять самый равнодушный вид, но с сияющими тщеславием глазами, не спеша развернула ослепительно белую скатерть и покрыла ею стол. Скатерти не было даже у кузнеца, при всем великолепии его дома, и видно было, что он сильно задет. Зато Марко чувствовал себя, как в раю; и это тоже было заметно. Филлис вынесла два прекрасных новых табурета и — о! — это произвело сенсацию; гости были потрясены. Потом она вынесла еще два, стараясь сохранить полное спокойствие. Новая сенсация, благоговейный шепот. Потом еще два; гордость так переполнила ее, что казалось, будто она движется по воздуху. Гости были потрясены, и каменщик пробормотал:

— Перед такой роскошью невольно благоговеешь.

Как только госпожа Филлис повернулась, чтобы идти обратно в дом, Марко, чувствуя, что надо ковать железо, пока горячо, сказал ей, стараясь говорить спокойно и сдержанно, хотя это не очень ему удавалось:

— Достаточно, остальные приносить не надо.

Остальные! Значит, это еще не все! Эффект был необычайный. Я и сам не мог бы добиться лучшего.

Затем пошли сюрпризы за сюрпризами, подогревшие общее изумление до ста пятидесяти градусов в теин, но парализовавшие внешние его проявления, которые свелись к охам и ахам и безмолвному возведению к небу рук и очей. Она принесла посуду, совершенно новенькую, новые деревянные чашки и прочие столовые принадлежности; подала пиво, рыбу, цыплят, гуся, яйца, жареную говядину, жареную баранину, ветчину, зажаренного поросенка и грудку белого пшеничного хлеба. Никто из них за всю жизнь не видал подобного великолепия. Пока они сидели, оступевшие от изумления, я как бы случайно взмахнул рукой, и передо мной, как из-под земли, возник сын лавочника и заявил, что он пришел за деньгами.

— Хорошо, — сказал я равнодушно. — Сколько там всего? Подведи итог.

Он стал вслух читать счет, и потрясенные гости слушали, и волны удовлетворения заливали мою душу, и волны то ужаса, то восторга заливали душу Марко:

2 фунта соли	200 миллей
8 дюжин пинт пива в деревянном бочонке	800 «»
3 бушеля пшеницы	2700 «»
2 фунта рыбы	100 «»
3 курицы	400 «»
1 гусь	400 «»
3 дюжины яиц	150 «»
1 кусок жареной говядины	450 «»
1 кусок жареной баранины	400 «»
1 окорок ветчины	800 «»
1 молочной поросенок	500 «»
2 обеденных сервиза	6000 «»
2 смены мужской одежды и белья	2800 «»
1 юбка и 1 кофта шерстяная и женское белье ...	1600 «»
8 деревянных чашек	800 «»
Разная столовая утварь	10000 «»
1 стол	3000 «»
8 табуреток	4000 «»
2 кошелька-пистолета, заряженных	3000 «»

Он умолк. Наступила зловещая тишина. Никто не смел шевельнуться. Никто не смелдохнуть.

— Это все? — спросил я, и голос мой был совершенно спокоен.

— Все, прекрасный сэръ, только некоторые мелочи я отнес в графу «разная утварь». Если угодно, я могу их выде...

— Это лишнее, — сказал я, сопровождая свои слова жестом полного безразличия. — Скажи общий итог, пожалуйста.

Приказчик прислонился к дереву, чтобы удержаться на ногах, и сказал:

— Тридцать девять тысяч сто пятьдесят мильрейсов!^[35]

Колесник свалился со стула, остальные ухватились за стол, чтобы не упасть, и хором воскликнули:

— Господи, не покинь нас в день бедствия!

Приказчик поспешил сказать:

— Отец поручил передать вам, что совесть не позволяет ему требовать, чтобы вы уплатили все сразу, и он только просит вас...

Я обратил на его слова так мало внимания, словно это был ветер, с видом полнейшего равнодушия достал деньги и кинул на стол четыре доллара. Надо было видеть, как все уставились на эти монеты!

Приказчик был изумлен и очарован. Он попросил меня оставить в залог один доллар, пока он сходит в город за...

Я перебил:

— За девятью центами сдачи? Вздор! Сдачу возьми себе.

Это вызвало изумленный шепот:

— Он набит деньгами! Он швыряет деньги, словно грязь.

Кузнец совсем погиб.

Приказчик схватил деньги и убежал, пьяный от счастья. Я сказал Марко и его жене:

— Добрые люди, вот вам небольшой подарок, — и протянул им кошельки-пистолеты с таким видом, будто это сущий пустяк, хотя в каждом из них, как в копилке, находилось по пятнадцати центов; и пока эти бедняки рассыпались в благодарностях, я повернулся к остальным и сказал так спокойно, словно спрашивал, который час: — Что ж, если вы готовы, обед, я думаю, тоже готов. Приступим.

Все это получилось действительно великолепно. Никогда еще не удавалось мне произвести больший эффект, выгоднее использовать имевшиеся под рукой материалы. Кузнец, тот был просто уничтожен. Ни за что не хотел бы я очутиться на месте этого человека! А он-то хвастал, что дважды в год объедается мясом, и ест свежую рыбу два раза в месяц, и каждое воскресенье ест солонину, имея семью из трех человек. Все это обходилось ему в год не дороже 69.2.6 (шестидесяти девяти центов, двух миллей и шести мильрейсов). И вдруг является человек, который швыряет на стол четыре доллара зараз, да еще с таким видом, будто ему скучно возиться со столь мелкими суммами. Да, Даули увял, съежился, свернулся, словно воздушный шарик, на который наступила корова.

33. Политическая экономия шестого века

Однако я взялся за кузнеца всерьез, и не прошла еще и первая треть обеда, как он снова был счастлив. Осчастливить его было нетрудно в стране рангов и каст. Видите ли, в стране, где есть ранги и касты, человек никогда не бывает вполне человеком, он всегда только часть человека. Стоит вам доказать ему, что вы выше его — чином, рангом, богатством, — и все кончено, он поникает перед вами. После этого вы не можете его даже оскорбить. Нет, я не то хотел сказать; конечно, оскорбить его вы можете, но с большим трудом, и если у вас мало свободного времени, лучше и не пытайтесь. Уважение кузнеца я уже приобрел, потому что он считал меня человеком необычайного богатства; если бы я к тому же мог похвастать каким-нибудь завалющим дворянством, он боготворил бы меня. И не только он, но и любой простолудин, даже если бы по уму, достоинству и характеру он был величайшим человеком всех времен, а я полнейшим ничтожеством. Так это было и так это останется, пока будет существовать Англия. Обладая даром пророчества, я прозревал грядущее и видел, как она воздвигает статуи и памятники своим ничтожнейшим Георгам и прочим манекенам королевской и дворянской крови и хоронит без почестей первых — после бога — творцов этого мира: Гутенберга, Уатта, Аркрайта, Уитни, Морзе, Стефенсона, Белла.

Между тем король как следует нагрузился, и, так как разговор шел не о битвах, победах и поединках, на него напала сонливость, и он ушел всхрапнуть. Миссис Марко убрала со стола, поставила возле нас бочонок с пивом и ушла, чтобы где-нибудь в уединении пообедать тем, что осталось после нас, а мы заговорили о том, что ближе всего сердцам людей нашего склада, — о делах и заработках конечно. На первый взгляд казалось, что дела здесь идут прекрасно, в этом маленьком вассальном королевстве, где правил король Багдемагус, — прекрасно по сравнению с тем, как идут они в том краю, где правил я. Здесь процветала система протекционизма, в то время как мы мало-помалу двигались к свободной торговле и прошли уже в этом направлении около половины пути. Разговаривали только Даули и я, остальные жадно слушали. Даули, разгорячась и чувствуя преимущество на своей стороне, стал задавать мне вопросы, которые, по его мнению, должны были меня сокрушить и на которые действительно не легко было ответить:

— А какое жалованье, брат, получает в твоей стране управляющий, дворецкий, конюх, пастух, свинопас?

— Двадцать пять мильрейсов в день; иначе говоря, четверть цента.

Лицо кузнеца засияло от удовольствия. Он сказал:

— У нас они получают вдвое! А сколько зарабатывают ремесленники — плотник, каменщик, маляр, кузнец?

— В среднем пятьдесят мильрейсов; полцента в день.

— Хо-хо! У нас они зарабатывают сто! У нас хороший ремесленник всегда может заработать цент в день! Я не говорю о портных, но остальные всегда могут заработать цент в день, а в хорошие времена и больше — до ста десяти и даже до ста пятнадцати мильрейсов в день. Я сам в течение всей прошлой недели платил по сто пятнадцати. Да здравствует протекционизм, долой свободу торговли!

Его лицо сияло, как солнце. Но я не сдался. Я только взял свой молот для забивания свай и в течение пятнадцати минут вбивал кузнеца в землю, да так, что он весь туда ушел, даже макушка не торчала. Вот как я начал.

Я спросил:

— Сколько вы платите за фунт соли?

— Сто мильрейсов.

— Мы платим сорок. Сколько вы платите за баранину и говядину в те дни, когда едите мясо?

Намек попал в цель: кузнец покраснел.

— Цена меняется, но незначительно; скажем, семьдесят пять мильрейсов за фунт.

— Мы платим тридцать три. Сколько вы платите за яйца?

— Пятьдесят мильрейсов за дюжину.

— Мы платим двадцать. Сколько вы платите за пиво?

— Пинта стоит восемь с половиной мильрейсов.

— Мы платим четыре; двадцать пять бутылок на цент. Сколько вы платите за пшеницу?

— Бушель стоит девятьсот мильрейсов.

— Мы платим четыреста. Сколько у вас стоит мужская куртка из сермяги?

— Тринадцать центов.

— А у нас шесть. А платье для жены рабочего или ремесленника?

— Мы платим восемь центов четыре милля.

— Вот, обрати внимание на разницу: вы платите за него восемь центов и четыре милля, а мы всего четыре цента.

Я решил, что пора нанести удар. Я сказал:

— Теперь погляди, дорогой друг, *чего стоят ваши большие заработки, которыми ты хвастался минуту назад*. — И я со спокойным удовлетворением обвел всех глазами, сознавая, что связал противника по рукам и ногам, да так, что он этого даже не заметил. — Вот что стало с вашими прославленными высокими заработками. Теперь ты видишь, что все они дутые.

Не знаю, поверите ли вы мне, но он только удивился, не больше! Он ничего не понял, не заметил, что ему расставили ловушку, что он сидит в западне. Я готов был убить его, так я рассердился. Глядя на меня затуманенным взором и тяжело ворочая мозгами, он возражал мне:

— Ничего я не вижу. Ведь доказано, что наши заработки вдвое выше ваших. Как же ты можешь утверждать, что они дутые, если я правильно произношу это диковинное слово, которое господь привел меня услышать впервые?

Признаться, я был ошеломлен: отчасти его непредвиденной глупостью, отчасти тем, что все явно разделяли его убеждения, — если это можно назвать убеждениями. Моя точка зрения была предельно проста, предельно ясна; как сделать ее еще проще? Однако я должен попытаться.

— Неужели ты не понимаешь, Даули? У вас только *по названию* заработки выше, чем у нас, а не *на самом деле*.

— Послушайте, что он говорит! У нас заработная плата выше вдвое, — ты сам это признал.

— Да, да, не отрицаю. Но это ровно ничего не означает; число монет само по себе ничего означать не может. Сколько вы в состоянии купить на ваш заработок — вот что важно. Несмотря на то, что у вас хороший ремесленник зарабатывает около трех с половиной долларов в год, а у нас только около доллара и семидесяти пяти...

— Ага! Ты опять признал! Опять признал!

— Да к черту, я же никогда и не отрицал! Я говорю о другом. У нас на *полдоллара* можно купить больше, чем на целый *доллар* у вас, — и, следовательно, если считаться со здравым смыслом, то надо признать, что у нас заработная плата *выше*, чем у вас.

Он был ошарашен и сказал, отчаявшись:

— Честное слово, я не понимаю. Ты только что *признал*, что у нас заработки выше, и, не успев закрыть рта, взял свои слова обратно.

— Неужели, черт возьми, в твою голову нельзя вбить такую простую вещь? Давай я объясню тебе на примере. Мы платим четыре цента за женское шерстяное платье, вы за такое же платье платите восемь центов четыре милля, то есть на четыре милля больше, чем вдвое. А

сколько у вас получает батрачка на ферме?

— Два милля в день.

— Хорошо; у нас она получает вдвое меньше: мы платим ей только одну десятую цента в день; и...

— Опять ты признал...

— Подожди! Все очень просто, на этот раз ты поймешь. Чтобы купить себе шерстяное платье, ваша женщина, получающая два милля в день, должна проработать сорок два дня — ровно семь недель, а наша заработает шерстяное платье за сорок дней, то есть за семь недель без двух дней. Ваша женщина купила платье — и весь ее семинедельный заработок истрачен; наша купила платье — и у нее остался двухдневный заработок, чтобы купить что-нибудь еще. Ну, теперь ты понял?

Кажется, он слегка заколебался — вот все, чего я достиг; остальные заколебались тоже. Я умолк, чтобы дать им подумать. Наконец Даули заговорил, — и стало ясно, что он все еще не может избавиться от своих укоренившихся привычных заблуждений. Он нерешительно произнес:

— Однако... все-таки... не можешь же ты отрицать, что два милля в день больше, чем один. Дурачье! Но сдаться я не мог. Авось я добьюсь своего другим путем.

— Предположим такой случай. Один из ваших подмастерьев покупает себе следующие товары:

Один фунт соли;

одну дюжину яиц;

одну дюжину пинт пива;

один бушель пшеницы;

одну сермяжную рубаху;

пять фунтов говядины;

пять фунтов баранины.

Все это обойдется ему в тридцать два цента. Ему придется проработать тридцать два дня, чтобы заработать эти деньги, — пять недель и два дня. Пусть он придет к нам и проработает тридцать два дня на *половинной* заработной плате; он сможет купить все эти вещи за четырнадцать с половиной центов; она обойдутся ему в двадцать девять дней работы, и он сбережет почти полунедельный заработок. Высчитай, сколько это получится за год? Он будет сберегать почти недельный заработок каждые два месяца, а у вас он не сбережет ничего; за год у нас он сберег бы заработок пяти или шести недель, а у вас ничего. *Теперь*, я уверен, тебе ясно, что «высокие заработки» и «низкие заработки» — только слова, которые ничего не значат, пока ты не знаешь, сколько на эти заработки можно купить!

Это был сокрушительный удар. Но, увы, он никого не сокрушил! Нет, я вынужден был сдаться! Эти люди ценили *высокие заработки*; им, казалось, было не важно, можно ли что-нибудь купить на эти высокие заработки, или нельзя. Они стояли за протекционизм, они молились на него, что было вполне понятно, потому что заинтересованные круги дурачили их, уверяя, будто протекционизм создал им высокие заработки. Я доказал, что за четверть столетия их заработки возросли всего только на тридцать процентов, в то время как цены поднялись на сто; а у нас, за более короткий срок, заработки возросли на сорок процентов, цены же упали. Но это нисколько их не убедило. Их странные взгляды невозможно было изменить.

Итак, я потерпел поражение. Незаслуженное поражение, но все же поражение. И подумать — при каких обстоятельствах! Крупнейший государственный деятель своего века, способнейший человек, самый образованный человек во всем мире, самая умная некоронованная голова на облачном политическом небосклоне за много столетий — побит в

споре с невежественным деревенским кузнецом. Я заметил, что всем стало жалко меня, и так вспыхнул, что почувствовал, как усы мои запахли паленым. Поставьте себя на мое место, вообразите весь тот стыд, который испытывал я, и скажите: разве вы на моем месте не нанесли бы противнику недозволенный удар ниже пояса? Конечно нанесли бы; уж такова человеческая природа. И я нанес. Я не пытаюсь оправдываться, я только говорю, что я был взбешен и что всякий поступил бы так же на моем месте.

Когда я решаю нанести удар, то вовсе не собираюсь ограничиться ласковым щелчком, — нет, я не таков: уж если я бью, так бью на совесть. И я не наскокиваю вдруг, рискуя сорваться на полдороге, нет, я отхожу в сторону и осторожно веду подготовку, так что противнику моему никогда и в голову не придет, что я собираюсь ударить его; потом — мгновение, и он уже лежит на обеих лопатках, сам не зная, как это с ним случилось. Так поступил я с братом Даули. Я заговорил лениво и непринужденно, как будто только для того, чтобы провести время, и величайший мудрец вселенной не догадался бы, к чему я клоню:

— Сколько любопытного, ребята, можно найти в законах и обычаях; да и в развитии человеческих взглядов тоже немало любопытного. Существуют писанные законы — их в конце концов упраздняют; существуют неписанные законы — они вечны. Возьмите, например, неписанный закон о заработной плате; он гласит, что заработная плата с каждым столетием повышается постепенно, но непрерывно. И заметьте, как правильно действует этот закон. Мы знаем, сколько платят за труд в разных местах, и выводим среднюю заработную плату на нынешний год. Мы знаем, сколько платили за труд сто лет назад и сколько платили двести лет назад; дальше в прошлое мы заглянуть не можем, но и этого достаточно, чтобы установить закон постепенного роста оплаты труда; и на основании этого закона, даже не имея под руками документов, можно приблизительно определить, сколько платили за труд триста, четыреста и пятьсот лет назад. Хорошо. И это все? Нет. Мы больше не станем глядеть в прошлое; повернемся и попробуем применить этот закон к будущему. Друзья мои, я могу сказать вам, какова будет заработная плата в будущем, через сотни и сотни лет.

— Что ты говоришь, добрый человек!

— За ближайшие семьсот лет заработки возрастут в шесть раз, и батрак на ферме будет получать по три цента в день, а ремесленники — по шесть.

— Хотел бы я умереть теперь и жить тогда! — перебил меня Смуг, колесник, жадно блестя глазами.

— И притом не на своих, а на хозяйских харчах, — впрочем, на хозяйских харчах, как известно, не разжиреешь. А еще два с половиною века спустя — прошу внимания! — ремесленник будет зарабатывать, — помните, это точный закон, а не выдумка, — ремесленник будет зарабатывать *двадцать* центов в день!

Раздался общий вздох изумления. Каменщик Диккон пробормотал, воздев к небу глаза и руки:

— Трехнедельный заработок за один рабочий день!

— Богачи, ей-богу богачи! — повторял Марко, задыхаясь от возбуждения.

— Заработки будут все расти — мало-помалу, мало-помалу, как растет дерево; и еще через триста сорок лет на свете будет по крайней мере одна страна, в которой заработок ремесленника достигнет *двухсот центов в день*.

Они онемели! Они не дышали в течение целых двух минут. Наконец угольщик сказал:

— Вот бы дожить до этого времени.

— Это доход графа, — сказал Смуг.

— Ты говоришь, графа? — сказал Даули. — Ты мог бы сказать — герцога, и не соврал бы. Во всем королевстве Багдамагуса нет ни одного графа с таким доходом. Доход графа? Нет, это

доход ангела!

— Да, вот как поднимется заработная плата. В те отдаленные времена человек в состоянии будет купить на заработок одной недели столько добра, сколько вам не купить и за пятьдесят недель работы. Будет немало и других удивительных вещей. Брат Даули, кто у вас устанавливает каждую весну, сколько полагается платить ремесленнику, батраку или слуге на весь текущий год?

— Иногда суды, иногда совет города, но чаще всего магистрат. В общем можно сказать, что размеры заработной платы устанавливает магистрат.

— И не просит никого из бедняков-рабочих *помочь* ему определить эти размеры?

— Что за вздорная мысль! Разве ты не понимаешь, что тут заинтересован только хозяин, только человек, который платит деньги.

— Я думаю, что тот, кому платят, тоже немного заинтересован, и даже его жена и несчастные дети. Хозяева — люди знатные, богатые, процветающие. Меньшинство, не работая, определяет, сколько платить большинству, которое работает за всех. Потому что богачи объединились, организовали, так сказать, «профессиональный союз», чтобы принудить своих меньших братьев получать столько, сколько им сочли нужным дать. А через тринадцать веков — так гласит неписанный закон — объединятся сами труженики, и богачи станут скрежетать зубами, возмущаясь тиранией профессиональных союзов! Да, правда, вплоть до девятнадцатого века магистрат будет преспокойно устанавливать цены на труд, но затем трудящийся скажет, что с него довольно тех двух тысячелетий, во время которых этот вопрос решался столь односторонне, и возмутится, и начнет сам устанавливать размеры своего заработка. Да, большой счет предъявит он за все те издевательства и унижения, которых он натерпелся.

— Ты думаешь...

— Что он будет участвовать в определении размеров своего собственного заработка? Конечно. К тому времени он будет и силен и умен.

— Хорошие времена, нечего сказать, — фыркнул богач-кузнец.

— И еще одна подробность. В те времена хозяин будет иметь возможность нанимать рабочих и на неделю, и на месяц, и даже на один день, если это ему удобнее.

— Что?

— Правда. Мало того, магистрат уже не будет иметь права заставить человека работать на одного и того же хозяина целый год подряд, хочет он того или не хочет.

— Разве в те времена не будет ни законов, ни здравого смысла?

— Будут и законы и здравый смысл, Даули. В те времена человек будет принадлежать самому себе, а не магистрату и хозяину. И если заработок покажется ему мал, он может покинуть город и идти в другой, и никто не выставит его за это у позорного столба.

— Проклятие такому веку! — крикнул Даули в сильнейшем негодовании. — Собачий век! Ни почтения к старшим, ни уважения к властям! Позорный столб...

— Погоди, брат, не защищай позорный столб. Я считаю, что позорный столб должен быть отменен.

— Вот странная мысль. Почему?

— Хорошо, я скажу тебе почему. Могут ли человека привязать к позорному столбу за крупное преступление?

— Нет.

— А справедливо ли приговорить человека за незначительное преступление к незначительному наказанию и затем убить его?

Никто не ответил. Это была моя первая победа. Впервые кузнец стал в тупик и не мог мне ответить. Все это заметили. Хорошее впечатление.

— Ты молчишь, брат? Ты только что собирался прославить позорный столб и пожалеть грядущие века, когда его не будет. Я считаю, что позорный столб должен быть отменен. Что обычно происходит, когда какого-нибудь бедняка привязывают к позорному столбу за какой-нибудь пустяк? Толпа потешается над ним, не так ли?

— Да.

— Толпа начинает с того, что швыряет в него комьями земли и хохочет, когда он, стараясь увернуться от одного кома, попадает под удар другого.

— Да.

— А разве в него не швыряют дохлыми кошками?

— Швыряют.

— А теперь предположим, что в толпе находится несколько его личных врагов, обиженных им и затаивших обиду, предположим, что он нелюбим своими соседями за гордость, или за богатство, или еще за что-нибудь, — разве вместо кошек и комьев земли в него не посыплются внезапно камни и кирпичи?

— Несомненно.

— Обычно дело кончается тем, что его искалечат на всю жизнь, не так ли? Переломят челюсть, выбьют зубы, или перешибут ногу так, что она потом загноится и ее придется отрезать, или выбьют глаз, а то и оба глаза.

— Видит бог, что правда.

— А если его не любят, может случиться, что его и убьют.

— Может случиться. Никто не станет это отрицать.

— Я уверен, что вас всех любят, что никто из вас не нажил себе врагов ни гордостью, ни кичливостью, ни богатством, ни чем иным и не вызвал зависти и ненависти у подонков своей деревни. Вы, по-вашему, ничем не рисковали бы, если бы вам пришлось стать у позорного столба?

Даули замигал глазами. Я видел, что он побежден. Но на словах он ничем себя не выдал. Зато другие откровенно и убежденно заявили, что они достаточно насмотрелись на позорные столбы, знают, к чему они ведут, и ни за что не пошли бы на такой ужас, — лучше уж скорая смерть через повешенье.

— Пора переменить тему, ибо, по-моему, я ясно доказал, что позорные столбы должны быть отменены. Многие наши законы несправедливы: например, если я совершил проступок, за который меня должны привязать к позорному столбу, а ты, зная об этом, не донес на меня, тебя самого привяжут к позорному столбу, если кто-нибудь на тебя донесет.

— И по заслугам, — сказал Даули, — ибо ты должен был донести. Так гласит закон.

Остальные поддержали его.

— Хорошо, пусть так, раз все против меня. Но кое-что все-таки бесспорно несправедливо. Предположим, магистрат установил, что заработок ремесленника равен одному центу в день. Закон гласит: если хозяин, хотя бы на один день, хотя бы под давлением деловой необходимости, повысит заработок своего рабочего, он сам должен быть выставлен у позорного столба; и тот, кто, зная об этом, не донесет, тоже должен быть оштрафован и прикован к столбу. Вот это кажется мне несправедливым, Даули, и очень опасным для всех нас, потому что ты сам недавно признался, что в течение целой недели платил по центу и пятнадцати миллей...

Вот это был удар! Я сразу сокрушил их всех. Я подкрался к бедному улыбающемуся, довольному собой Даули так осторожно, и бесшумно, и мягко, что он ничего не подозревал, пока удар не обрушился и не раздавил их.

Эффект получился великолепный. Никогда еще мне не случалось за такой короткий срок добиться столь великолепного эффекта.

Но через мгновение я увидел, что немного пересолил: я собирался нанести им удар, но не собирался убивать их, а они были близки к смерти. Они хорошо знали, что такое позорный столб, и теперь, когда он заглянул им в лицо, когда они почувствовали себя отданными целиком на милость чужого, едва знакомого человека, которому стоит только донести на них, чтобы их постигла эта кара, они были еле живы от страха; они побледнели и тряслись — онемевшие, жалкие. Да что там жалкие — полумертвые от ужаса. Все это вышло очень неприятно. Конечно, я полагал, что они будут просить меня держать язык за зубами, мы пожмем руки, выпьем, посмеемся, и этим все кончится. Но нет; я был чужой человек, а они прожили всю жизнь под жестоким гнетом и приучились никому не доверять, видя, что люди не упускают случая воспользоваться их беспомощностью; они не ждали ни справедливости, ни доброты ни от кого, разве только от родных и близких. Просить меня быть добрым, быть справедливым, быть великодушным? Конечно, им очень этого хотелось бы, но они не решались.

34. Янки и король проданы в рабство

Что же теперь делать? Только не спешить. Нужно изобрести какой-нибудь обходный маневр, чтобы дать себе время подумать, а этим беднякам прийти в себя. Напротив меня сидел Марко, окаменевший в то мгновение, когда он пытался привести в действие свой кошелек-пистолет, и все еще бессознательно сжимавший в руке эту игрушку. Я взял пистолет из рук Марко и предложил раскрыть ему его тайну. Тайна! Какая может быть тайна в таком пустяке? Однако в тот век и в той стране даже здесь была тайна.

Удивительный народ, совершенно не умеющий обращаться с механизмами; да у них и не было никаких механизмов. Кошелек-пистолет представлял собой небольшую двойную трубку из толстого стекла; внутри была пружинка, при нажиме на которую происходил выстрел. Этот выстрел был совершенно безвреден, так как дробинка падала к вам же в руку. Дробинки были разной величины — одни с горчичное зерно, другие значительно больше; они заменяли монеты. Дробинки величиной с горчичное зерно заменяли мильрейсы, а те, что побольше, — милли. Пистолет служил кошельком, и очень удобным кошельком, — с его помощью вы могли расплачиваться в темноте, не боясь ошибиться; вы могли носить его за щекой или в жилетном кармане, — если у вас был жилетный карман. Я изготовил их разных размеров; крупнейший вмещал в себя дробинки на целый доллар. Замена монет дробью была очень выгодна для правительства: металл не стоил ничего, а подделки нечего было опасаться, так как я был единственный человек в королевстве, умевший отливать дробь. Выражение «настрелять денег» скоро пошло в ход и сохранилось даже до девятнадцатого века, хотя никто не подозревает теперь, откуда оно взялось.

Вскоре к нам присоединился и король. Сон освежил его, и он чувствовал себя отлично. Теперь меня легко было взволновать, я нервничал, так как чувствовал, что наша жизнь в опасности; и, подозрительно вглядываясь в глаза короля, я заметил, что он чем-то заряжен и собирается выкинуть какую-то штуку. Проклятие, неужели он не мог выбрать более подходящего времени!

Я не ошибся. Он сразу же с неумелой хитростью заговорил о сельском хозяйстве. Я весь покрылся холодным потом. Мне хотелось шепнуть ему на ухо: «Послушай, мы в ужасной опасности! Каждая минута дорога, пока мы не вернем себе доверия этих людей; не трать драгоценного времени». Но шепнуть ему было невозможно, гости решили бы, что мы сговариваемся. Оставалось сидеть и приятно улыбаться, глядя, как король, сидя на динамитной mine, рассуждает о проклятом луке. Вначале буйство моих собственных мыслей, поднятых по боевой тревоге и устремившихся на помощь из каждого закоулка моего черепа с криками «ура» и барабанным боем, лишило меня возможности вникнуть в его слова; но по мере того, как мои беспорядочные замыслы кристаллизовались, готовились к бою и занимали позиции, до меня, словно издали, стали доноситься залпы королевских батарей:

— ...по-моему, это не лучший способ, хотя мнения знатоков тут расходятся, и некоторые утверждают, что лук — вредная для здоровья ягода, если его снимать с дерева незрелым...

Слушатели начали обнаруживать признаки жизни и переглядываться с удивлением и тревогой в глазах.

— ...в то время как другие утверждают, и не без основания, что это не так уж важно, ибо сливы и другие злаки выкапывают из земли в незрелом виде...

Слушатели были в смятении; да, в смятении и страхе.

— ...тем не менее они вполне съедобны, особенно если смягчить их природную терпкость, прибавив к ним успокоительного сока капусты...

Глаза наших гостей были полны дикого ужаса, и один из них пробормотал:

— Что он говорит? Господь замутил разум этого фермера!

Я предчувствовал беду и сидел как на гвоздях.

— ...далее, если принять во внимание всем известную истину, что молодые животные, так сказать свежие почки животного мира, всего вкусней и что когда козел созреет, его мех становится слишком жарким и портит мясо, каковой недостаток, в соединении с гнусным нравом и богопротивным поведением этого зверя...

Все повскакали с мест с яростным криком: «Один предатель, а другой сумасшедший! Смерть им! Смерть!» Они кинулись на нас. Какой восторг вспыхнул в глазах короля! Он ничего не смыслил в сельском хозяйстве, но драться он умел. Он долго постился и теперь жаждал битвы. Ударом в челюсть он сбил кузнеца с ног и повалил на спину. «Святой Георгий, помоги Британии!» — и он сбил с ног колесника. Каменщик был грузен, но я опрокинул его без труда. Все трое тотчас же вскочили на ноги и снова кинулись на нас; мы снова их повалили; они снова вскочили. Они падали и вскакивали с чисто британским упорством и мужеством, пока мы не превратили их в котлеты; они шатались от усталости; ослепленные гневом, они перестали отличать друзей от врагов и колотили друг друга. Они колотили друг друга, а мы отошли в сторону и смотрели, как они катаются по земле, и рвут волосы, и кусаются, словно бульдоги. Мы смотрели на них спокойно, так как они не в силах уже были сбегать за помощью, а место битвы было так удалено от дороги, что случайные прохожие не могли нас увидеть.

Занятый этим зрелищем, я случайно заметил, что Марко нет среди нас. Я оглянулся; его нигде не было видно. О, дело плохо! Я дернул короля за рукав, мы незаметно ускользнули и вбежали в хижину. Там никого — ни Марко, ни Филлис! Они, несомненно, побежали к дороге звать на помощь. Я сказал королю, что нам нужно удирать, а причину я объясню потом. Мы успели перебежать через открытое поле и нырнули в лес; только тогда я обернулся и увидел толпу разъяренных крестьян с Марко и его женой во главе. Они ужасно орали, но мы их не боялись: лес был дремучий, мы влезем на дерево, а там пускай они ищут нас, где хотят. Но тут мы услышали новый звук: собаки! Это совсем другое дело! Задача наша стала сложнее — нужно найти проточную воду.

Мы неслись во всю мочь; звуки стали удаляться и превратились в глухой шум. Мы добежали до ручья и прыгнули в воду. В воде мы прошли вниз по течению ярдов с триста. Нам загородил дорогу дуб, толстый сук которого висел над самой водой. Мы вскарабкались на этот сук и поползли по нему к стволу. Звуки погони опять стали громче — значит, толпа напала на наш след. Некоторое время звуки приближались очень быстро; потом они перестали приближаться. Без сомнения, собаки отыскивали то место, где мы вошли в ручей, и теперь мечутся по берегу, разыскивая наш след.

Когда мы прочно уселись на дереве, скрытые листвой, король вполне успокоился, но я не совсем. Мне показалось, что мы могли бы перелезть по одной из веток на другое дерево, и я решил, что нужно попробовать. Мы попробовали, и с успехом, хотя король поскользнулся и чуть не упал. Мы удобно расселись, хорошо скрытые в листве, и теперь нам оставалось только прислушиваться к шуму погони.

Внезапно погоня стала приближаться, и приближаться стремительно, и сразу по обоим берегам ручья. Громче, громче — и с ревом, гиком, лаем, топотом она пронеслась мимо, как циклон.

— Я боялся, что по суку, висящему над водой, они догадаются, — сказал я, — и очень рад, что ошибся. Идем, повелитель, не будем терять времени. Мы сбили их с толку. Скоро стемнеет. Если мы еще раз перейдем через ручей и на каком-нибудь пастбище возьмем взаймы пару коней на несколько часов, то будем в безопасности.

Мы начали спускаться и добрались уже до нижнего сука, как вдруг нам показалось, что шум погони снова приближается. Мы замерли, прислушиваясь.

— Да, — сказал я, — они ничего не нашли, им надоело, и они возвращаются домой. Влезем снова на наш насест и дадим им пройти мимо.

Мы опять полезли вверх. Король прислушался и сказал:

— Они все еще ищут. Нам лучше остаться здесь.

Он был прав. Он больше смыслил в охоте, чем я. Шум приближался постепенно, не быстро. Король сказал:

— Они сообразили, что мы где-то вблизи, так как мы движемся пешком и не можем уйти далеко от воды.

— Да, государь, боюсь — ты прав, хотя я надеялся, что все обойдется.

Шум все приближался, и скоро авангард опять прошел мимо нас, по обоим берегам ручья. Чей-то голос крикнул с другого берега:

— Они люди умные и могли влезть на дерево вот по этой ветке, не коснувшись земли. Хорошо бы послать туда человека.

— Черт возьми, так мы и сделаем!

Я порадовался своей предусмотрительности: мы хорошо сделали, перебравшись на соседнее дерево. Но разве вы не знаете, обо что разбивается любая предусмотрительность? О человеческую тупость. Первый фехтовальщик в мире может не бояться второго фехтовальщика в мире, — он должен бояться невежды, который никогда не держал шпаги в руках: невежда сделает как раз то, чего не следует делать; и опытный фехтовальщик будет побежден. Ну мог ли я, при всех моих дарованиях, предвидеть, что этот близорукий, косою глупый шут ошибется и полезет не на то дерево, на которое его послали? А он именно так и сделал. И дерево, выбранное им по ошибке, оказалось именно тем, на которое нужно было лезть, и он полез.

Положение было серьезное. Мы не шевелились и ждали, что будет дальше. Крестьянин с трудом карабкался все выше. Король привстал; он нацелился ногой, и, как только голова пришельца приблизилась настолько, что до нее можно было достать, раздался глухой стук и крестьянин упал на землю. Гневный вопль донесся снизу, толпа сбилась в кучу вокруг дерева. Мы были окружены, мы стали пленниками. К нам полез другой человек: ветка, служившая нам мостиком, была обнаружена, и какой-то доброволец полез на дуб, чтобы по ней добраться до нас. Король приказал мне охранять мост, подобно Горацию ^[36]. Враги появлялись то с одной стороны, то с другой, но на головы их поочередно обрушивались удары, и они скатывались на землю. Король воспрянул духом, и радость его была безгранична. Он уверял, что мы отлично проведем ночь, потому что, придерживаясь подобной тактики, мы можем отстоять наше дерево от всей округи.

Нападающие и сами поняли это; они прекратили штурм и принялись обсуждать другие планы. Оружия у них не было, но камней сколько угодно, а камни могли пригодиться. Пожалуйста, мы не возражали. Один какой-нибудь камень долетит до нас, но и это маловероятно. Мы были хорошо защищены ветвями и листьями и невидимы. Если они потратят на метание камней полчаса, к нам на помощь придет темнота. Мы были довольны. Мы могли улыбаться, даже хохотать.

Но мы не смеялись, и хорошо сделали, потому что смеяться нам пришлось бы недолго. Не прошло и четверти часа после начала бомбардировки, как мы ощутили какой-то странный запах. Достаточно было раза два втянуть в себя воздух, чтобы убедиться, что это запах дыма. Наша игра была проиграна! Мы этого не отрицали. Когда приглашение подкрепляется доброй порцией дыма, его нужно принять. Осаждающие навалили вокруг дерева груды сухого хвороста и, увидев, что густое облако дыма окутало ствол и поползло вверх, огласили воздух радостными

кликами. Задыхаясь, я сказал:

— Вперед, повелитель; подданные всегда идут позади.

Король проговорил:

— Следуй за мной вниз. Ты прислонишься к стволу с одной стороны, а я с другой — и примем бой. Пусть каждый из нас сражается, как хочет и как умеет, лишь бы вокруг росла гряда мертвых тел.

Он спускался, бранясь и кашляя, я за ним. Я коснулся земли мгновением позже, чем он. Мы заняли заранее намеченные места и принялись отражать и наносить удары. Натиск был бешеный — ураган сыплющихся со всех сторон ударов. Внезапно несколько всадников ворвалось в толпу и чей-то голос прогремел:

— Остановитесь, или все вы будете убиты!

Как сладостны были эти слова! Говоривший обладал всеми несомненными признаками дворянина: пышной и дорогой одеждой, властным, суровым лицом, черты которого носили следы распутной жизни. Толпа униженно отхлынула, как собачья стая. Дворянин осмотрел нас критически, затем резким голосом спросил крестьян:

— Что вы делали с этими людьми?

— Они сумасшедшие, благородный сэра, они пришли неизвестно откуда и...

— Неизвестно откуда? Вы притворяетесь, что вы их не знаете?

— Благороднейший сэра, мы говорим правду. Они не здешние, и никто их здесь не знает; это самые свирепые и кровожадные сумасшедшие, которые когда-либо...

— Тише! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Они вовсе не сумасшедшие. Кто вы? Откуда вы? Объясните.

— Мы мирные странники, сэра, — сказал я, — и путешествуем по своим делам. Мы из далекой страны и никому тут неизвестны. Мы не сделали ничего плохого; однако, если бы не твое отважное вмешательство и покровительство, эти люди убили бы нас, Ты прав, сэра, мы не сумасшедшие; мы не свирепы и не кровожадны.

Дворянин обернулся к своей челяди и сказал спокойно:

— Загоните этих псов в их конуры.

Толпа рассеялась мгновенно; за ней погнались всадники, хлеща бичами и давя копытами тех, которые бежали по дороге, не догадываясь свернуть в кусты. Крики замерли в отдалении, и всадники вскоре стали возвращаться. Тем временем дворянин продолжал допрашивать нас, но ничего не добился. Мы благодарили его за услугу, но продолжали повторять, что мы чужестранцы и друзей здесь не имеем. Когда свита вернулась, дворянин сказал одному из своих слуг:

— Приведи вьючных лошадей и посади на них этих незнакомцев.

— Слушаю, мой лорд.

Нас поместили в конце каравана, между слугами. Мы двигались быстро и вскоре после того, как стемнело, остановились на постоялом дворе у большой дороги, милях в десяти — двенадцати от места, где нас постигло столько неприятностей. Милорд немедленно удалился в отведенную ему комнату, заказав себе ужин, и мы больше его не видели. На рассвете мы позавтракали и приготовились ехать дальше.

Камердинер милорда подошел к нам с непринужденным изяществом и сказал:

— Вы говорили, что путь ваш лежит в ту же сторону, что и наш, поэтому господин мой граф Грип приказал нам предоставить вам этих коней и проводить вас до ближайшего города, который лежит отсюда в двадцати милях и называется Камбенетом, где вы будете в безопасности.

Нам оставалось только выразить свою благодарность и принять предложение. Мы поехали

вшестером неторопливой, неутомительной рысью и по дороге из разговора с нашими спутниками узнали, что милорд Грип очень важный вельможа в своем краю и что владения его лежат на расстоянии дня пути от Камбенета. Мы двигались так лениво, что было уже позднее утро, когда мы въехали на рыночную площадь города. Мы слезли с коней, приказав еще раз поблагодарить милорда, и приблизились к толпе, собравшейся посреди площади, посмотреть, что вызвало ее любопытство. Оказывается, это были остатки того каравана невольников, который мы встретили несколько дней назад!.. Значит, все это время они волокли свои цепи по пыльным дорогам. Несчастливого мужа не было уже между ними, как и многих других, зато прибавилось несколько новых лиц. Король был равнодушен к этому зрелищу и хотел уйти, но я был глубоко им взволнован и полон жалости. Я не мог глаз оторвать от этих убогих человеческих обломков. Они сидели кучками на земле, безмолвные, не жалуясь, с опущенными головами, бесконечно трогательные в своем унижении. И, как бы нарочно для контраста, в тридцати шагах, перед другой кучкой, напыщенный оратор произносил речь, превознося «наши великие британские вольности»!

Я вскипел. Я забыл, что я плебей, я помнил только, что я человек. Пусть будет что будет, но я влезу на эту трибуну и... Щелк! — нас с королем сковали вместе наручниками! Это сделали наши спутники, слуги графа; милорд Грип стоял тут же и смотрел на нас. Король пришел в бешенство и крикнул:

— Что означает эта шутка дурного тона?

Милорд холодно произнес, обращаясь к своему главному холоу:

— Выставь этих рабов и продай их!

Рабов! В этом слове сейчас был особый привкус, и какой страшный! Король поднял свои скованные руки и с бешеной силой занес их над головой милорда, но милорд успел увернуться от удара. Дюжина слуг этого мерзавца кинулась на нас, и через мгновение мы были уже беспомощны, со скрученными позади руками. Но мы так громко и горячо заявляли, что мы свободные люди, что привлекли к себе внимание свободолюбивого оратора и его патриотических слушателей, и они обступили нас. Оратор сказал:

— Если вы действительно свободные люди, вам нечего бояться. Богом данные британские вольности послужат вам щитом и охраной. (Аплодисменты.) Вы в этом сейчас убедитесь. Представьте доказательства.

— Какие доказательства?

— Доказательства, что вы свободные люди.

О, вдруг я вспомнил! Я пришел в себя; я смолчал. Но король загремел, как буря:

— Ты не в своем уме! Пусть лучше этот вор и подлец докажет, что мы не свободные люди.

Он знал свои законы, но знал, как обычно знает большинство: букву закона, а не закон в действии. Закон надо испытать на себе, чтобы понять его настоящее значение.

Все разочарованно покачали головами, многие отвернулись, потеряв к нам интерес. Оратор сказал — и на этот раз деловито, а не торжественно:

— Если вы не знаете законов своей страны, пора вам с ними познакомиться. Для нас вы люди чужие, вы не станете этого отрицать. Быть может, вы свободные люди, мы этого не отрицаем; но, может быть, вы и рабы. Закон ясен: он не требует от рабовладельца доказательств, что вы рабы, он требует от вас доказательств, что вы не рабы.

Я сказал:

— Дорогой сэръ, дай нам время послать в Астолат или дай нам время поехать в Долину Святости...

— Успокойся, добрый человек, ты ставишь чрезмерные требования и не можешь надеяться, что они будут выполнены. Это заняло бы слишком много времени и доставило бы слишком

много хлопот вашему господину...

— *Господину*, идиот! — заревел король. — У меня нет господина, я сам гос...

Я вовремя остановил короля. И без того достаточно бед обрушилось на нас; мало было бы проку, если бы эти люди пришли к убеждению, что мы помешанные.

О подробностях распространяться не стоит. Граф продал нас с публичного торга. Тот же самый проклятый закон существовал на нашем Юге в мое время более тринадцати столетий спустя; и в силу этого закона сотни свободных людей, которые не имели доказательств, что они свободные люди, были проданы в рабство на всю жизнь, — и тогда меня это не особенно волновало. Но когда я испытал на себе самом, что значит быть проданным с публичного торга, закон этот внезапно показался мне гнусным. Что поделаешь, так уж мы созданы.

Да, нас продали с публичного торга, как свиней. В большом городе и на людном рынке за нас дали бы хорошую цену, но тут было страшное захолустье, и нас купили так дешево, что мне даже стыдно вспомнить об этом. Король Англии пошел за семь долларов, а его первый министр — за девять; между тем за короля можно было дать двенадцать долларов, а за меня пятнадцать. Но так бывает всегда: если рынок плох, какой бы хороший товар вы ни предлагали, вы очень мало на нем наживаете; и я советую вам помнить об этом. Если бы у графа хватило ума, чтобы...

Впрочем, не мне огорчаться, что он так плохо ведет свои дела. Я показал вам, что он за человек, и черт с ним!

Работорговец купил нас обоих и приковал к общей цепи, так что мы оказались в хвосте процессии. В полдень мы уже выходили из города, и мне казалось диким и странным, что король Англии и его первый министр, скованные по рукам и ногам, шагают в караване невольников, не вызывая никакого внимания к себе среди праздных зрителей, и проходят под окнами, у которых сидят прелестные и добрые женщины, не внушая им не только сочувствия, но даже любопытства. В конце концов это только доказывает, что в короле нет ничего божественного, что он ничем не отличается от любого бродяги, пока вы не знаете, что он король. Но скажи вам это, и, боже мой, у вас захватывает дух, когда вы на него смотрите. Да, все мы дураки. Дураки от рождения.

35. Печальное приключение

Мир полон превратностей. Король впал в мрачное раздумье, и это было вполне естественно. Вы, конечно, думаете, что он размышлял о своем необычайном падении, о том, как он утратил свое высокое положение, как из всемогущего превратился в униженного, из знатного в безвестного, о том, как из самого великого человека в мире стал самым ничтожным. Нет, клянусь, не это мучило его больше всего, а мучила его мысль о том, как дешево он был продан. Не думал король, что будет стоить всего только семь долларов! Узнав, какие мысли его мучат, я был так поражен, что едва поверил: мне это показалось неестественным. Но когда в голове у меня прояснилось и я снова мог правильно смотреть на вещи, я понял, что ошибся: это было вполне естественно. И в самом деле: король — понятие искусственное, и потому его ощущения, как короля, были не настоящими, а искусственными, словно у заводной куклы. Но человек он был настоящий, настоящими были и его человеческие ощущения; обыкновенному, среднему человеку как-то неприятно и совестно, когда его ценят ниже, чем он сам себя оценивает, а король, конечно, нисколько не был выше среднего человека.

Проклятие! Он так надоел мне, доказывая, что на настоящем рынке за него дали бы никак не меньше двадцати пяти долларов, — это было полнейшей нелепицей и ерундой, наглым самомнением. Да я сам столько не стоил! Однако вопрос это щекотливый, и я дипломатически решил не возражать. Пришлось пойти против совести и смело подтверждать, что именно двадцать пять долларов он и стоил бы. А сам я между тем был твердо убежден, что с сотворения мира до сего дня не было короля, который стоил бы и половины этой суммы, а в последующие тринадцать веков за него не дали бы и четверти. Да, он надоел мне. О чем бы он ни говорил — о погоде, об урожае, о политике, о собаках, кошках, нравственности, богословии, — я только вздыхал, зная, что всякий разговор он неизбежно сведет к этим злосчастным семи долларам. Стоило нам остановиться где-нибудь в людном месте, он бросал на меня красноречивый взгляд, ясно говоривший: здесь за меня дали бы настоящую цену. Когда его продавали за семь долларов, я, признаться, вначале даже позлорадствовал. А теперь он так надоел мне своим нытьем, что я был бы счастлив, если бы за него дали сто. Но надежды на это не было, ибо нас каждый день осматривали всевозможные покупатели и большей частью так отзывались о короле:

— Этому болвану и вся цена-то два с половиной доллара, а чванливости у него на тридцать пять. Жаль, что чванство ничего не стоит!

В конце концов подобные замечания не довели до добра. Наш владелец был человек практичный и смекнул, что этот недостаток надо выбить из короля, если надеешься найти на него покупателя, — и он принялся выбивать чванство из его священной особы. Я мог бы дать этому человеку дельный совет, но решил смолчать: полезешь с советами к торговцу невольниками и только повредишь делу. Сам я потратил немало труда, переделывая короля в простого крестьянина, а ведь тогда король был послушным и старательным учеником. Но силой заставить его изменить королевскую осанку на рабскую было почти невозможно. Не будем говорить о подробностях — можете сами себе их вообразить. Скажу только, что к концу недели бич, дубина и кулак сделали свое дело, и тело короля представляло печальное зрелище, над которым стоило поплакать. А дух его? О, духом он не дрогнул! Даже этот олух работорговец вынужден был убедиться, что иной раз и раб остается человеком до самой смерти и что ему можно переломать кости, но нельзя сломить дух. В конце концов работорговец увидел, что все усилия напрасны, что король одержал верх над ним, и оставил его в покое. Дело в том, что король был больше, чем просто король, — он был человек; а из настоящего человека человеческие свойства не выбьешь.

С месяц нам жилось очень трудно; мы скитались по всяким местам и многого натерпелись. И кто во всей Англии больше всего интересовался вопросами рабства в это время? Его величество король. Да. Насколько раньше он был равнодушен к этому вопросу, настолько теперь этот вопрос волновал его. Никогда в жизни я не встречал большего ненавистника рабства. И я решился задать ему вопрос, который задал несколько лет тому назад и на который получил такой резкий ответ, что больше не решался касаться его: не считает ли он нужным упразднить рабство?

Ответ его был так же резок, как и прежде, но прозвучал музыкой для меня, хотя богохульствовал король довольно неуклюже и бранное слово оказалось посередине фразы, а не в конце, где ему надлежало быть. Но другого я и не желал бы услышать.

Теперь и я стал подумывать о свободе. Раньше я о ней не думал, — не то что не думал, — нет, я желал ее, но считал, что не стоит делать бесполезных попыток, и даже отговаривал короля. Но теперь — о, теперь все было по-иному! Любой ценой готов был я заплатить за свободу. Я разработал план действий, и сам пришел от него в восторг. Но для этого надо было запастись временем и терпением. Конечно, можно было придумать не менее верный, но более быстрый способ, но нельзя было придумать более красочного и драматичного. И потому я решил не отказываться от своего плана, хотя он мог затянуть наше освобождение на месяцы.

Не обходилось и без приключений. Однажды нас застигла снежная буря в миле от селения, куда мы направлялись. В одно мгновение нас словно туманом окутало — такой густой был снегопад. Не видно было ни зги, и мы вскоре заблудились. Работорговец, предвидя убытки, нещадно хлестал нас бичом, но это только ухудшало дело, так как бич его все дальше и дальше уводил нас от дороги, а тем самым от какой-либо помощи. В конце концов мы завязли в снегу и вынуждены были остановиться. Буран бушевал до полуночи, а потом стал утихать. К этому времени двое из слабейших мужчин и три женщины умерли. Остальные были чуть живы и едва могли двигаться. Наш хозяин был вне себя. Усиленно помогая себе кнутом, он заставлял нас подыматься, щипать и шлепать себя, чтобы восстановить кровообращение.

Вдруг послышались крики и вопли, и, рыдая, к нам подбежала женщина с двумя маленькими девочками. Она упала на колени, моля о защите. За ней гналась толпа с факелами, крича, что это ведьма, что она насылает падеж на коров и ей помогает сам дьявол в образе кошки. Бедная женщина была так окровавлена, так избита камнями, что почти утратила человеческий облик. И теперь ее хотели сжечь.

И как, вы думаете, поступил наш хозяин? Когда мы столпились вокруг несчастной, чтобы защитить ее, он быстро смекнул, в чем дело. Он сказал, что выдаст ее только в том случае, если они тут же сожгут ее. Вы только представьте себе! И те согласились. Они привязали ее к столбу, обложили хворостом и подожгли. А она кричала и молила, прижимая к груди своих маленьких дочек. И наш жестокосердный хозяин, думающий только о выгоде, велел нам обступить костер и согреваться тем самым огнем, который унес жизнь несчастной невинной матери, покуда мы снова не ожили и не вернули себе утраченной рыночной стоимости. Вот какой у нас был хозяин! Я взял его на заметку. Этот снежный буран стоил ему десяти невольников. И после этого в течение многих дней он обращался с нами еще свирепее, чем прежде, — так был взбешен своей потерей.

Приключение следовало за приключением. Однажды мы наткнулись на шествие. И какое! Казалось, тут собрались подонки со всего королевства, да к тому же все эти оборванцы были вдребезги пьяны. Впереди ехала телега, на которой стоял гроб, а на нем сидела миловидная женщина лет восемнадцати, кормившая грудью ребенка. Она то и дело прижимала его к себе и вытирала с его личика слезы, капавшие из ее глаз. А глупое дитя только счастливо улыбалось, цепляясь за материнскую грудь пухлой, в ямочках, ручонкой, и несчастная мать гладила и

ласкала его.

Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, приплясывая, с гиканьем бежали возле телеги, богохульствуя и сквернословя, распевая непристойные песни, — это было отвратительное зрелище, настоящий праздник демонов. Мы достигли уже стен и предместий Лондона. Наш хозяин раздобыл нам хорошее местечко возле самой виселицы. Священник уже ждал здесь, он помог женщине взобраться на помост, говоря ей всякие слова утешения, и велел помощнику шерифа достать для нее табурет. Потом сам стал на эшафот возле нее, несколько мгновений глядел на плотную толпу у своих ног, на множество обращенных к нему лиц и начал рассказывать историю несчастной. И в голосе его зазвучала жалость... Как редко звучала жалость в этой дикой, невежественной стране! Я помню малейшую подробность в его рассказе, только не помню слов его и потому расскажу своими словами.

«Закон должен быть справедливым. Иногда он ошибается, но ничего не поделаешь. Мы можем только покоряться, сокрушаться и молиться за душу тех, кого неправильно покарал закон, и желать, чтобы таких было поменьше. Закон осудил на смерть это бедное юное создание — и закон прав. Но другой закон вынудил ее либо совершить преступление, либо умереть с голода вместе со своим ребенком — и такой закон отвечает перед богом и за ее преступление, и за ее позорную смерть!

Совсем еще недавно это юное создание, это восемнадцатилетнее дитя было счастливейшей в Англии женой и матерью. На устах ее всегда звенела песня, — песня, язык счастливых и невинных сердец! Юный супруг ее был так же счастлив, как и она. Выполняя свой долг, зарабатывая кусок хлеба, он честно трудился с утра до ночи, был опорой и защитой семьи и вносил свою лепту в благосостояние нации. Но коварный закон в одно мгновение разрушил этот священный очаг. Молодого супруга поймали, заклеямили и услали в море. Жена ничего об этом не знала. Она повсюду разыскивала его, трогая самые жестокие сердца своими мольбами, красноречиво говорившими об ее отчаянии. Тянулись недели, она разыскивала его, ждала, надеялась, но понемногу рассудок ее слабел от горя. Мало-помалу все ее небольшие сбережения были прожиты. Когда ей нечем стало платить за аренду, ее выгнали на улицу. Она просила милостыню, покуда у нее хватало сил. В конце концов у нее от голода пропало молоко, и тогда она украла кусок холста ценой в четверть цента, надеясь продать его и спасти свое дитя.

Но владелец холста поймал ее. Ее бросили в тюрьму и предали суду. Владелец под присягой подтвердил факт покражи. Ей дали защитника, и для смягчения приговора была рассказана ее грустная история. Она тоже получила слово и рассказала, как украла холст потому, что рассудок ее с горя помутился, и когда голод измучил ее, она перестала понимать, хорошо или дурно поступает, сознавая только одно — что ужасно хочет есть. Вначале все были растроганы и склонны проявить милосердие, видя, что она так молода и одинока, так достойна сожаления, что единственный виновник, который толкнул ее на преступление, был закон, лишивший ее опоры. Но тут возразил обвинитель, сказав, что хотя все это верно и весьма достойно сожаления, но за последнее время так участились мелкие кражи, что некстати проявленное милосердие послужило бы угрозой собственности, — о боже, неужели для британского закона разоренный домашний очаг, осиротевшие дети, разбитые сердца совсем не имеют никакой ценности и разве не нужно их охранять? — и потому он должен требовать наказания.

Когда судья надел свою черную шапочку и произнес роковые слова, владелец украденного холста поднялся, дрожа, с трясущимися губами, с лицом, посеревшим, словно пепел, и воскликнул:

— О бедное дитя, бедное дитя! Я не знал, что это грозит ей смертью! — и рухнул, как подрубленное дерево.

Когда его подняли, он лишился рассудка; и не успело зайти солнце, как он покончил с собой. Хороший человек... человек, у которого было настоящее сердце! Прибавьте его смерть к тому, что здесь происходит, и пусть за это несут ответственность те, кому следует, — правители и жестокие законы Британии.

— Настало время, дитя мое. Дай я помолюсь над тобой, — не за тебя, бедное униженное и невинное сердце, а за тех, кто виновен в твоей гибели и смерти, им нужнее моя молитва».

После молитвы на ее юную шейку накинули петлю, но им немало пришлось повозиться, чтобы завязать веревку, так как она все время прижимала ребенка к груди, к лицу, страстно целовала его и обливала слезами, все время не то рыдая, не то вскрикивая, а ребенок восторженно смеялся и дрыгал ножками, думая, что с ним играют. Даже палач не мог этого вынести и отвернулся. Когда все было готово, священник ласково, но настойчиво взял ребенка из рук матери и стал поспешно спускаться с помоста. Она всплеснула руками и с воплем бешено рванулась к нему, но веревка и помощник шерифа крепко держали ее. Тогда она упала на колени и, простирая руки, стала молить:

— Еще один поцелуй! О боже, еще один, еще один, это мольба умирающей!

Ей дали ребенка. Она чуть не задушила малютку. И когда ребенка снова отняли, она закричала:

— О мое дитя, мое ненаглядное дитя, оно умрет! У него нет ни дома, ни друзей, ни отца, ни матери!

— Все есть у него, — сказал добрый священник. — Я заменю ему всех, покуда жив.

Видели бы вы ее лицо в это мгновение! Благодарность? Нельзя словами описать его выражения. Слова — нарисованное пламя. Взор — пламя живое. Она бросила пламенный взор и унесла его с собой в сокровищницу небес, где и надлежит быть всему неземному.

36. Встреча во мраке

Лондон для раба был довольно любопытным городом. То есть не городом, а громадной деревней, полной соломы и грязи. Улицы были кривые, немощеные, грязные; население — вечно снующая толпа — и в лохмотьях, и в шелках, в кольшущихся перьях, блестящих доспехах. В Лондоне у короля был дворец. Он издали заметил его, взглянул и слегка выругался — неопытно, по-ребячески, как ругались в шестом веке. Мы увидели знакомых рыцарей и вельмож, но нас, в синяках, лохмотьях и грязи, они не узнавали, — не узнали бы, если бы мы и окликнули их, не остановились бы, чтобы ответить нам, так как не имели права разговаривать с прикованными к цепи рабами.

В десяти ярдах от меня проехала Сэнди — возможно, разыскивая меня. Но окончательно убило меня то, что произошло на площади против нашего старого барака, — там заживо варили в масле фальшивомонетчика. И вдруг показался газетчик; и я не смел окликнуть его! Одно утешало меня: видимо, Кларенс жив и действует. Я твердо решил, что мы с ним скоро будем вместе, и эта мысль несказанно ободрила меня.

Очень ободрило меня и то, что я как-то заметил проволоку, натянутую между домами. Это, несомненно, был телеграф и телефон. Мне страстно захотелось получить кусочек такой проволоки. Она была необходима для осуществления моего плана бегства. План состоял в том, чтобы как-нибудь ночью освободить себя и короля, связать хозяина и, заткнув ему рот, перемениться с ним одеждой, избить его до неузнаваемости, приковать к цепи рабов, стать владельцем невольников, отправиться в Камелот и...

Но вы поняли мой план. Вы видите, какой потрясающий драматический сюрприз готовил я двору. Все это было бы осуществимо, достать бы только кусочек железной проволоки, из которой можно сделать отмычку, тогда я мог бы отпереть замки, которыми были скованы наши цепи. Но мне ужасно не везло — ни разу не попалось ни кусочка. И вдруг подвернулся удобный случай. Джентльмен, уже два раза приходивший торговать меня, но безуспешно, пришел опять. Я знал, что он не купит меня, так как мой хозяин с самого начала заломил за меня непомерную цену, вызывавшую негодование и насмешки, и упорно стоял на своем. Он хотел за меня двадцать два доллара и не уступал ни цента. Могучим сложением короля восхищались, но не покупали из-за его королевской осанки; такие рабы никому не нужны. Я был уверен, что не расстанусь с ним, так как за меня просили слишком дорого. Нет, я не рассчитывал, что мною завладеет джентльмен, о котором я упоминал, а интересовал он меня вот почему: у него было нечто, чем я решил завладеть, если он будет часто навещать нас, — длинная стальная булава, которой он скалывал спереди свой суконный плащ. Таких булавок у него было три. Два раза у меня все срывалось, так как он недостаточно близко подходил ко мне. Но раз мне повезло: я вытащил у него самую нижнюю, а он, заметив пропажу, наверно решил, что потерял булавку по дороге.

Я очень обрадовался, но радость моя была непродолжительна. Когда сделка, как всегда, опять не состоялась, хозяин внезапно сказал то, что на современном английском языке обозначало бы следующее:

— Я вам скажу, что я хочу сделать. Мне надоели эти два никуда не годных раба. Дайте мне двадцать два доллара за одного, и я вам дам другого впридачу.

У короля от негодования сперло дыхание. Он начал давиться и кашлять, а тем временем хозяин и джентльмен продолжали разговор:

— Если у меня будет время подумать...

— Завтра в этот час вы мне дадите ответ.

— Хорошо, завтра в это самое время я вам отвечу, — сказал джентльмен и удалился, за ним ушел и хозяин.

Я воспользовался этим, чтобы успокоить короля, и шепнул ему на ухо:

— Ваше величество будете отданы даром, но не так, как они думают. Этой ночью мы оба освободимся.

— О! Освободимся?

— С помощью вот этой штуки, которую я стащил, я ночью отопру оковы и сброшу их. Когда в половине десятого хозяин придет проверить нас на ночь, мы схватим его, заткнем ему рот, изобьем его и рано утром уйдем из этого города владельцами каравана невольников.

Это все, что я сказал, но король был восхищен и доволен. Вечером мы терпеливо ждали, когда наши собратья-невольники заснут. Нельзя было полагаться на этих бедняг, да и вообще лучше про себя держать свои тайны. Они, конечно, возились не дольше, чем обычно, но мне казалось, что они бесконечно копаются, мне казалось, что я никогда не дождусь обычного храпа. Время шло, и я стал нервничать, боясь, что не успею проделать всего. Но мои преждевременные попытки только затягивали дело: стоило в этой тьме дотронуться до оков, как они начинали греметь, кто-нибудь просыпался, принимался ворочаться и будил остальных.

Но в конце концов мне удалось снять оковы, и я снова был свободным человеком. Я глубоко и облегченно вздохнул и потянулся к оковам короля. Увы, слишком поздно: к нам шел хозяин со свечой в одной руке, держа в другой тяжелую дубину. Я плотно прижался к спящим, стараясь по возможности скрыть, что я без оков, в то же время я зорко следил за каждым его движением, готовый вскочить и броситься на него, чуть он приблизится.

Но он не подошел. Он остановился и с минуту рассеянно глядел на темную массу невольников, видимо о чем-то размышляя, потом задул свою свечу, задумчиво направился к выходу и, прежде чем я мог сообразить, как он намерен поступить, вышел и затворил за собой дверь.

— Живо! — сказал король. — Верни его!

Разумеется, это необходимо было сделать, и я мгновенно вскочил и бросился за ним. Но, бог мой, ведь в то время не было уличных фонарей, а ночь была темная. Все же в нескольких шагах от себя я разглядел какую-то фигуру. Я бросился на нее, и вот тут-то началась потеха! Мы боролись и колотили друг друга. Мгновенно собралась толпа. Зрители проявляли необычайный интерес к борьбе, добродушно и весело подбадривая нас. Внезапно позади завязалась другая бурная драка, и добрая половина наших зрителей кинулась сочувствовать туда. Фонари замелькали по всем направлениям — это стража спешила со всех сторон. Меня стукнули алебардой по спине, и я понял, что произошло: я был арестован. Мой противник тоже. Нас под стражей повели в тюрьму. Вот горе! Весь мой тонко задуманный план погиб. Я пытался вообразить себе, что будет, когда хозяин увидит, кто дрался с ним, и что будет, когда нас вместе посадят в тюрьму, в камеру к буянам и мелким жуликам, и что будет...

Внезапно мой противник повернулся ко мне лицом, пятнистый свет фонаря стражника упал на него, и — клянусь святым Георгием! — это был не хозяин.

37. Ужасное положение

Уснуть? Невозможно. Как уснуть в этом шумном вертепе, битком набитом пьяницами, ссорящимися и горланящими бездельниками! И еще я не мог даже мечтать о сне потому, что мучительно хотел вырваться отсюда и подробно узнать, что произошло там, в далеком невольничьем бараке, из-за моего ужасного промаха.

Ночь казалась бесконечной, но все же утро наступило. На суде я дал исчерпывающие показания. Я сказал, что я невольник знатного графа Грипа, который накануне с наступлением темноты прибыл в селение Табард на том берегу реки и вынужден был там заночевать вследствие приступа какой-то странной болезни. Меня послали в город, чтобы поскорее привести лучшего врача. Я старался изо всех сил и, конечно, мчался во всю мочь. Ночь была темная, и я налетел на этого дуралея, который схватил меня за глотку и принялся тузить, хотя я сказал ему о порученном мне деле и умолял его отпустить меня ради спасения жизни моего знатного господина.

Дуралей перебил меня, уверяя, что все это ложь, и стал объяснять, как я ни с того ни с сего бросился на него.

— Молчи, плут! — сказал судья. — Уведите его и дайте ему несколько палок, чтобы он в другой раз знал, как обращаться со слугой знатного господина.

Потом судья извинился передо мной и выразил надежду, что я доложу его сиятельству о том, что суд отнюдь не виновен в этом возмутительном происшествии. Я обещал все уладить и направился к выходу. И как раз вовремя: судья начал расспрашивать меня, почему я не рассказал все это при аресте. Я ответил, что сказал бы, если бы мог соображать в то время, но этот человек так меня бил, что вышиб из меня весь рассудок, и так далее, и так далее, и выскочил за дверь, все еще бормоча себе что-то под нос.

Нет, я не стал дожидаться завтрака. Я ног под собой не чуял и скоро был в невольничьем бараке. Пусто — все исчезли. Впрочем, за исключением хозяина. Он лежал тут же, избитый до смерти, до неузнаваемости изуродованный. И все вокруг носило следы жестокой битвы. На тележке возле дверей стоял грубо сколоченный гроб, и гробовщик с помощью полицейского пробивал себе дорогу сквозь толпу зевак, чтобы положить тело в гроб.

Я выбрал человека, достаточно скромного, чтобы снизойти до разговора с таким оборванцем, как я, и спросил, что тут произошло.

— Шестнадцать невольников ночью взбунтовались против своего хозяина, и вот видишь, чем все кончилось.

— Да. Но как это началось?

— Кроме рабов, здесь не было свидетелей. Они говорят, что самый ценный невольник освободился от своих оков и исчез таинственным образом — с помощью колдовства, надо думать, так как ключа у него не было, а замки оказались целы. Обнаружив потерю, хозяин от горя пришел в бешенство и стал колотить остальных своей тяжелой дубиной, а те, сопротивляясь, так исполосовали его спину, что ему быстро пришел конец.

— Ужасно. И, конечно, плохо придется невольникам на суде.

— Да суд уже был.

— Уже был?

— Неделю, что ли, ему тянуться? Дело ведь простое. Достаточно и пяти минут, чтобы в нем разобраться.

— Не понимаю, как в такое короткое время можно было решить, кто виноват?

— Кто виноват? Да судьи особенно и не разбирались в этом. Осудили всех гуртом. Не

знаешь, что ли, закона? Говорят, еще со времен римлян остался: если один из рабов убьет хозяина, все рабы должны умереть.

— Верно. Я позабыл. А когда их казнят?

— Через двадцать четыре часа. Хотя некоторые говорят, что подождут еще денька два: вдруг случайно найдут сбежавшего.

Сбежавшего! Мне стало не по себе.

— А найдут ли его?

— Ну, ясно — найдут еще до наступления ночи. Его разыскивают повсюду. У городских ворот поставили стражу и невольников, которые узнают его, если он появится, и никого без осмотра не выпускают.

— А можно взглянуть, куда заперли остальных?

— Снаружи можно. А внутри — да ты сам не захочешь смотреть.

Я взял адрес тюрьмы — на всякий случай — и побрел. В глухом переулке в первой попавшейся лавке старьевщика я приобрел грубую одежду моряка, а лицо повязал платком, сославшись на то, что у меня болят зубы. Повязка скрыла мои синяки. Я совсем преобразился. Я больше не походил на себя. Потом разыскал проволоку и пошел вдоль нее до того места, откуда она начиналась. Она выходила из крохотной комнатки над лавкой мясника — видимо, телеграфное дело не очень-то еще процветало. Юный служащий дремал над столом. Я запер дверь и положил громадный ключ себе за пазуху. Молодой человек встревожился и хотел позвать на помощь. Но я сказал:

— Побереги себя. Если ты раскроешь рот, ты — покойник. За работу! Живо! Вызови Камелот.

— Не верю! Как может такой человек, как ты, разбираться в...

— Вызови Камелот. Я человек отчаянный. Вызови Камелот или отойди прочь, и я сам вызову.

— Что? Ты?

— Заткнись! Вызови дворец.

Он вызвал дворец.

— Позови к аппарату Кларенса.

— Кларенса? Как его фамилия?

— Тебе нет дела, как его фамилия. Говорят тебе: позови Кларенса, и тебе ответят.

Он подчинился. Прошло пять минут... десять минут мучительного ожидания, нервного напряжения. Как долго! Затем стук, который я сразу узнал, как узнают знакомый человеческий голос, ибо Кларенс был мой ученик.

— А теперь проваливай! Они там могли узнать меня, и поэтому я хотел, чтобы вызов сделал ты, но теперь я и сам справлюсь.

Он пустил меня на свое место и насторожил уши, но напрасно: я воспользовался шифром. Я не стал тратить времени на обмен любезностями с Кларенсом, а начал дело напрямик:

— Король здесь и находится в опасности. Нас захватили и продали в рабство. Мы не можем доказать, кто мы такие; положение мое таково, что я не решаюсь даже попробовать. Телеграфируй в здешний дворец, чтобы там мне поверили.

Он сразу ответил:

— В лондонском дворце не знают о существовании телеграфа: лондонская линия только что проведена. Лучше не рисковать. Чего доброго, они вас повесят. Придумай что-нибудь другое.

Нас повесят! Он даже не подозревал, как он близок к истине. Я ничего не мог придумать. Наконец меня осенило, и я телеграфировал:

— Вышли пятьсот отборных рыцарей с Ланселотом во главе; вышли их немедленно. Пусть они вступят в город через юго-западные ворота и разыщут человека с белой повязкой на правой руке.

Ответ был краток:

— Они выступят через полчаса.

— Отлично, Кларенс; теперь скажи здешнему молодому человеку, что я твой друг и сорви-голова и чтобы он был скромен и не болтал о моем посещении.

Аппарат заговорил с молодым человеком, а я поспешил уйти. Я стал высчитывать. Через полчаса будет девять часов. Рыцари и кони в тяжелых доспехах не могут двигаться очень быстро. Если не будет снега или грязи, они могут делать миль по семи в час; раза два им придется менять коней, — следовательно, они явятся к шести или немного позже, будет еще совсем светло; они заметят белую повязку, которой я обвяжу свою правую руку, и я приму над ними командование. Мы окружим тюрьму и выпустим короля. Все это получится достаточно эффектно и живописно, хотя я предпочел бы, чтобы они явились в полдень, — тогда вышло бы еще театральнее.

Я всегда предпочитаю лук с запасными тетивами, а потому решил зайти к кому-нибудь из моих прежних знакомых. Это, пожалуй, помогло бы нам выпутаться из беды и без рыцарей. Но нужно быть осторожным, потому что дело это рискованное. Необходимо раздобыть подходящую одежду и, добывая ее, не торопиться. Нет, я должен сделать это постепенно — в одной лавке купить одежду бедняка, в другой, расположенной подальше, — одежду человека среднего достатка; я буду переходить из лавки в лавку, пока не разоденусь в шелк и бархат и не стану похожим на себя прежнего. Так я и решил поступить.

Но план мой сразу провалился! За первым же углом я наткнулся на одного из наших рабов, бродившего по городу в сопровождении стражника. Как назло, я кашлянул; он взглянул на меня, и кровь застыла в моих жилах: «Раб, вероятно, припомнил, что уже слышал этот кашель», — подумал я. Я вбежал в лавку, остановился у прилавка, разглядывая товары, прицениваясь и в то же время поминутно посматривая через плечо за дверь. Раб и стражник, разговаривая, остановились перед дверью. Я решил удрать через черный ход — если только в этой лавке есть черный ход — и спросил лавочницу, нельзя ли мне выйти во двор посмотреть, нет ли там беглого раба, который, говорят, прячется где-то здесь на задворках; я пояснил, что я переодетый стражник и что товарищ мой стоит за дверью с одним из рабов, убивших своего хозяина. Я попросил ее выйти сказать ему, чтобы он не ждал напрасно, а поспешил бы на другой конец переулка и схватил бы беглеца, когда я выгоню его отсюда.

Лавочнице не терпелось взглянуть на одного из убийц, уже ставших знаменитыми, и она сразу же побежала выполнять мое поручение. Я выскользнул из лавки через черный ход, запер за собою дверь, положил ключ в карман и пошел, посмеиваясь, очень довольный.

И все снова испортил, сразу же совершив ошибку. И не одну ошибку, а две. Много было способов удрать от полицейского, так нет же, мне понадобилось выбрать из них самый театральный; любовь к театральности — главный мой недостаток. Расчет мой был основан на том, что полицейский, будучи человеком, поступит самым естественным образом; но бывает, что как раз тогда, когда вы не ожидаете, человек поступает вовсе не самым естественным образом. Самым естественным на месте этого полицейского было бы преследовать меня по пятам, попытаться выломить запертую дубовую дверь, отделяющую его от меня; пока он будет ее выламывать, я уйду далеко и с помощью ряда успешных переодеваний превращусь в такого роскошного господина, что ни одна ищейка Британии не усомнится в моей чистоте и невинности. Но вместо того чтобы поступить естественно, полицейский поверил каждому моему слову и выполнил мое приказание. И как раз когда я выходил из тупика, очень довольный

своей выдумкой, он вынырнул из-за угла и встретил меня наручниками. Если бы я знал, что это тупик... но это не оправдание. Прибыль и убытки — вот что определяет подлинную ценность всего.

Конечно, я негодовал, я клялся, что только что сошел с корабля после долгого плавания, стараясь сбить с толку раба. Но безуспешно: он узнал меня. Тогда я стал упрекать его, зачем он выдал меня. Это не столько обидело, сколько изумило его. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и сказал:

— Неужели ты думал, что я позволю тебе избежать виселицы? Тебе, из-за которого нас всех вешают? Поди ты!

Они говорили «поди ты» в тех случаях, когда мы сказали бы «не смей меня», или «мне это нравится!» Странные у них были выражения!

По-своему он был прав, и я не стал спорить. Я не люблю спорить, когда спор бесполезен. И я сказал:

— Тебя вовсе не повесят. Никого из нас не повесят.

Они оба захохотали, и раб ответил:

— Тебя прежде не считали дураком. Так постарайся сохранить свою репутацию, тем более что стараться осталось недолго.

— Моя репутация останется при мне. Еще до завтрашнего утра все мы выйдем из тюрьмы и будем свободны.

Мудрый полицейский поковырял пальцем у себя в ухе, прочистил горло и сказал:

— Да, из тюрьмы вы выйдете и будете свободны, но не здесь, а в подземном царстве дьявола.

Я сдержал свой гнев и равнодушно проговорил:

— Значит, ты действительно полагаешь, что нас повесят через день или два?

— Так я полагал еще несколько минут назад, ибо так было решено и объявлено.

— А сейчас ты полагаешь по-иному, не правда ли?

— Сейчас по-иному. Тогда я только полагал, а сейчас знаю.

Я насмешливо сказал:

— О премудрый служитель закона, снизойди до нас и открой, что же ты *знаешь*?

— Что вас всех повесят сегодня в три часа дня. Ого, как тебя зашатало! Обопрись на меня!

Мне действительно нужно было на что-нибудь опереться. Мои рыцари не успеют. Они опоздают по крайней мере на три часа. Ничто на свете не спасет короля Англии! Ничто на свете не спасет меня, что еще важнее, — важнее не только для меня, важнее для народа — единственного народа, готового вот-вот воспринять цивилизацию. Мне стало дурно. Я молчал, мне больше нечего было сказать. Я понял, что имел в виду полицейский: если пропавший раб будет найден, отсрочка казни будет отменена, и казнь совершится сегодня. Ну вот — пропавший раб найден.

38. Сэр Ланселот и рыцари приходят на помощь

Около четырех часов пополудни. Действие происходит возле стен Лондона. Прохладный, сладостный, восхитительный день, полный солнечного сияния; в такой день хочется жить, а не умирать. Кругом огромная, бесконечная толпа; но у нас, у пятнадцати висельников, в этой толпе нет ни одного друга. Как хотите, а мне было больно при этой мысли. Все эти люди — наши враги, и мы, сидящие на высоком помосте, — мишень для их насмешек и злобных выходок. Мы — праздничное развлечение, спектакль. Для дворян соорудили нечто вроде лож, и они уже толпились там вместе со своими дамами. Мы многих из них узнали.

Король доставил толпе неожиданное развлечение. Когда с нас сняли оковы, он вскочил, в своих фантастических отрепьях, с неузнаваемым от синяков лицом, и провозгласил, что он Артур, король Британии, и угрожал всем присутствующим ужасными наказаниями за измену, если хоть волос падет с его священной головы. Как он был изумлен, когда в ответ ему грянул хохот! Оскорбленный в своем достоинстве, он сразу замолк, хотя толпа просила его продолжать, дразнила его мяуканьем, свистом и криками:

— Пусть говорит! Король! Король! Твои смиренные подданные алчут и жаждут мудрых речей твоего ободранного величества.

Но они ничего не добились. Величавый, он неподвижно сидел под градом насмешек и оскорблений. По-своему он был действительно велик. Рассеянно я снял с лица белую повязку и перевязал свою правую руку. Увидев это, толпа принялась за меня:

— А этот моряк, конечно, его министр, — посмотрите, какая у него перевязь через плечо.

Я не мешал им издеваться, пока им самим не надоело, а затем сказал:

— Да, я его министр, я — Хозяин; и завтра вы услышите об этом из Камелота, где...

Я не мог продолжать — так они хохотали. Но внезапно все стихло: появились шерифы Лондона в официальных одеяниях со своими помощниками, — это означало, что казнь сейчас начнется. В тишине было объявлено, в чем заключалось наше преступление, прочитан смертный приговор, затем все обнажили головы, и священник пробормотал молитву.

Потом одному из рабов завязали глаза; палач накинул ему веревку на шею. Между нами и толпой лежала дорога, хорошая пустынная дорога, охраняемая полицией, — как приятно было бы увидеть на ней пятьсот моих всадников! Но нет, это несбыточно. Взор мой скользил по дороге вдаль — нигде никого.

Миг — и раб уже болтался на веревке, — болтался и барахтался, так как руки его и ноги не были связаны.

Снова палач набросил петлю, и второй раб закачался на веревке.

Через минуту в воздухе барахтался уже третий раб. Это было ужасно. Я отвернулся. Когда я опять повернул голову, короля уже рядом со мной не было. Ему завязывали глаза. Я был точно парализован, не мог пошевелить, ни рукой, ни ногой, что-то сдавило мне горло, язык не ворочался во рту. Ему завязали глаза и подвели под петлю. А я все еще не мог стряхнуть с себя страшного оцепенений. Но когда я увидел, что ему надевают петлю на шею, все перевернулось во мне, и я кинулся к нему на помощь. Вдруг мельком я взглянул на дорогу. Боже! По дороге мчатся пятьсот вооруженных рыцарей на велосипедах!

Никогда еще не видел я столь величавого зрелища. Господи, как развевались их перья, как сияло солнце на стальных спицах колес!

Я махнул рукой Ланселоту, — он узнал меня по белой повязке. Я сорвал с короля петлю и повязку и крикнул:

— На колени, мерзавцы, и приветствуйте короля! А кто откажется, тот будет ужинать

сегодня в аду! — Я всегда выражаюсь высоким стилем, когда готовлю эффект.

А приятно все-таки было, когда Ланселот и его ребята взошли на помост и пошвыряли шерифов и их приспешников за борт. Приятно было видеть, как изумленная толпа рухнула на колени и просила пощады у короля, над которым только что издевалась. А он стоял, величественный даже в лохмотьях, и я невольно подумал, что царственная осанка — это все-таки что-нибудь да значит.

Я был безмерно доволен. Принимая во внимание все обстоятельства, такого блестящего эффекта мне никогда еще не удавалось достигнуть.

И вдруг ко мне подходит Кларенс, сам Кларенс! Он мне подмигивает и говорит как ни в чем не бывало:

— Недурной сюрприз, а? Я знал, что он тебе понравится. Я давно уже втихомолку обучал ребят езде на велосипеде и все поджидал случая показать их искусство.

39. Поединок янки с рыцарями

Я снова дома, в Камелоте. Дня два спустя, за завтраком, на столе возле своей тарелки я нахожу только что отпечатанный, еще влажный газетный лист. Начинаю прямо с объявлений, зная, что найду там что-нибудь, касающееся меня лично. Так и есть!

«По указу короля.

Доводится до всеобщего сведения, что великий лорд и прославленный рыцарь сэра Саграмор Желанный снисходит до поединка с королевским министром Хэнком Морганом, коего именуют Хозяином, в удовлетворение за старинную обиду; и поединок этот состоится близ Камелота, в десятом часу утра, на шестнадцатый день следующего месяца. Бой будет беспощадный, ввиду того, что названная обида была смертельной и примирения не допускающей.»

Кларенс снабдил это извещение следующими редакционными комментариями:

«Как уже известно читателю, просмотревшему столбец объявлений, нам предстоит в ближайшее время быть свидетелями выдающегося турнира.

Имена артистов — ручательство, что скучно не будет. Касса открывается 13-го в полдень, входная плата 3 цента, место на скамейке 5 центов. Чистая прибыль поступает в больничный фонд. Будут присутствовать августейшие особы и важнейшие сановники. За исключением их, а также представителей прессы и духовенства, никто бесплатно пропущен не будет. Рекомендуем воздержаться от покупки билетов у спекулянтов — такие билеты при входе будут недействительны.

Все мы знаем и любим Хозяина, все мы знаем и любим сэра Саграмора, так придем же и поощрим обоих. Помните, что доход идет на цель благотворительную, и притом в пользу учреждения, стирающего руку помощи равно ко всем страждущим, независимо от национальности, происхождения, общественного положения и цвета кожи, — единственная в мире благотворительность, не имеющая ни политической, ни религиозной подкладки, но говорящая: „Здесь струится ручей, подходите к нему все жаждущие и пейте!“ Так раскошеливайтесь! Не пожалеете — отлично проведете время. На месте продажа пирожков и камней, чтобы разбивать их; а также специального циркового лимонада — три капли лимонного сока на бочку воды.

Это первый турнир, к которому будет применен новый закон, разрешающий каждому из участников выбрать себе любой род оружия. Обратите на это внимание.»

Вплоть до назначенного дня во всей Британии только и было разговору, что об этом поединке. Все остальные темы и интересы отступили на задний план. Не потому, что сам по себе турнир был таким уже важным делом, не потому, что сэра Саграмора нашел святой Грааль, — ибо ему найти его не удалось, — не потому, что второе (после короля) лицо в государстве участвовало в этом поединке, — нет, все это было делом обычным. Была особая причина, вызвавшая такое необычное внимание к предстоящему поединку. Весь народ знал, что это будет поединок не между двумя обыкновенными людьми, а между двумя могущественными волшебниками, поединок не мышц — но разума, не человеческой силы — но сверхчеловеческого искусства, последняя битва за первенство двух великих чародеев своего века. Каждый понимал, что самые пышные состязания самых прославленных рыцарей не могут

стоять в одном ряду с подобным зрелищем: они всего лишь детская игра в сравнении с таинственной и страшной битвой богов. Да, весь мир знал, что это в сущности поединок между Мерлином и мной, между его волшебной силой и моей. Все знали, что Мерлин трудился дни и ночи, стараясь сообщить оружию и броне сэра Саграмора сверхъестественную силу нападения и защиты, что по заказу Мерлина духи воздуха соткали облачное покрывало, сквозь которое противник мой будет видим всем, кроме меня. Тысяча рыцарей не могла бы справиться с сэром Саграмором, так вооруженным и находящимся под таким покровительством, никакие доселе известные чары не могли бы одолеть его. Все это были факты. В них нечего было сомневаться, никаких оснований для сомнения не существовало. Оставалось выяснить: существуют ли иные чары, *неведомые* Мерлину, которые способны сделать покрывало сэра Саграмора прозрачным для меня и его заколдованные доспехи уязвимыми для моего оружия? Этот вопрос мог решить только сам поединок. И весь мир ждал поединка.

Итак, мир полагал, что на карту здесь поставлено многое, и мир был прав. И все-таки на карту было поставлено больше, чем он полагал. Дело шло о *дальнейшем существовании странствующего рыцарства*. Я действительно был чемпионом, но не чемпионом вульгарного чернокнижия, — я был чемпионом сурового, несентиментального, здравого смысла и разума. Я шел на бой с твердым намерением — либо уничтожить странствующее рыцарство, либо пасть его жертвой.

Пространство для зрителей было отведено огромное, однако шестнадцатого числа в девять часов утра не было уже ни одного свободного места. Грандиозные трибуны были украшены флагами, знаменами, роскошными драпировками и набиты вассальными королями, их придворными и британской аристократией; на первых местах красовались король с королевой, а вокруг них сверкало всеми цветами радуги море бархата и шелка, блеск которого можно было бы сравнить только с битвой между закатом в верховьях Миссисипи и северным сиянием. Целый лагерь разноцветных шатров, украшенных флагами, с часовым перед каждой дверью, державшим в руках сверкающий щит, тоже представлял великолепное зрелище. Здесь были все рыцари, обладавшие хоть каким-нибудь честолюбием, хоть какой-нибудь гордостью за свое сословие, ибо мое отношение к рыцарству как сословию не составляло тайны ни для кого, и защитники рыцарства не хотели упустить удобного случая. Если бы я победил сэра Саграмора, другие рыцари имели право один за другим вызывать меня на бой до тех пор, пока я был согласен сражаться.

На моем конце поля находилось всего два шатра — один для меня, другой — для моих слуг. В назначенный час король подал знак, и герольды возгласили имена бойцов и причины ссоры. Наступила тишина, затем раздался звук рога, возвещающий о начале турнира. Толпа затаила дыхание; на всех лицах было жадное любопытство.

Из своего шатра выехал великий сэр Саграмор, огромный, величественный и неподвижный, как железная башня; огромная пика его торчала также недвижно и прямо, сжатая могучей рукой; морда и грудь его огромного коня были закованы в сталь, а туловище покрыто пышной попоной, которая свисала почти до земли. О, величественное зрелище! Его приветствовали криками восхищения.

Затем выехал и я. Но криками меня не приветствовали. Сначала наступило молчание, красноречивое и полное изумления, потом грянул взрыв хохота и прокатился по всему этому человеческому морю, но тотчас же был оборван предостерегающим звуком рога. На мне был простой и удобный гимнастический костюм — телесного цвета трико и короткие пышные пуфы из синего шелка; на голове моей не было никакого головного убора. Конь у меня был невелик, но быстрый, гибкий, с мышцами, как пружины, и стремительный, как борзая. Это был красавец с шелковистой шерстью и ничем не обремененный, кроме седла и уздечки.

Железная башня на разукрашенном огромном коне понемногу приближалась ко мне, выделявая тяжеловесные пируэты, и я двигался ей навстречу. Мы остановились; башня поклонилась мне, я ответил поклоном; потом мы поехали рядом к ложе, где восседали король и королева, чтобы преклониться перед ними. Королева воскликнула:

— Как, сэра Хозяин, вы собираетесь сражаться голый — без пики, без шпаги, без...

Но король оборвал ее и вежливо дал ей понять, что это ее не касается. Опять затрубили в рог; мы разъехались, заняли места в разных концах ратного поля и приготовились. Тут выступил старый Мерлин и накинул на сэра Саграмора тонкое, как паутина, покрывало, и сэр Саграмор стал похож на тень отца Гамлета. Король подал знак, рог завыл, и сэр Саграмор, держа свою огромную пику наперевес, уже несся прямо на меня с развевающимся сзади покрывалом. Я свистнул и, как стрела, помчался к нему навстречу, насторожившись и делая вид, будто я не вижу его и знаю о его приближении только по звуку. Хор поощрительных возгласов подбодрял моего противника, но и мне чей-то дружеский голос крикнул:

— Держись, тощий Джим!

Могу биться об заклад, что это кричал Кларенс; да и манера выражаться была его. Когда наконец грозной пики был в каких-нибудь полутора ярдах от моей груди, я отскочил на своем коне в сторону, и огромный рыцарь пролетел мимо, пронзив пикой пустоту. Меня наградили бурными аплодисментами. Мы разъехались и снова понеслись друг другу навстречу. Снова промах рыцаря и гром аплодисментов в мою честь. Потом в третий раз то же самое. Мне так хлопали, что сэр Саграмор потерял терпение и, изменив тактику, стал гоняться за мной. Этим он не достиг ничего: мы словно играли в пятнашки, причем все преимущества были на моей стороне; я всякий раз ускользал от него и даже один раз очутился у него за спиной и хлопнул его сзади по плечу. Наконец уже не он гонялся за мной, а я за ним; и, сколько он ни поворачивался, ему больше ни разу не удалось оказаться сзади меня; каждый его маневр кончался тем, что он был впереди, а я сзади. Он вынужден был бросить это занятие и отъехать на свой край ратного поля. Выйдя из себя, он забылся и крикнул мне обидное слово, которое положило конец моему терпению. Я спустил свое лассо с седельного рога и взял петлю в правую руку. Посмотрели бы вы, как он помчался ко мне! На этот раз он шутить был не намерен, глаза его налились кровью. Я спокойно сидел на коне, а петля лассо чертила широкие круги над моей головой; внезапно я поскакал ему навстречу; когда пространство между нами сократилось до сорока футов, змеевидная спираль моего веревочного оружия взвилась в воздух, а мой хорошо натренированный конь остановился как вкопанный. Миг — и крепкая петля, обвив шею сэра Саграмора, сбросила его с седла! Клянусь раем и адом, вот это была сенсация!

Бесспорно, в этом мире наибольшим успехом пользуется то, что ново. Эти люди не знали ни ковбоев, ни их забав и от восторга повскакали с мест. Со всех сторон гремели крики:

— Бис! Бис!

Меня удивило, откуда они знают это слово, но я не имел времени разбираться в филологических тонкостях, ибо весь рыцарский улей уже жужжал и дела мне предстояло немало. Едва сэра Саграмора освободили от петли и отнесли в его шатер, я снова выехал на середину поля, крутя лассо над головой. Я знал, что мне предстоит новый бой, чуть только рыцари изберут преемника сэру Саграмору, а это нетрудно при таком множестве желающих. Действительно, преемник был избран сразу — сэр Эрви де Ревель.

Бзз! Он мчался ко мне, пылая, как дом, охваченный пожаром; я увернулся; он как молния пронесся мимо меня, уже с моей волосяной петлей на шее; через мгновение — пст! — его седло было пусто.

Мне снова закричали «бис!»; и еще, и еще, и еще. Когда я спешил пятого, мои бронированные противники решили, что со мной шутки плохи, и собрались на совещание. Они

решили, пренебрегая этикетом, выслать против меня самых прославленных и могучих. К изумлению всего их мирка, я вышиб из седла сначала сэра Ламорака де Галис, затем сэра Галахада. Как видите, им теперь осталось только одно — постараться побить меня своим старшим козырем, выслать против меня лучшего из лучших, могущественнейшего из могущественнейших — самого сэра Ланселота Великого!

Как, по-вашему, мог я гордиться? Ну еще бы! Вот Артур — король Британии, вот Гиневра, вот целые груды мелких провинциальных королей и королишек; вот в лагере шатров прославленные рыцари многих стран, и в их числе рыцари Круглого Стола, самые знаменитые во всем христианском мире; и вот само солнце этой блестящей плеяды мчится на меня, выставив вперед пику, и сорок тысяч глаз с обожанием смотрят на него; и я бестрепетно жду его приближения. В памяти моей мелькнул дорогой мне образ маленькой телефонистки с восточной окраины Хартфорда; как мне хотелось, чтобы она видела меня в эту минуту. Непобедимый налетел на меня, как ураган. Все зрители вскочили с мест... Роковая петля мелькнула в воздухе, и не успели они глазом мигнуть, как я уже волочил за собой, словно на буксире, лежащего на спине сэра Ланселота и посылая воздушные поцелуи в ответ на гром рукоплесканий и бурю взметнувшихся носовых платков.

«Победа полная, — говорил себе я, опьяненный славой, свертывая свой аркан и вешая его на седельный рог, — никто больше не дерзнет выступить против меня. Странствующему рыцарству конец!...» Представьте же, как я изумился, — и не я один, — когда звук рога возвестил, что еще кто-то собирается со мной сразиться! Это было необъяснимо. Но тут я заметил Мерлина, который, крадучись, уходил от меня, и я сразу же обнаружил исчезновение моего лассо! Старый шут, несомненно, украл его и спрятал под своей одеждой.

Рог протрубил вторично. Я глянул и увидел подъезжающего ко мне на коне сэра Саграмора, — пыль с него счистили и вуаль опять прицепили. Я подъехал к нему рысью и притворился, будто знаю о его присутствии только по стуку копыт. Он сказал:

— Слух у тебя чуткий, но и он не спасет тебя вот от этого, — и дотронулся до рукоятки своего огромного меча. — Что это такое, ты не видишь, потому что оно скрыто под волшебным покрывалом, это не длинная неуклюжая пика, а меч, и тебе от него не уйти.

Забрало его было поднято; в улыбке его была смерть. Да, от меча его мне не уйти. Теперь один из нас должен умереть. Если только ему удастся дотянуться до меня мечом, нетрудно будет назвать имя покойника. Мы поехали рядом и приветствовали короля с королевой. Король встревожился. Он сказал:

— Где твое странное оружие?

— Его украли, государь!

— А другого у тебя нет?

— Нет, государь, я захватил с собой только одно.

Тут вмешался Мерлин:

— Он захватил с собой только одно, потому что другое и не мог захватить. Другого не существует. Это единственное принадлежит Королю Демонов Моря. Этот человек обманщик и невежда: если бы он не был невеждой, он бы знал, что это оружие можно употребить только восемь раз, а затем оно исчезает на дно морское.

— Значит, он безоружен, — сказал король. — Сэр Саграмор, ты, конечно, разрешишь ему взять меч.

— Я одолжу ему свой, — сказал сэр Ланселот, вскочив. — Он самый доблестный рыцарь из всех живущих, и он получит мой меч.

Он хотел было вынуть свой меч из ножен, но сэр Саграмор возразил:

— Это неправильно. Он должен сражаться тем оружием, которое сам избрал; он имел

право сам избрать себе оружие и воспользовался этим правом. Если он ошибся, пусть ошибка падет на его голову.

— Рыцарь! — вскричал король. — Ты ослеплен! Жажда мести помутила твой разум! Неужели ты убьешь безоружного?

— Если он осмелится это сделать, он даст ответ мне, — сказал сэр Ланселот.

— Я дам ответ всякому, кто пожелает, — крикнул сэр Саграмор запальчиво.

Мерлин снова вмешался, усмехаясь самой подлой своей усмешкой, злорадной и самодовольной.

— Хорошо сказано, верно сказано! И хватит разговоров, пусть милорд король подаст знак к бою.

Королю пришлось уступить. Протрубил рог, и мы снова разъехались. Мы стояли в ста ярдах друг от друга, глядя друг другу в лицо, оцепеневшие и недвижимые, словно конные статуи. Тишина; прошла минута, казавшаяся вечностью; никто не спускал с нас глаз, никто не шевельнулся. Король медлил; казалось, у него не хватает духу подать знак. Но вот он махнул рукой, и сразу звонко пропел рог. Длинный меч сэра Саграмора описал в воздухе сияющую дугу, и вот он, великолепный рыцарь, понесся на меня. Я не двинулся. Он приближался. Я не шевельнулся. Зрители были так взволнованы, что кричали мне:

— Беги, беги! Спасайся! Это смерть!

Я не двинулся и на дюйм, пока этот громовержец не подскакал ко мне на пятнадцать шагов; тогда я выхватил револьвер из кобуры; гром, молния — и револьвер исчез в кобуре, прежде чем кто-либо сообразил, что случилось.

Конь без всадника пронесся мимо, а на земле лежал сэр Саграмор, мертвый, как камень.

Люди, подбежавшие к нему, онемели, убедясь, что он умер, и притом, по-видимому, без всякой причины, потому что на теле его не было заметно никакой раны. Правда, в кольчуге его, на груди, была крохотная дырочка, но такому пустяку они не придали значения; так как при огнестрельной ране крови вытекает немного, то кровь осталась под одеждой и не протекла сквозь доспехи. Труп поволокли к королю, и вся знать разглядывала его. Естественно, все обалдели от изумления. Меня пригласили подъехать и объяснить чудо. Но я остался на месте, как статуя, и сказал:

— Если это приказ короля, я подъеду, но мой повелитель король знает, что я нахожусь там, где повелевают мне находиться законы о поединках, до тех пор, пока есть желающие сразиться со мною.

Я ждал. Желающих не было. Тогда я сказал:

— Если кто-нибудь из присутствующих сомневается в том, что бой был честный и победа заслуженная, я не жду от них вызова и сам вызываю их.

— Это доблестный вызов и достойный тебя, — сказал король. — Назови же имя того, с кем ты хочешь сразиться первым.

— Ни с кем в отдельности, я вызываю всех! Я стою здесь и вызываю на бой все рыцарство Англии — не поодиночке, а всех вместе.

— Что? — воскликнули разом два десятка рыцарей.

— Вы слышали вызов. Принимайте его — или я назову вас малодушными трусами, всех до единого.

Как вам понятно, это был блеф. В такие мгновения вполне разумно дерзнуть и поднять ставку в сто раз выше, чем позволяют вам ваши возможности; сорок девять шансов против пятидесяти, что никто не осмелится сделать ход, и вы заберете все фишки. Но на этот раз номер не прошел! В одно мгновение пять сотен рыцарей вскочили в седла, и не успел я опомниться, как они уже стройными рядами, гремя оружием, неслись на меня. Я выхватил оба свои

револьвера, взглядом измеряя расстояние и подсчитывая шансы.

Бац! — одно седло опустело. Бац! — другое тоже. Бац! бац! — и еще двое скатились на землю. Я знал, что жизнь моя висит на волоске: если и одиннадцатый выстрел не убедит их в моей непобедимости, двенадцатый противник убьет меня наверняка. И я почувствовал себя счастливым, когда после падения девятого всадника я заметил колебание в рядах врагов — признак приближающейся паники. Если бы я упустил это мгновение, все погибло бы. Но я не упустил его. Я поднял оба револьвера и прицелился. Мои противники остановились, потом повернули коней и бросились врассыпную.

Битва была выиграна. Странствующее рыцарство как учреждение погибло. Началось шествие цивилизации. Что я чувствовал? Ну, этого вы и представить себе не можете.

А брат Мерлин? Его ставка опять была бита. Всякий раз, когда волшебство чернокнижия сталкивалось с волшебством науки, чернокнижное волшебство терпело поражение.

40. Три года спустя

Переломив хребет странствующему рыцарству, я больше не считал нужным работать втайне. На другой же день я показал изумленному миру свои засекреченные школы, свои рудники, свою обширную систему потаенных фабрик и мастерских. Иными словами, я выставил девятнадцатый век напоказ шестому.

Выгодное положение нужно использовать быстро. Рыцарство временно повержено в прах, но чтобы не дать ему опомниться, надо его окончательно парализовать, — иначе никак нельзя. Как вы видели, все мое поведение на ратном поле под конец было просто блефом; и они разгадают это, если я дам им возможность. Итак, я не должен дать им опомниться. И я не дал.

Я возобновил свой вызов, выгравировал его на меди, отпечатал и разослал повсюду, где был хоть один священник, который мог прочесть его народу; без конца печатал его в газете, в столбце объявлений.

Я не только возобновил его, но и расширил. Я заявил: назначьте день, и я с пятьюдесятью помощниками выйду на бой с рыцарями всего света и уничтожу их.

Теперь это не был блеф. Я собирался исполнить то, что говорил. Я мог исполнить то, что обещал. Смысл моего вызова был так ясен, что понять его мог всякий. Даже самые тупые из рыцарей поняли, что им остается только сдаться. И они сдались. В течение ближайших трех лет они ни разу не доставили мне беспокойства, достойного упоминания.

Вспомните, что прошло три года. И посмотрите, какой стала Англия. Счастливой, процветающей страной, чудесно изменившейся. Всюду школы и множество колледжей. Несколько хороших газет. Появились даже писатели, среди них первое место занял сэра Дайнадэн-Шутник, выпустивший томик поседелых остроумцев, которые были мне известны в течение тринадцати веков. Если бы он хоть изъясил из него тот старый гнусный анекдот о проповеднике, я не сказал бы ничего; но этот анекдот я не мог перенести: я истребил книгу и повесил автора.

Рабство было уничтожено: все люди были равны перед законом; налоги взыскивались со всех, независимо от сословия. Телеграф, телефон, фонограф, пишущая машинка, швейная машина, пар, электричество мало-помалу входили в моду. Два-три парохода плавали по Темзе. У нас было несколько паровых военных судов, начиналось паровое торговое судоходство; я собирался послать экспедицию для открытия Америки.

Мы строили несколько железнодорожных линий, и линия Камелот — Лондон была уже окончена и вступила в эксплуатацию. У меня хватило ума поставить дело так, что все должности службы движения считались высокими и необычайно почетными. Мой план заключался в том, чтобы привлечь на эти должности рыцарство и дворянство, заставить их работать и тем самым уберечь их от баловства. План отлично удался, и за каждую должность шла борьба между кандидатами. Кондуктор экспресса, отходившего в 4 ч. 33 м., был герцог; не было ни одного кондуктора с титулом ниже графа. Все это были славные ребята, но у всех у них было два недостатка, на которые мне пришлось смотреть сквозь пальцы, — они не хотели снять с себя доспехи и прикарманивали плату за проезд — то есть обкрадывали компанию.

В стране не осталось ни одного рыцаря, который не был бы занят каким-нибудь полезным делом. Они и теперь разъезжали по всей стране из конца в конец, но уже в качестве распространителей полезных знаний: благодаря своей страсти и привычке к странствиям они стали лучшими разносчиками цивилизации. Ездили они, как и прежде, в лагах, с мечами, пиками и секирами, и когда им не удавалось убедить кого-нибудь испробовать швейную машину, или музыкальный ящик, или проволочную изгородь, или подписаться на журнал

общества трезвости, они просто устранили строителя и ехали дальше.

Я был очень счастлив. Дело постепенно шло к осуществлению моих тайных, давно намеченных планов. Таких планов у меня было два, и оба они были куда значительнее всех прежних. Один из них заключался в том, чтобы низвергнуть католическую церковь и на ее обломках построить протестантизм — не в виде государственной религии, а для желающих. Второй же заключался в том, чтобы добиться декрета, вводящего после смерти Артура всеобщее голосование для всех мужчин и женщин или, на худой конец, для всех мужчин, умных и глупых, и для всех матерей средних лет, которые смыслят ведь все-таки не меньше, чем их сыновья двадцати одного года от роду. Артур мог прожить еще лет тридцать, — сейчас ему было столько же, сколько и мне, то есть сорок лет, — и я полагал, что за это время я без труда подготовлю наиболее деятельную часть населения к событию, впервые совершающемуся в мировой истории, — к решительной, полной, но бескровной революции. В результате получится республика. Мне совестно, однако я должен признаться: во мне шевелилось недостойное желание стать первым ее президентом. Что поделаешь, человеческое не чуждо и мне, я сам это понимаю.

Кларенс тоже мечтал о революции, но несколько иного характера. Он хотел республики без привилегированных сословий, но с наследственной королевской семьей во главе ее вместо выборного главы государства. Он полагал, что у народа, уже изведавшего радость чтить царствующий дом, не следует отнимать это удовольствие, иначе он захиреет и пропадет с тоски. Я же утверждал, что короли опасны. Он говорил: «Тогда возведите на трон котов». По его мнению, королевская династия из котов и кошек окажется вполне на месте: пользы от них будет не меньше, чем от любой другой династии, знать они будут столько же, у них будут те же добродетели и те же пороки, та же склонность к дракам с соседскими царствующими котами, то же смешное тщеславие, — а стоять они будут очень недорого. А «божьей милостью Мурлыка VII, Мурлыка XI, Мурлыка XIV» звучит ничуть не хуже имени любого другого коронованного кота в лосинах.

— Как правило, — сказал он на своем чистом современном английском языке, — коты гораздо нравственнее королей и окажут самое благотворное влияние на нравственность народа, всегда склонного подражать своим монархам. И так как народ уже приучен чтить королевский сан независимо от его носителя, он будет чтить и этих изящных безвредных котов, тем более что очень скоро все заметят, что кот-король никого не вешает, никого не обезглавливает, никого не сажает в темницу, не совершает никаких жестокостей и несправедливостей. Тогда его начнут почитать и любить еще больше, чем почитают и любят обыкновенных королей. Весь мир будет с завистью взирать на нашу гуманную и утонченную систему правления. Царственные мясники внезапно начнут повсюду исчезать, освободившиеся вакансии будут замещаться котятами из нашего королевского дома, — у нас будет кошачья фабрика, снабжающая троны всего мира, — через сорок лет всей Европой будут править коты, и поставлять их будем мы. Настанет царство всеобщего мира, которому не будет конца... Мяу... ау... ау... мяу!.. Фрр!.. мяу!..

Черт его возьми, я думал, он говорит серьезно, и даже стал соглашаться с ним, пока он вдруг не замыкал, и я чуть не выскочил из штанов от испуга. Но Кларенс не умел быть серьезным. Он даже не знал, что это значит. Он изобрел вполне разумное усовершенствование конституционной монархии, но сам был слишком легкомыслен, чтобы оценить это. Я хотел обругать его, но тут вбежала Сэнди, обезумевшая от испуга: рыдания мешали ей говорить. Я обнял ее, успокаивая, лаская и упрасывая:

— Говори же, дорогая, говори! Что случилось?

Голова ее упала мне на грудь, и она еле слышно прошептала:

— Алло-Центральная!..

— Живо! — крикнул я Кларенсу. — Вызови по телефону королевского гомеопата!

Через минуту я уже стоял на коленях перед люлькой ребенка, а Сэнди рассылала слуг по всему дворцу. Я сразу понял, что случилось, — ложный круп! Я нагнулся и прошептал:

— Очнись, деточка! Алло-Центральная!

Она медленно открыла свои кроткие глазки и с трудом пролепетала:

— Папа.

Это меня утешило. Значит, она еще не умирает. Я послал за серным раствором и сам смастерил ингалятор, ибо, когда Сэнди или ребенок больны, я не сижу без дела, ожидая врача. Я умею ухаживать за ними, у меня большой опыт. Наша дочка большую часть своей жизни провела у меня на руках, и я умел ее успокоить и осушить слезы у нее на ресницах, даже когда мать не знала, что с нею делать.

Сэр Ланселот в парадных доспехах проходил в это время через главную залу, направляясь в торговую палату; он был председателем торговой палаты, — должность эту он купил у сэра Галахада, ибо торговая палата состояла теперь из рыцарей Круглого Стола, а Круглый Стол служил для деловых заседаний. Место за этим столом стояло... вы никогда не поверите, если я назову вам цифру, поэтому нет смысла ее называть. Сэр Ланселот был биржевик, владел частью акций новой железнодорожной линии и как раз сегодня собирался играть на понижение [\[37\]](#). Но что из этого? Он оставался прежним Ланселотом. Заглянув мимоходом в раскрытую дверь и увидав, что его любимица больна, он сразу забыл все: пусть там идет игра на повышение, пусть там идет игра на понижение — ему все равно, он останется с маленькой Алло-Центральной, даже если бы это стоило ему всего состояния. И он остался. Он швырнул свой шлем в угол и через минуту уже кипятил на спиртовке воду; тем временем Сэнди устроила над люлькой навес из одеяла: все было готово для ингаляции.

Сэр Ланселот пускал пар; мы с ним подбавили в кастрюльку негашеной извести, карболки и молочной кислоты, и целебный пар по трубке пошел под одеяло, в люльку. Мы стояли с ним по обе стороны люльки, как часовые. Сэнди успокоилась и была так нам благодарна, что набила две толстые папиросы тертой ивовой корой и позволила нам курить, заявив, что в люльку дым не проникает, а она любит, когда курят, так как из всех дам страны она первая увидела курильщика. Поистине умирительно было видеть сэра Ланселота, в благородных доспехах, сидящего возле детской постельки. Красивый он был мужчина и добрый человек и, конечно, мог бы сделать счастливыми жену и детей. Но Гиневра... впрочем, стоит ли скорбеть о том, что уже сделано и чему нельзя помочь.

Мы дежурили с ним по очереди три дня и три ночи, пока не миновала опасность; тогда он взял малютку на руки и поцеловал ее, — и перья его шлема склонились над ее золотой головкой, — потом осторожно передал ее Сэнди и величаво проследовал через главную залу между двумя рядами восхищенных воинов и слуг. И ничто не подсказало мне, что я вижу его в последний раз! Боже, как тяжело жить на этом свете!

Доктора объявили, что девочку нужно увезти, если мы хотим вернуть ей здоровье и силу. Ей необходим морской воздух. Мы взяли военный корабль и свиту в двести пятьдесят человек и отправились в плаванье. Через две недели мы пристали к французскому берегу, и доктора посоветовали нам здесь остановиться. Королек этой области предложил нам свое гостеприимство, которым мы охотно воспользовались. Жил он не очень удобно, но, перенеся кое-что с корабля, мы отлично устроились в его нелепом старом замке.

В конце месяца я послал корабль домой — за продовольствием и новостями. Через три или четыре дня он должен был вернуться. В числе других новостей я ждал известий о результатах еще одного из моих экспериментов. Мой план заключался в том, чтобы заменить турниры чем-нибудь, что могло бы занять моих рыцарей без вреда для окружающих, служить выходом для

избытка их энергии и в то же время поддержать лучшее, что в них было, — благородный дух соревнования. Я создал из них группу игроков, которых тренировал в тиши, и теперь приближался день их первого публичного выступления.

Мой эксперимент называется игрой в бейсбол. Чтобы сразу ввести в моду эту игру и поставить ее на недосыгаемую для критики высоту, я подбирал игроков в мои первые две девятки не по способностям, а по знатности, — каждый рыцарь, участвовавший в игре, был владетельной особой. Подобного народа вокруг Артура было всегда сколько угодно. Там нельзя было швырнуть камешек, чтобы не угодить в какого-нибудь короля. Разумеется, о том, чтобы эти господа сняли с себя доспехи, не могло быть и речи, они даже купались в доспехах. Уж и за то спасибо, что они согласились внести некоторое различие в свои доспехи, чтобы можно было отличить одну команду от другой. Так, одна команда носила кольчуги в виде фуфаек, а другая — латы из моей новой бессемеровской стали. Их упражнения на поле были фантастичны до крайности. Они никогда не убегали от мяча, а поджидали его на месте, и мяч отскакивал от бессемеровской стали на полтора-два ярда. А когда игрок с разбегу кидался наземь и полз на брюхе за мячом, было похоже, будто броненосец входит в порт. Вначале я назначил судьями лиц незнатного происхождения, но от этого пришлось отказаться. Угодить моим командам было не легче, чем любой другой бейсбольной команде. Первое решение судьи обычно оказывалось и последним: его разрубали пополам, и друзья относили труп на носилках. Когда заметили, что ни один судья не переживает игру, судейская должность стала непопулярной, и я был вынужден назначать в судьи людей, чье звание и высокое положение в государстве служили бы им защитой.

Вот состав команд:

БЕССЕМЕРЫ:

Король Артур
Король Лот Лотианский
Король Северной Галлии
Король Марсил
Король Малой Британии
Король Лабор
Король Пеллам Листенджизский
Король Багдемагус
Король Толлем ля Фэнт

ФУФАЕЧНИКИ:

Император Люций
Король Логрис
Король Марголт Ирландский
Король Морганор
Король Марк Корнваллийский
Король Мелиодас Лионский
Король Нонтр Гарлотский
Король Озера
Султан Сирийский

Судья — Кларенс.

На первом публичном состязании должно было, по моему расчету, присутствовать пятьдесят тысяч человек; стоило проехать весь свет, чтобы поглядеть на такую потеху. Все нам благоприятствовало; стояла чудесная теплая весна, и природа уже облачилась в свой новый наряд.

41. Отлучение

Но внимание мое было внезапно отвлечено от предстоящего состязания: нашей девочке внезапно стало хуже, положение ее было серьезное, и мы от нее не отходили. Нам не хотелось, чтобы за ней ухаживали посторонние, и мы вдвоем с Сэнди дежурили у ее постельки день и ночь. Ах, Сэнди, какое у нее было прекрасное сердце, как добра она была, как искренна и проста! Она была безупречной женой и матерью; а ведь женился я на ней только потому, что, по рыцарским правилам, она была моей собственностью до тех пор, пока кто-нибудь не выиграет ее у меня на поле брани. Сэнди изъездила всю Британию ради меня, нашла меня на лондонском эшафоте и сразу же заняла свое место рядом со мной, будто это было ее неотъемлемым правом. Я был уроженец Новой Англии, и, по моим понятиям, наша неразлучность рано или поздно могла скомпрометировать ее. Она этого не понимала, но я, чтобы прекратить всякие споры, поспешил обвенчаться с нею.

Я тогда не знал, что получил сокровище, а между тем она была сокровищем. Через год я уже обожал ее; она была самым близким и милым моим товарищем. Толкуют о прелестях дружбы между лицами одного и того же пола, но такая дружба вздор в сравнении с дружбой мужа и жены, живущих общими стремлениями, общими идеалами. Первая дружба — земная, вторая — небесная.

Вначале я еще долгое время во сне переносился через тринадцать столетий, и неудовлетворенный дух мой бесплодно взывал к исчезнувшему миру, не получая ответа. Много раз Сэнди слыхала слова, которые я бормотал по ночам во сне. И со свойственным ей великодушием решив, что я твержу имя женщины, которая когда-то была мне дорога, назвала этим именем наше первое дитя. Я был тронут до слез и все же чуть не грохнулся на землю, когда она, с улыбкой глядя мне в глаза в ожидании заслуженной награды, поднесла мне такой сюрприз:

— Имя той, кто была тебе дорога, сохранится и станет свято для нас и будет звучать музыкой в наших ушах. Теперь поцелуй меня, так как ты знаешь, какое имя дала я нашей дочке.

Но я не отгадал. Я никак не мог догадаться, но признаться в этом было бы жестоко: мне не хотелось испортить ее милую игру; поэтому я не выдал себя и сказал:

— Да, любимая, я знаю, и как это мило с твоей стороны! Но я хочу, чтобы твоя губы, — они ведь и мои, правда? — первые произнесли его. Вот тогда оно прозвучит для меня музыкой.

Польщенная, она пробормотала:

— Алло-Центральная!

Я не рассмеялся, — я благодарен богу, что я не рассмеялся, — но это стоило мне таких страшных усилий, что в течение нескольких недель у меня все кости звенели на ходу. Так она никогда и не поняла своей ошибки. Услыхав однажды те же слова в разговоре по телефону, она удивилась и рассердилась, но я сказал ей, что телефонистки действуют по моему приказу: милое имя моей утраченной подруги и ее маленькой тезки будет отныне служить любезным телефонным приветствием. Это не было правдой, но это было то, что нужно.

Две с половиной недели дежурили мы возле колыбельки и, оторванные от всего мира, не знали, что творится на свете. Наконец пришла награда: девочку мы спасли. Были ли мы благодарны? Это не то слово. Вообще не существует слова, способного выразить, что мы чувствовали. Это вы знаете сами, если вам приходилось сопровождать ваше дитя в его странствии по Долине Теней и потом видеть, как оно возвращается к жизни и улыбается все озаряющей улыбкой.

Мы снова вернулись в мир! И, взглянув друг другу в глаза, внезапно были поражены одною

и тою же мыслью: прошло более двух недель, а корабль еще не вернулся.

Я созвал свою свиту. По лицам слуг я сразу заметил, что они давно уже беспокоятся. Взяв с собой несколько человек, я проскакал пять миль и взобрался, на вершину горы, с которой видна была морская даль. Где же мой торговый флот, еще недавно оживлявший и украшавший это море своими белыми крылами? Ни одного корабля! Ни паруса, ни дымка — от края до края мертвая пустыня вместо кипучей и шумной жизни.

Я сразу вернулся, никому не сказав ни слова. Но Сэнди я рассказал все. Мы не могли придумать никакого объяснения этой страшной перемене. Вторжение? Землетрясение? Чума? Вся нация перестала существовать? Но догадки были бесполезны. Я должен ехать, и сейчас же. Я взял взаймы у короля его «флот» — единственное крохотное суденышко величиной с паровой катер — и собрался в дорогу.

Разлука, о, как она была тяжела! Когда я, прощаясь, целовал дочку, она впервые после болезни заговорила, и мы чуть с ума не сошли от радости. Детский лепет, коверкающий слова, — какая музыка может сравниться с ним! И как грустишь, когда эта музыка смолкает, сменяется правильным произношением, зная, что больше она уже никогда не коснется твоего осиротелого слуха. И как отрадно было увезти с собой столь сладостное воспоминание!

На другое утро я был уже у английских берегов. В Дувре в гавани стояли корабли, но со спущенными парусами и без всяких признаков жизни. Было воскресенье, но в Кентербери на улицах — никого. И удивительней всего, что нигде не видно было ни одного священника, не зазвонил ни один колокол. Тоскливая тишина смерти царила всюду. Я ничего не мог понять. Наконец в конце города мне попалась похоронная процессия; гроб провожали только родственники и друзья покойного, священника с ними не было, — похороны без колокольного звона, без чтения священного писания, без свечей. Рядом была церковь, но, плача, они прошли мимо и не вошли в нее. Я взглянул на колокольню и увидел, что колокол завешен черным, а язык его подвязан. И я обо всем догадался! Теперь я понял, какое бедствие постигло Англию. Вторжение? Вторжение — вздор по сравнению с этой бедой. Имя ей — *Отлучение*^[38]. Я никого ни о чем не спрашивал: мне и так все было ясно. Церковь нанесла удар!

Теперь остается только изменить свою внешность и проехать незамеченным. Мой слуга уступил мне свою одежду, я переоделся в лесу и поехал дальше один: так было безопаснее.

Нерадостное путешествие. Глубокая тишина всюду. Даже в Лондоне. Движения никакого; люди не разговаривают, не смеются, не толпятся — они понуро бредут поодиночке, с тоской и страхом в сердцах. На Тауэре свежие боевые рубцы. Да, произошли немаловажные события.

В Камелот я, конечно, собирался ехать поездом. Поезд! Вокзал был пуст, как пещера. Я отправился в путь пешком. Я шел два дня, словно по пустыне, мертвой и унылой. Понедельник и вторник ничем не отличались от воскресенья. В Камелот я прибыл глубокой ночью. Город, когда-то сиявший электричеством, словно солнце, был теперь погружен во мрак и стал даже чернее окружающего его мрака, темным сгустком лежал он в черноте ночи. Мне почудилось в этом нечто символическое — знак, что церковь одолела меня и погасила все светочи цивилизации, зажженные мною. На темных улицах было пусто. С тяжелым сердцем продолжал я путь. Темная громада замка чернела на вершине холма, ни одного огонька в окнах. Подъемный мост был спущен, огромные ворота открыты настежь; никто меня не окликнул, ни одного звука, кроме стука моих шагов, зловеще раздававшегося в огромных пустых дворах.

42. Война

Кларенс один сидел в своих покоях, погруженный в меланхолию. Вместо электрической лампы перед ним горела древняя светильня, шторы на окнах были спущены, и комнату наполнял полумрак. Он вскочил и кинулся ко мне.

— Я готов заплатить миллиарды за счастье видеть тебя живым!

Он узнал меня сразу, несмотря на то, что я был переодет. Это, естественно, напугало меня.

— Расскажи мне, как произошло все это, — сказал я. — Что случилось?

— Если бы не королева Гинебра, беда не свалилась бы на нас так скоро, но в конце концов мы все равно не избежали бы беды. Беда эта вообще была неотвратима. Но, к несчастью, случилось так, что начало ей положила королева.

— И сэр Ланселот?

— Вот именно.

— Расскажи подробности.

— Тебе хорошо известно, что за последние годы на отношения между королевой и сэром Ланселотом во всем королевстве не смотрел косо только один человек...

— Да, король Артур.

— И только одно сердце ничего не подозревало...

— Да, сердце короля; сердце, которое не способно было заподозрить предательство со стороны друга.

— И король, вероятно, дожил бы до конца дней в счастливом неведении, если бы не одно из твоих нововведений — биржа. Когда ты уехал, железная дорога между Лондоном, Кентербери и Дувром была почти готова, а железнодорожные акции созрели для биржевой игры. Так что же сделал сэр Ланселот?..

— Я знаю, что он сделал: он спокойно продал почти весь свой пакет акций, а когда благодаря этому цены на акции упали, он по дешевке купил вдвое больше акций, чем продал, и разорил всех.

— Правильно. Он зажал ребят в тиски и выжал из них весь сок. Держатели акций посмеивались, продавая ему акции за пятнадцать и за шестнадцать, в то время как цена им была десять. Но смеяться им пришлось недолго. Через несколько дней они охотно заплатили бы Непобедимому за каждую акцию по двести восемьдесят три!

— Боже!

— Он ободрал их как липки! Они этого заслужили; и все королевство этому радовалось. Но в числе разоренных оказались сэр Агравэн и сэр Мордред, племянники короля. Конец первого действия. Действие второе, сцена первая: замок Карлайл, куда двор прибыл на несколько дней поохотиться. Действующие лица: королевские племянники Мордред и Агравэн предлагают открыть глаза Артуру на отношения Гинебры и сэра Ланселота. Сэр Гоуэн, сэр Гарет и сэр Гахерис заявляют, что они не хотят быть причастными к такой подлости. Начинается спор, и очень громкий. И тут входит король. Мордред и Агравэн обрушивают на него весь свой ужасный рассказ. Немая сцена. По приказу короля сэру Ланселоту подставляют ловушку, и сэр Ланселот попадает в нее. Это дорого обошлось доносчикам — Мордреду, Агравэну и двенадцати другим рыцарям помельче, потому что сэр Ланселот убил их всех, кроме Мордреда. Но, конечно, это не могло улучшить отношений между Ланселотом и королем, и не улучшило.

— О боже, результат этого мог быть только один: война! Рыцари всего королевства разделились на две партии — на партию короля и партию сэра Ланселота.

— Так оно и случилось. Король послал королеву на костер, чтобы очистить ее огнем.

Ланселот со своими рыцарями спас ее и, спасая, убил многих твоих и моих старых друзей, самых лучших друзей: погибли сэр Белиас ле Оргюлю, сэр Сегваридес, сэр Грифлет ле Фис де Дье, сэр Брэндайлс, сэр Эгловэл...

— О, ты надрываешь мне сердце!

— погоди, я еще не кончил... сэр Тор, сэр Готер, сэр Джиллимер...

— Лучший игрок в моей бейсбольной команде! Как он бил правой!

— Три брата сэра Рейнолда, сэр Дамус, сэр Приам, сэр Кэй Странник...

— Тоже великолепный игрок, не раз ловивший мяч зубами. Довольно, с меня хватит.

— Сэр Драйент, сэр Ламбегус, сэр Хермайнд, сэр Пертолоп, сэр Перимонес и... кто бы ты думал еще?

— Скорей! Не мучь меня!

— Сэр Гахерис и сэр Гарет — оба!

— Невероятно! Они обожали Ланселота.

— Это вышло случайно. Они были просто зрителями: пришли безоружные поглядеть, как будут наказывать королеву. Сэр Ланселот рубил в слепом бешенстве всех, кто попадался ему на пути, и зарубил сэра Гахериса и сэра Гарета, даже не заметив, кто они такие. Вот моментальный фотографический снимок этого побоища; он продается в каждом газетном ларьке. Видишь: сэр Ланселот стоит возле королевы, подняв меч, а рядом умирает сэр Гарет. Даже сквозь дым можно разглядеть муку на лице королевы. Потрясающий снимок!

— Потрясающий. Необходимо его сохранить. Это исторический документ, ему цены нет! Продолжай.

— Затем началась самая настоящая война. Ланселот отступил в свой замок Твердыня Счастья и собрал вокруг себя всех примкнувших к нему рыцарей. Король с большим войском двинулся к замку, и они сражались много дней, завалив все окрестности трупами и обломками железа. Потом церковь помирила Артура с Ланселотом и королевой — со всеми, кроме сэра Гоуэна. Сэр Гоуэн оплакивал своих убитых братьев, сэра Гарета и сэра Гахериса, и ни за что не хотел мириться. Он предупредил Ланселота, что идет на него войной и чтобы тот приготовился. Ланселот со своими сторонниками отплыл в свое герцогство Гийень, а Гоуэн последовал за ним с армией и уговорил Артура плыть туда же. Артур оставил управление королевством в руках сэра Мордред до твоего возвращения...

— Ох! Узнаю короля и его обычную мудрость.

— Да. Сэр Мордред сразу же вздумал сделаться королем. Прежде всего он решил жениться на Гиневре, но она удрала и спряталась в лондонском Тауэре. Мордред напал на Тауэр. Архиепископ Кентерберийский отлучил его от церкви. Король вернулся. Мордред сражался с ним в Дувре, и в Кентербери, и в Бархэмской долине. Потом начались переговоры о мире. Условия: Мордред получает Корнваллис и Кент до конца жизни Артура, а потом к нему переходит все королевство.

— Здорово! Моя мечта о республике так и останется мечтой.

— Да. Обе армии стояли под Солсбери. Гоуэн, — голова Гоуэна покоится в Дуврском замке, где он пал в бою, — Гоуэн явился Артуру во сне — ну, не сам Гоуэн, а его дух — и посоветовал ему в течение месяца не вступать в бой, что бы ни стоила такая задержка. Но случайность ускорила решительное столкновение. Артур приказал: если во время переговоров с Мордредом о мире хоть один рыцарь обнажит меч, сразу же трубить в трубы и кидаться на неприятеля, ибо Мордреду он не доверял. Мордред отдал такой же приказ своей армии. Внезапно одного рыцаря укусила в пятку змея; рыцарь забыл о приказе и зарубил змею своим мечом. Через полминуты обе враждебные армии кинулись друг на друга. Они сражались весь день. Наконец король... Знаешь, после твоего отъезда мы ввели у себя в газете кое-что

Новенькое...

— В самом деле? Что же именно?

— Корреспонденции с фронта.

— Отлично.

— Да, наша газета шла чудесно, потому что, пока длилась война, отлучение на нас не распространялось. Мои военные корреспонденты сидели в обеих армиях. Я прочту тебе, как один из моих ребят описал конец этой битвы!

...Тогда король поглядел по сторонам и увидел, что все его добрые рыцари пали, кроме двух: сэра Лукана де Бутлера и его брата сэра Бедивера; но и они были тяжело ранены. «Господи Иисусе, — сказал король, — где вы, мои благородные рыцари? Увы, зачем я дожил до этого грустного дня! И мой конец уже близок. Если бы только господь помог мне узнать, где этот предатель сэр Мордред, заваривший всю эту кашу!» И король Артур увидел сэра Мордред, который стоял среди груды мертвых тел, опершись на меч. «Дай мне свое копье, — сказал Артур сэру Лукану, — ибо я выследил предателя, зачинщика всех наших бед». — «Государь, пощади его, — сказал сэр Лукан, — ибо он несчастен. Вспомни свой сон, государь, вспомни, что сказал тебе ночью дух сэра Гоуэна, вспомни, от чего предостерегал тебя всеблагий господь. Ради господа, государь, оставь его в покое. Ибо, благодарение богу, ты победил: нас осталось трое в живых, а с сэром Мордредом нет никого. Если ты не тронешь его, сей злополучный день минует». — «Мне все равно — жить или умереть, — сказал Артур. — Он сейчас один, и он не уйдет от меня, ибо лучшего случая мне не дожидаться». — «Да хранит тебя господь», — сказал сэр Бедивер. Король взял его копье в обе руки и побежал к сэру Мордреду, крича: «Предатель, твой смертный час настал!» Сэр Мордред, услышав сэра Артура, кинулся к нему с мечом в руке. И король Артур пронзил сэра Мордред, ниже щита насквозь, и наконечник копья вышел наружу. Сэр Мордред, видя, что рана его смертельна, сам нанизал себя на копье короля Артура до рукоятки. Держа меч обеими руками, он обрушил его на голову Артура с такой силой, что разрубил и шлем и череп; свершив это, сэр Мордред мертвый рухнул на землю. И благородный Артур упал без чувств, и долго его не могли привести в себя...

— Отличный образец военной корреспонденции, Кларенс! Ты стал первоклассным журналистом. Король выздоровел? Поправился?

— Увы, нет. Он умер.

Я был ошеломлен; мне всегда казалось, что этого человека невозможно убить.

— А королева, Кларенс?

— Она монахиня в Олмсбери.

— Какие перемены! И за такой короткий срок. Непостижимо. Что же делать?

— Я скажу тебе, что делать.

— Ну?

— Поставить наши жизни на карту и держаться изо всех сил!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Теперь власть в руках церкви. Ты подвергся отлучению заодно с Мордредом. Это отлучение не снимут до тех пор, пока ты жив. Уже собираются кланы^[39]. Церковь созывает всех рыцарей, оставшихся в живых; и как только узнают, что ты вернулся, у нас будет достаточно хлопот.

— Вздор! С нашим смертоносным боевым материалом, с нашим хорошо обученным войском...

— Оставь! У нас есть не более шестидесяти человек, на которых можно положиться.

— Что?! А наши школы, наши колледжи, наши мастерские, наши...

— Когда явятся рыцари, все эти учреждения перейдут на сторону врага. Неужели ты воображаешь, что тебе удалось избавить этих людей от предрассудков?

— По правде сказать, я так думал.

— Так больше не воображай. Они повиновались тебе до отлучения; после отлучения они отшатнулись от тебя. Сердца дали трещину. Пойми это. Когда вражеские армии придут сюда, тебе все изменят.

— Дурные вести. Мы пропали. Они обратят против нас все то, чему мы научили их.

— Нет, это им не удастся.

— Почему?

— Потому что я с верными мне людьми уже принял предупредительные меры. Я потом расскажу тебе об этом. Ты хитер, но церковь еще хитрее. Это церковь отправила тебя в плаванье — с помощью докторов, находившихся у нее на службе.

— Кларенс!

— Я говорю правду. Я знаю это наверно. Каждый офицер и каждый матрос вашего корабля был подкуплен церковью.

— Ну, полно!

— Не спорь! Я не сразу об этом узнал, но я узнал об этом достоверно. Приказывал ли ты капитану своего корабля передать мне устно, что, когда он вернется к тебе с припасами, ты уедешь из Кадикса...

— Из Кадикса? Я никогда не был в Кадиксе!

— ...ты уедешь из Кадикса и отправишься в плаванье в дальние моря для поправки здоровья своей семьи? Ты велел передать мне эти слова?

— Конечно нет. Ведь я мог бы написать.

— Разумеется! Я забеспокоился и стал подозревать. Когда капитан отплывал, я отправил вместе с ним на корабль шпиона. С тех пор я ничего не слышал ни о корабле, ни о шпионе. Я решил подождать вестей от тебя две недели и затем послать за тобой судно в Кадикс. Но сделать этого мне не пришлось.

— Почему?

— Наш флот внезапно и таинственно исчез! Столь же внезапно и столь же таинственно перестали работать железные дороги, телеграф и телефон; служащие разбежались, столбы были срублены, церковь наложила запрет на электрическое освещение! Нужно было как-то действовать, и немедленно. За жизнь твою я не опасался — никто во всем королевстве, кроме Мерлина, не решился бы дотронуться до такого волшебника, как ты, не имея за спиной десятитысячного войска. Значит, мне нужно было заняться приготовлениями к твоему приезду. За себя я тоже не боялся, — никто не посмеет тронуть твоего любимца. И вот что я сделал. Из различных наших мастерских я выбрал людей, — вернее, мальчиков, — на верность которых при любых обстоятельствах я мог положиться, тайно собрал их и дал им указания. Их пятьдесят два; ни одного моложе четырнадцати лет и ни одного старше семнадцати.

— Почему ты избрал только мальчиков?

— Потому что остальные родились и выросли в атмосфере предрассудков. Предрассудки у них в крови и в костях. Мы воображали, что переделали их образованием; они сами так полагали. Отлучение пробудило их, как удар грома! Они поняли себя, и я понял их. Мальчики дело другое. Те, которые воспитывались нами в течение семи или десяти лет, не знакомы со

страхом перед церковью, и именно из их среды я отобрал пятьдесят два своих молодца. Затем я украдкой посетил старую Мерлинову пещеру — не ту, что поменьше, а большую...

— Да, ту, где мы поставили нашу первую электрическую машину, когда я замыслил чудо?

— Вот именно. А так как чудо тогда не понадобилось, мы теперь можем использовать эту машину для других целей. В пещеру я доставил провиант на случай осады.

— Отличная идея, первоклассная идея!

— Я и сам так думаю. И поручил сторожить эту пещеру четверым моим мальчикам — внутри, конечно, не на виду. Им приказано никого не трогать, но если кто вздумает войти в пещеру — пусть только попробует! Затем я пошел в горы и перерезал тайные провода, соединяющие твою спальню с проводами, ведущими к динамитным минам, заложенным под всеми нашими фабриками, заводами, складами и мастерскими, а ночью с помощью моих мальчиков соединил эти провода с пещерой, и теперь никто, кроме тебя и меня, не знает, куда и откуда они ведут. Вся проводка, конечно, подземная, и закончили мы ее в несколько часов. Не выходя из нашей крепости, мы можем теперь в любой миг взорвать всю нашу цивилизацию.

— Это правильный ход, естественный ход, — мало ли чего может потребовать от нас военная необходимость. О, как все переменялось! Мы ждали, что нам когда-нибудь придется выдержать осаду во дворце, но не... Впрочем, продолжай.

— Затем мы соорудили проволочное ограждение.

— Проволочное ограждение?

— Да. Ты сам подсказал это мне года два или три назад.

— А, помню — когда церковь впервые попробовала померяться с нами силами и затем решила отложить это до более удобного случая. Как же ты устроил это ограждение?

— Взял двенадцать крепких проводов — голых, без изоляции, идущих от большого динамо в пещере, — динамо имеет два полюса, положительный и отрицательный...

— Правильно.

— Вывел провода из пещеры и, почти на уровне земли, соорудил изгородь вокруг плоского участка в сто ярдов в диаметре; изгородь эта состоит из двенадцати отдельных изгородей, в десяти футах одна от другой, — иначе говоря, двенадцать концентрических кругов; концы всех проводов снова сходятся в пещере.

— Правильно. Продолжай.

— Изгороди укреплены на тяжелых дубовых столбах, отстоящих один от другого всего на три фута и врытых в землю на пять футов глубины.

— Хорошо и прочно.

— Да. Провода не имеют заземления вне пещеры. Они отходят от положительного полюса динамо; с землей они соприкасаются через отрицательный полюс; провода возвращаются в пещеру, и каждый из них заземлен отдельно.

— Нет, нет, так не годится!

— Почему?

— Слишком большой расход энергии, энергия пропадает зря. Заземление для всей системы должно быть только одно — через отрицательный полюс. Концы проводов должны быть введены обратно в пещеру и укреплены по отдельности без всякого заземления. Посмотри, какая получится экономия. Кавалерия идет в атаку на наше проволочное ограждение; ты не тратишь энергии, ты не тратишь денег, потому что у тебя всего одно заземление, до тех пор, пока лошади не коснутся проволоки; но чуть они коснутся проволоки, произойдет замыкание с отрицательным полюсом через землю и лошади падут мертвыми. Энергия расходуется только в то мгновение, когда она необходима; твоя молния при тебе и готова к действию, как заряженное ружье; но она не стоит тебе ни цента, пока ее не выпустишь. Нужно только одно заземление...

— Конечно! Не знаю, как я это упустил из виду. Это не только дешевле, но и действеннее, так как, даже если провода оборвутся или запутаются, вреда не будет.

— Особенно если у нас в пещере будет автоматический выключатель испортившихся проводов. Продолжай. Артиллерия?

— Есть и артиллерия. В центре внутреннего круга на обширной платформе в шесть футов вышины я установил батарею из тринадцати орудий с большим запасом снарядов.

— Хорошо. Батарея командует над окрестностями, и когда рыцари церкви явятся, они будут встречены музыкой. А утес, что навис над пещерой?

— Там тоже устроено проволочное ограждение и поставлены орудия. Будь спокоен, камнями им швырять в нас не придется.

— А динамитные мины со стеклянными цилиндрами?

— И мины припасены. Я там насадил прелестный садик. Он расположен вокруг проволочного ограждения поясом в сто футов ширины. Мины лежат на земле и присыпаны сверху песочком. На вид этот садик кажется совсем невинным, а пусть кто-нибудь войдет в него, и ты увидишь, что будет.

— Ты испытал мины?

— Собирался испытать, но...

— Но что? Это огромное упущение, не попытаться...

— Испытать? Знаю; но они в порядке: я для пробы заложил несколько штук на проезжей дороге — и их испытали.

— Это меняет дело. Кто же их испытал?

— Церковная комиссия.

— Очень мило с ее стороны.

— Да. Она явилась требовать от нас повиновения. Видишь ли, она вовсе не собиралась производить испытание мин: это произошло случайно.

— Комиссия доложила о результате испытания?

— Еще бы! Доклад был слышен за целую милю.

— Единодушный доклад?

— Принятый всеми голосами. Я выставил на дороге кое-какие знаки в предупреждение будущим комиссиям, но больше нас не беспокоили.

— Кларенс, ты превосходно поработал!

— Что ж, времени было достаточно. Торопиться некуда.

Мы сидели, молчали и думали. Я сказал:

— Да, все готово: все предусмотрено, ни одна мелочь не забыта. Я знаю, что теперь делать.

— Я тоже: сидеть и ждать.

— Нет, сэр! Встать и нанести удар!

— Ты так думаешь?

— Именно так! Я не сторонник обороны, я сторонник нападения. Во всяком случае, когда силы почти равные. О да, мы нанесем удар! Этого требуют правила нашей игры.

— Ты почти наверняка прав. Когда же начнется спектакль?

— Сейчас. Мы провозгласим республику.

— Вот это значит ускорить развязку!

— Ого! Да еще какими темпами! Завтра утром уже вся Англия превратится в осиное гнездо, если только церковь не смолчит, — а она не смолчит. Пиши, я буду диктовать:

Да будет известно всем! Так как король умер, не оставив наследника, долг мой повелевает мне не выпускать из рук кормило власти, которое мне вручено, до тех пор, пока не будет создано правительство. Монархия прекратилась и больше не существует. Следовательно, вся политическая власть возвращается к своему первоисточнику, к народу. Вместе с монархией умерли и все присущие ей учреждения: больше нет ни дворян, ни привилегированных классов, ни государственной церкви; отныне все люди равны: каждый может свободно избрать себе религию. *Сим провозглашается республика*, как естественное состояние нации, когда перестали существовать все другие виды власти. Долг британского народа — избрать голосованием своих представителей и поручить им образовать правительство.

Я подписал: «Хозяин», поставил дату и обозначил место: «Мерлинова пещера».

Кларенс сказал:

— Это значит известить их, где мы находимся: приходите и берите нас.

— Так и надо. Мы нанесли удар этой прокламацией, — теперь их черед. Позаботься, чтобы это было отпечатано и расклеено. А затем, если у тебя найдутся два велосипеда, едем в Мерлинову пещеру.

— Через десять минут все будет готово. Какая буря поднимется завтра, когда эта бумажка начнет свою работу!.. А славный все-таки этот дворец; увидим ли мы его когда-нибудь снова? Но не стоит думать об этом.

43. Битва в Песчаном Поясе

В Мерлиновой пещере — Кларенс, я и пятьдесят два здоровых, бодрых, неглупых, хорошо воспитанных, неиспорченных британских мальчика. Чуть свет я разослал приказ по фабрикам и мастерским прекратить работу и всему живому убраться подальше, ввиду того, что все наши сооружения будут взорваны тайными минами, и нельзя сказать заранее, когда именно. Люди знали меня и привыкли доверять моим словам. Я не сомневался, что они вылетят пулей, даже не причесавшись, и мог выбрать для взрыва любой момент, который найду подходящим. Их никакими силами не заставишь вернуться, пока над ними будет висеть опасность взрыва.

Мы ждали целую неделю. Я не скучал, так как все время писал. За три дня я придумал моему дневнику повествовательную форму; теперь мне осталось дописать только главу или две, чтобы довести повествование до настоящего времени. Конец недели я употребил на писание писем жене. У меня был обычай во время всякой разлуки писать Сэнди каждый день. С этим обычаем я не расставался и теперь — из любви к нему и к ней, так как отправить письма у меня не было никакой возможности. Писание писем заполняло время и было похоже на разговор; я словно беседовал с ней, словно говорил ей: «Сэнди, если бы вместо ваших фотографий, ты и Алло-Центральная были здесь, в пещере, как бы славно мы провели время!» Я представлял себе, как воркует моя дочурка мне в ответ, засовывая кулачки в ротик, лежа на спинке на коленях у матери, а та смеется и щекочет ее пальцем под подбородком, чтобы она рассмеялась, и в то же время перебрасывается со мной словами, и так далее, и так далее, — я мог часами сидеть в пещере с пером в руке и грезить наяву. Мне казалось, что мы снова вместе.

Каждую ночь я, конечно, рассылал шпионов, чтобы знать обо всем. И с каждым разом донесения их становились все тревожнее. Армии собирались, собирались; по всем дорогам и тропам Англии ехали рыцари; и попы ехали рядом с ними и вдохновляли этих своеобразных крестоносцев на священную войну. Все дворянство, крупное и мелкопоместное, встало на защиту церкви. Дело шло так, как мы и ожидали. Ничего, мы выколем всю эту сорную траву. Тогда народу ничего не останется, как только выступить на защиту республики и...

Ах, какой же я был осел! К концу недели я стал понимать, что народные массы только в течение одного дня подбрасывали свои шапки в честь республики, на большее их не хватило! Стоило церкви и дворянству только нахмуриться, и они сразу превратились в овец! И сейчас же овцы стали стекаться в загоны — то есть в военные лагеря — и предлагать свои дешевые жизни и свою дорогую шерсть на борьбу «за правое дело». Даже те, кто недавно еще были рабами, тоже стояли «за правое дело», прославляли его, молились об его успехе, чувствительно умилялись, говоря о нем, как все прочие простолюдины. Какая глупость. Не люди, а навоз!

Теперь всюду орали: «Смерть республике!» — и ни одного голоса против. Вся Англия шла против нас. Признаюсь, этого я не предвидел.

Я внимательно изучал пятьдесят двух моих мальчиков, я изучал их лица, их походку, их бессознательные движения, — ибо все это язык, созданный для того, чтобы разоблачать наши тайны, сделать явным то, что мы особенно стараемся скрыть. Я знал, что в каждом из них сидит неотвязная мысль: «*Вся Англия против нас!*», и чем дальше, тем неотвратимее приковывает к себе внимание, тем ярче рисуется воображением, и даже во сне они не могут освободиться от голоса, который твердит им: «*Вся Англия, вся Англия идет на вас!*» Я знал, чем все это кончится; я знал, что в конце концов напряжение станет настолько непереносимым, что прорвется наружу, и готовился в нужную минуту дать ответ — хорошо обдуманной и успокаивающей.

Я не ошибся. Момент настал. Они заговорили. Бедные ребята, жалко было на них смотреть, такими они стали бледными, измученными, встревоженными. Вначале их представитель не

находил слов, не мог овладеть голосом, но затем он справился с волнением. Вот что он сказал на хорошем современном английском языке, которому его обучили в моей школе:

— Мы старались забыть, что мы английские мальчики! Мы старались поставить разум выше чувства, долг выше любви; наш рассудок подчинился нам, но сердца подчиниться отказались. Пока против нас было только дворянство, только двадцать пять или тридцать тысяч рыцарей, уцелевших после последних войн, мы оставались единодушны и нас ничто не тревожило; каждый из этих пятидесяти двух мальчиков, которые стоят перед тобою, говорил: «Они сами того хотели — так им и надо». Но обстоятельства изменились — *вся Англия идет на нас!* О сэр, подумай, размысли: этот народ — наш народ, мы плоть от плоти его, кость от кости, мы любим его, — не требуй от нас, чтобы мы выступили против своего народа!

Вот видите, что значит предугадывать события и приготовиться к ним. Если бы я не приготовился, этот мальчик захватил бы меня врасплох и я не мог бы возразить ему ни слова. Но я приготовился. Я сказал:

— Мои мальчики, сердца ваши не обманули вас, вы рассудили и поступили правильно. Вы английские мальчики, и вы останетесь английскими мальчиками, не запятнав этого имени. Не мучайте себя больше сомнениями, успокойтесь. Рассудите: *вся Англия идет на нас*, но кто идет впереди? Кто, по обычным правилам войны, идет в первых рядах? Отвечайте.

— Конные отряды закованных в латы рыцарей.

— Правильно. Их тридцать тысяч. Они покрывают необозримое пространство. Поймите: кроме них, никто не войдет в Песчаный Пояс. Только с ними мы и расправимся. А массы граждан, шествующие в арьергарде, мгновенно отступят, — у каждого из них найдется неотложное дело. Все рыцари — дворяне, и только им придется плясать под нашу музыку. Ручаюсь вам, мы будем сражаться лишь с этими тридцатью тысячами рыцарей. Теперь говорите, и мы поступим по вашему решению. Следует ли нам уклониться от боя, отступить с поля битвы?

— Нет!!!

Возглас был единодушен и шел из самого сердца.

— Или, может быть, вы боитесь этих тридцати тысяч рыцарей?

Шутка была встречена громким смехом, тревога мальчиков рассеялась, и они весело разошлись по своим постам. Славные были мальчики! И хорошенькие, как девушки!

Теперь я был готов к встрече с неприятелем. Пусть приходит — он нас не захватит врасплох.

Великий день, наконец, наступил. На рассвете часовой, стоявший у пещеры, явился доложить, что на горизонте движется черная масса и что оттуда доносятся слабые звуки — по его мнению, звуки военной музыки. Завтрак был уже готов; мы сели и подкрепились.

После завтрака я сказал мальчикам небольшую речь и послал орудейный расчет с Кларенсом во главе на батарею.

Взошло солнце и озарило простор, и мы увидели необозримую рать, приближающуюся к нам медленно и упорно, как морская волна. Чем ближе она подходила, тем грознее казалась. Да, это шла вся Англия! Вскоре мы могли уже различить бесчисленные знамена: целое море лат и кольчуг ослепительно сияло на солнце. Это была красивая картина! Ничего красивее я не видывал.

Наконец стали видны и подробности. Все передние ряды на много акров вглубь состояли из всадников, из украшенных перьями рыцарей в латах. Внезапно затрубили трубы; всадники помчались галопом, — ох, какое это было зрелище! Я затаил дыхание; ближе, ближе... полоска зеленой травы за желтым Песчаным Поясом становилась все уже... еще уже, еще... превратилась в совсем узенькую ленту перед конями... и исчезла под их копытами. Боже! Все

передние ряды с громоподобным грохотом взлетели в небо, превратившись в крутящийся ураган обломков; землю заволокло дымом, который скрыл от наших взоров то, что осталось от великой армии.

Настало время выполнить второй пункт моего военного плана. Я нажал кнопку, и вся Англия содрогнулась до глубочайших недр своих!

При этом взрыве вся наша благородная цивилизация взлетела в воздух и исчезла с лица земли. Жалко, но необходимо. Мы не могли позволить врагам обратить наше оружие против нас.

Затем наступили самые скучные четверть часа в моей жизни. Мы ждали в тишине, окруженные проволочными заграждениями, окруженные поясом густого дыма. Мы не могли ничего увидеть сквозь этот дым. Но, наконец, дым начал лениво расползаться; прошло еще четверть часа, земля очистилась, и нам удалось удовлетворить свое любопытство. Нигде не было видно ни одного живого существа! Оказалось, что теперь, после взрыва, мы были защищены лучше прежнего. Динамит вырыл вокруг нас ров в сто футов шириной, и земля, выброшенная из этого рва, образовала по обе его стороны валы вышиной футов в двадцать пять. А количество погубленных жизней было неисчислимо. Подсчитать убитых было невозможно хотя бы потому, что они не существовали в виде отдельных трупов, а превратились в первоначальную протоплазму с примесью железа и пуговиц.

Не видно было ни одного живого существа; но в задних рядах, вероятно, были раненые, которых унесли с поля брани под покровом дыма; среди уцелевших, несомненно, разовьются эпидемии, — так всегда бывает после подобных событий. Но уж подкреплений им ждать неоткуда; это была последняя ставка английского рыцарства; это было все, что осталось после прежних войн. Я чувствовал себя в полной безопасности, уверенный, что если у врага и остались какие-нибудь силы, то очень незначительные; во всяком случае — рыцарей не осталось. Поэтому я обратился к своей армии с поздравительной прокламацией следующего содержания:

«Солдаты, бойцы за человеческую свободу и равенство! Ваш генерал поздравляет вас! Гордясь своей силой, напыщенный и дерзкий враг напал на вас. Вы встретили его, как подобает. В коротком бою вы покрыли себя славой. Эта великая победа, ради которой мы не потеряли ни одного человека, не имеет равных в истории. До тех пор, пока наши планеты будут двигаться по своим орбитам, битва Песчаного Пояса не изгладится из памяти людей.

Хозяин».

Я сам прочел ее вслух, и ответные рукоплескания выразили мне благодарность. Я сказал: — Война с английским народом окончена. Народ вышел из войны. Предстоящая нам кампания будет последней. Она будет краткой — самой краткой в истории. И самой губительной с точки зрения процентного отношения убитых и раненых к общему количеству сражающихся. С народом война окончена; отныне мы имеем дело только с рыцарями. Английских рыцарей можно убить, но нельзя победить. Мы знаем, что нам предстоит. Пока хоть один рыцарь жив, война не окончена. Мы должны убить их всех до единого. (Громкие и продолжительные аплодисменты.)

Я расставил пикеты на валах, созданных взрывом, — по два, по три мальчика, — чтобы они могли вовремя известить нас о появлении неприятеля; затем послал инженера и с ним сорок человек — выкопать новое русло горному ручью, протекавшему к югу от наших укреплений, и

направить его в нашу сторону, чтобы я мог воспользоваться им в случае необходимости. Сорок человек были разделены на две группы по двадцать, которые сменяли друг друга каждые два часа. За десять часов вся работа была окончена.

Стемнело, и я отозвал свои пикеты. Один из них обнаружил в северном направлении лагерь, но так далеко, что разглядеть его можно было только в подзорную трубу. Он донес также, что несколько рыцарей гнали быков в сторону наших укреплений, но сами не подходили близко. Этого я ожидал. Они испытывали нас: они хотели знать, собираемся ли мы снова выпустить на них красный ужас. Ночью они, пожалуй, осмелеют. Я, кажется, догадывался, что именно они попытаются предпринять, потому что именно это предпринял бы на их месте, будь я столь невежествен, как они. Я рассказал об этом Кларенсу.

— Я думаю, ты прав, — сказал он. — Они, вероятно, сделают такую попытку.

— В таком случае, — сказал я, — они обречены на гибель.

— Безусловно.

— У них нет ни малейшей надежды.

— Ни малейшей.

— Это ужасно, Кларенс. Мне жаль их.

Я так расстроился, так измучился от этих мыслей, что места себе не находил. Наконец, чтобы успокоить свою совесть, я составил следующее послание к рыцарям:

«Достопочтенному предводителю мятежного рыцарства Англии!

Вы сражаетесь напрасно. Нам ведомы ваши силы, — если можно назвать их силами. Мы знаем, что вы можете выставить против нас не больше двадцати пяти тысяч рыцарей. Следовательно, у вас нет ни одного шанса на победу. Рассудите: мы хорошо вооружились, хорошо укрепились, нас пятьдесят четыре. Пятьдесят четыре человека? Нет, пятьдесят четыре ума, даровитейших в мире, — сила, которую не одолеть вашей бессмысленной мощи, как волнам морским не одолеть гранитных утесов Англии. Поразмыслите. Мы согласны подарить вам жизнь. Ради ваших жен и детей не отвергайте этот дар. В последний раз мы вам предлагаем: сложите оружие, сдайтесь Республике — и все будет прощено.

(Подпись:) Хозяин».

Я прочел это послание Кларенсу и сказал, что хочу отправить его неприятелю под защитой белого флага. Он разразился свойственным ему саркастическим смехом и сказал:

— Ты все еще не можешь понять, что такое дворянство. Давай сбережем труд и время. Вообрази себе, что я предводитель этих рыцарей. Вот ты являешься с белым флагом, приближаешься ко мне и вручаешь свое послание, а я даю тебе ответ.

Мысль эта пришлась мне по вкусу. Я выступил вперед, охраняемый воображаемыми вражескими солдатами, достал бумагу и прочел ее вслух. Вместо ответа Кларенс вырвал бумагу из моих рук, надменно сморщил губы и презрительно произнес:

— Разрубите этого скота на части и отправьте его в корзине назад к тому низкородному холопу, который его прислал. Иного ответа у меня нет!

Как ничтожна теория по сравнению с фактом! А таков был факт. Результат был бы именно такой. Я разорвал бумагу и отбросил свою неуместную чувствительность.

Итак, к делу. Я проверил электрическую сигнализацию между пещерой и батареей и убедился, что она в порядке; проверил электросвязь между пещерой и проволочными заграждениями — с ее помощью я мог пустить ток по любой из двенадцати линий. Новое русло

ручься я отдал под надзор трем моим лучшим мальчикам, которые должны были, сменяясь каждые два часа, ждать сигнала — три выстрела из револьвера, один за другим, — чтобы исполнить мой приказ. Остальные часовые были отпущены на ночь, и в ограде не осталось ни души; я приказал, чтобы в пещере соблюдали тишину; даже электрический свет я ослабил так, что он едва мерцал.

Затем я выключил ток из всех проволочных заграждений и пробрался между ними к валу, окаймлявшему с нашей стороны широкий ров, образовавшийся от взрыва. Я влез на вал, залег на его рыхлом склоне и стал вглядываться в даль. Но рассмотреть ничего не мог — было слишком темно. Ни одного звука. Тишина, как в могиле. Конечно, обычные шумы ночи доносились до меня: трепетанье птичьих крыльев, жужжанье насекомых, далекий лай собак, мычанье коровы, — но они лишь усиливали тишину, а не нарушали ее, и наполняли ее печалью.

Скоро я перестал вглядываться, так как все равно не мог ничего рассмотреть, и напрягал лишь слух — не уловлю ли где подозрительного звука, ибо был уверен, что стоит только запастись терпением, и я не буду обманут в своих ожиданиях. Однако ждать пришлось долго. Наконец до меня донесся едва уловимый звон металла. Я насторожил уши, затаил дыхание, — это был как раз тот звук, которого я ждал. Звук усиливался, приближался с севера. Внезапно я услышал его на одном уровне с собой — на противоположном валу, в ста футах от себя. Затем на вершине вала появились темные точки. Человеческие головы? Трудно сказать; может быть, там и нет ничего, нельзя доверять глазам, когда воображение так напряжено. Впрочем, загадка скоро разрешилась. Лязг металла слышался уже из глубины рва. Для меня стало ясно: ров занимает вооруженный отряд. Да, они готовят для нас небольшой сюрприз. Мы должны ждать нападения на рассвете, а может быть и раньше.

Я вернулся назад за проволоку; того, что я видел, было достаточно. Добравшись до платформы, я дал сигнал, чтобы пустили ток в два средних ряда проволочного заграждения. Затем я вернулся в пещеру; там все было в порядке, все спали, кроме дежурных. Я разбудил Кларенса, сказал ему, что большой ров полон воинов и что, по-моему, рыцари идут на нас всей ордой. Чуть забрезжит заря, тысячи воинов, спрятанных во рву, полезут на приступ, а за ними сразу бросится и вся остальная армия.

Кларенс сказал:

— Они, наверно, вышлют, пользуясь темнотой, разведчиков. Почему бы не выключить ток из внешнего ряда проволочного заграждения? Пусть попытают счастья.

— Это уже сделано, Кларенс. Неужели ты считаешь меня негостеприимным?

— Нет, у тебя доброе сердце. Я хочу пойти...

— Встретить гостей? Пойдем вместе.

Мы залегли вдвоем между двумя внутренними рядами проволочных заграждений. Вначале мы ничего не могли разглядеть, но постепенно наши глаза приспособились к темноте и стали различать столбы проволочного заграждения. Мы разговаривали шепотом, и вдруг Кларенс спросил:

— Что это?

— Где? Что?

— Вон там.

— Где там?

— А вон за тобой... что-то темное... возле второго ряда заграждения.

Я смотрел, и он смотрел. Я сказал:

— Это человек, Кларенс?

— Нет, не думаю. Хотя, кажется, человек! Стоит, прислонясь к изгороди.

— Пойдем поближе и проверим.

Мы поползли вперед на четвереньках. Да, это человек — рослый мужчина в доспехах, стоящий прямо и обеими руками держащийся за проволоку, — и, конечно, от него пахло горелым мясом. Бедняга, он был мертв, как дверная ручка, и так и не узнал, что его убило. Он стоял неподвижно, как статуя, и только перья на его шлеме слегка пошевеливали ночной ветерок. Мы глянули ему в лицо через отверстие в его забрале, но знакомый ли он, или незнакомый — определить не могли.

Еще какой-то приближающийся звук; мы легли на землю. Мы с трудом различили второго рыцаря: он шел крадучись, ощупью. Заметив мертвого товарища, он вздрогнул. Постоял минуту, удивляясь, почему тот не шевелится, и спросил тихонько:

— О чем ты задумался, добрый сэр Мар... — и опустил руку на плечо трупа и — с легким стоном упал и умер, убитый мертвецом, убитый мертвым другом. В этом было что-то жуткое.

В течение получаса эти ранние пташки появлялись одна за другой с промежутками в пять минут. У них не было никакого оружия, кроме мечей; выставленными вперед мечами нащупывали они себе дорогу между незаряженных проводов. Время от времени мы видели голубую искру — и уже знали, что произошло: рыцарь коснулся мечом заряженного провода и упал мертвым. Молчание, и снова грохот рухнувших доспехов — и так без конца; жутко было внимать этому во мраке.

Мы решили совершить прогулку между внутренними рядами проволочных заграждений. Мы шли во весь рост, — так удобнее: если нас заметят, то, вероятнее всего, примут за друзей, а не за врагов; мечом нас не достать, а пик нападающие с собой не захватили. Забавная это была прогулка. Всюду мертвецы, лежащие за вторым рядом заграждения, смутно различимые во мраке; мы насчитали пятнадцать этих вызывающих жалость статуй — мертвых рыцарей, стоящих, держась рукою за проволоку.

Одно было доказано безусловно: наш ток так силен, что убивал раньше, чем жертва успевала вскрикнуть.

Потом мы услышали заглушенный топот и сразу поняли, что это значит: то был сюрприз, которого мы ждали. Я шепнул Кларенсу, чтобы он разбудил нашу армию и приказал ей ждать в пещере дальнейших распоряжений. Он скоро вернулся, и мы долго стояли за проволочным заграждением, наблюдая, как беззвучная молния истребляет нападающих. Подробности различить было трудно, но мы видели, как росла темная масса трупов. Наш лагерь был окружен толстой стеной мертвецов, валом, бруствером из мертвых тел. Самым страшным во всем этом была беззвучность: ни крика, ни стопа; собираясь напасть на нас неожиданно, эти люди старались двигаться бесшумно; и едва передние ряды настолько близко подходили к своей цели, что могли с громким криком кинуться на приступ, как роковая проволока убивала их.

Я пустил ток через третий ряд проволочных заграждений и почти одновременно через четвертый и пятый — так быстро промежутки между ними заполнялись нападающими. Я решил, что настало время для главного удара; я решил, что вся армия попала в нашу ловушку. Во всяком случае, пора посмотреть. Я нажал кнопку, и над нашим рвом вспыхнуло пятьдесят электрических солнц.

Боже, что за зрелище! Мы были окружены тремя стенами мертвецов! А промежутки между остальными заграждениями были полны живыми, осторожно двигавшимися вперед среди проволок. Ошеломленная внезапно брызнувшим ослепительным светом, толпа нападающих замерла, как бы окаменела от удивления; это мгновение неподвижности нужно было использовать, и я не упустил случая. Вы понимаете, через минуту они опомнились бы и с боевым кличем кинулись бы на приступ — и мои проволоки лопнули бы под их натиском; но я воспользовался мгновением их замешательства: я успел пустить ток во все заграждения разом, и вся орда была убита на месте. Теперь стон был слышен! Это был предсмертный стон

одиннадцать тысяч человек. Грозной жалобой прозвучал он в ночи.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что остальная часть армии — быть может, тысяч десять — уже перебралась через ров и устремилась вперед, на приступ. Значит, они в наших руках *все!* И спасения им ждать неоткуда. Пора начать последний акт трагедии. Я трижды выстрелил из револьвера, что означало:

— Пустить воду!

Раздался грохот взрыва, перемычка, сдерживавшая воду, рухнула, и горный поток ворвался в ров, образовав реку в сто футов шириной и двадцать пять глубиной.

— К орудиям! Огонь!

Тринадцать орудий несли смерть обреченным десяти тысячам. Они замешкались, они постояли минуту под шквалом огня и устремились назад, как мякина, гонимая ветром. Четвертая часть их погибла, не успев добежать до вершины вала; три четверти кинулись в ров — и утонули.

Через десять коротких минут после того, как мы открыли огонь, вооруженное сопротивление неприятеля было сломлено, кампания окончена. Мы, пятьдесят четыре человека, стали владыками Англии, Двадцать пять тысяч мертвецов лежали вокруг нас.

Но как изменчиво счастье! Совсем скоро — скажем, через час — по моей вине случилось... но у меня не хватает духа писать дальше. Кончаю здесь.

44. Постскриптум Кларенса

Я, Кларенс, должен описать это вместо него. Он предложил мне пойти вместе с ним посмотреть, нельзя ли оказать какую-нибудь помощь раненым. Мне это не понравилось. Я сказал, что если их много, мы ничем не можем им помочь, а ходить между ними неблагоприятно. Но его редко удавалось отвести от раз принятого решения, и мы выключили из наших заграждений электрический ток, взяли с собой охрану, перелезли через стену мертвых тел и начали бродить по полю брани. Первый раненый, обратившийся к нам за помощью, сидел, прислонясь спиной к трупу товарища. Когда Хозяин нагнулся и заговорил с ним, раненый узнал его и нанес ему удар кинжалом. Этого рыцаря звали сэра Мелиагронс, как я прочел внутри его шлема. Больше ему уж не придется звать на помощь.

Мы отнесли Хозяина в пещеру и перевязали его рану, которая оказалась не очень серьезной. В уходе за ним нам помогал Мерлин, хотя мы этого и не знали. Он переоделся старухой и явился к нам в виде добродушной крестьянки. Загорелый и чисто выбритый, он пришел через несколько дней после того, как Хозяин был ранен, и предложил свои услуги в качестве стряпухи. Мнимая старуха сказала нам, что все ее родные ушли в новые лагеря, которые создает неприятель, а ее оставили одну и она умирает с голоду. Хозяин в это время уже выздоравливал и развлекался тем, что заканчивал свою летопись.

Мы обрадовались этой женщине, потому что у нас не хватало рук. Мы находились в западне, — в западне, которую сами себе расставили. Если мы останемся здесь, мертвецы убьют нас; если мы покинем наши укрепления, мы перестанем быть неуязвимыми. Мы победили — и мы были побеждены. Хозяин понимал это; мы все понимали это. Если бы можно было отправиться в один из тех новых лагерей и начать переговоры с неприятелем... Но Хозяин не мог идти, и я не мог идти, ибо я раньше всех заболел, отравленный тлетворным дыханием тысяч разлагающихся трупов. Вслед за мной заболели другие. Завтра...

Завтра. Пришла беда. Конец. Проснувшись в полночь, я увидел, что та ведьма выделяет какие-то забавные пассы над головой Хозяина, и спросил ее, что это значит. Все спали, кроме тех, кто дежурил возле динамо; ни звука. Старуха прервала свои таинственные дурачества и на цыпочках двинулась к двери. Я крикнул:

— Стой! Что это ты делала?

Она остановилась и голосом, полным удовлетворения, сказала:

— Вы были победителями — вы побеждены! Все вы умрете, ты тоже. Вы умрете в этой пещере — все до одного, кроме него. Он теперь спит и будет спать тринадцать веков. Я Мерлин!

Им вдруг овладел приступ такого дурацкого смеха, что он не мог удержаться на ногах, зашатался, как пьяный, и ухватился рукой за один из наших проводов. Рот его открыт и сейчас; он до сих пор смеется. Он будет смеяться до тех пор, пока его тело не превратится в пыль.

Хозяин не движется — спит, как камень. Если он не проснется сегодня, нам будет ясно, что это за сон, и мы положим тело его в самый дальний угол пещеры, чтобы никто не мог найти его и надругаться над ним. А мы, остальные, условились, что если хоть одному из нас удастся уйти отсюда живым, он опишет все случившееся здесь и добросовестно положит рукопись рядом с Хозяином, нашим добрым, любимым предводителем, — жив он или мертв, все равно она принадлежит ему.

Заключительный постскрипtum автора

Уже рассвело, когда я отложил рукопись. Дождь почти перестал, мир был сер и печален, буря, утихая, вздыхала и всхлипывала. Я подошел к комнате незнакомца и прислушался возле двери, слегка приоткрытой. Я услышал его голос и постучал в дверь. Мне никто не ответил, но я снова услышал его голос. Я заглянул в комнату. Он лежал на спине в постели и говорил прерывисто, но с вдохновением, разметав руки, которые он то сжимал, то разжимал, как больной в бреду. Я тихонько подошел к нему и наклонился над ним. Он продолжал бормотать. Я заговорил, чтобы привлечь его внимание. Радостью и благодарностью озарились его тусклые глаза, землистое лицо порозовело:

— О Сэнди, ты пришла наконец!.. Как я тосковал по тебе! Сядь рядом со мной... не покидай меня... никогда больше не покидай меня, Сэнди, никогда, никогда... Где твоя рука? Дай мне руку... вот так, дорогая, все теперь хорошо, я снова счастлив... Мы счастливы снова, правда, Сэнди? Ты такая неясная, ты расплываешься, как туман, как облако, но ты здесь, и это такое блаженство... я держу тебя за руку, не отнимай у меня свою руку, я недолго буду держать ее, я скоро... А где наша крошка?.. Алло-Центральная!.. Она не отвечает. Спит, может быть? Принеси ее, когда она проснется, и дай мне потрогать ее ручки, ее личико, ее волосы и попрощаться с нею... Сэнди! Да, ты здесь. Я на минуту забылся и думал, что ты ушла... Давно я болен? Наверно, давно; наверно, больше месяца. А какие сны мне снятся! Странные и страшные сны, Сэнди! Сны, более похожие на действительность, чем сама действительность, — бред, конечно, но такой отчетливый! Мне снилось, что король умер, мне снилось, что ты в Галлии и не можешь вернуться домой, мне снилось, что была революция... в фантастическом бреду мне чудилось, будто Кларенс, я и горсточка моих курсантов сражаемся против всех рыцарей Англии! Но даже не это было самым странным. Мне снилось, будто я человек из другого века, из грядущего века, и это казалось мне действительностью! Ну да, будто я был внезапно перенесен из того века в наш, а потом опять в тот век, и очутился вдруг, одинокий и всем чужой, в незнакомой мне Англии... и будто между мной и тобой лежит пропасть в тринадцать веков! Между мной и моим домом, моими друзьями! Между мной и всем, что дорого мне, всем, ради чего стоит жить! Ужасно... Ужаснее, чем ты можешь себе представить, Сэнди. Ах, посиди со мной, Сэнди, не оставляй меня ни на минуту, не давай мне опять потерять рассудок. Смерть — вздор, пусть она приходит, лишь бы не было только тех снов... те сны для меня пытка... Я не в силах их больше терпеть... Сэнди!..

Еще некоторое время он несвязно бормотал, потом затих: смерть, видимо, приближалась. Внезапно пальцы его стали шарить по одеялу, и я понял, что наступает конец. Когда горло его сжала предсмертная судорога, он слегка приподнялся и, казалось, прислушался, затем сказал:

— Труба?.. Это король! Спускайте мост! Людей на стены замка!.. Потушите...

Он готовил свой последний «эффект», но так и не довел его до конца.

1889

notes

Мадам Помпадур — Жанна-Антуанетта Пуассон маркиза Помпадур (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV; леди Кастлмен — урожденная Барбара Вилльер, фаворитка английского короля Карла II (1630–1685); обе пользовались большим политическим влиянием и вмешивались в государственные дела.

Варвикский замок выстроен в XI веке, при короле Вильгельме Завоевателе; он расположен в живописном месте недалеко от Лондона.

В провансальских и французских рыцарских романах XII–XIII веков большое место занимают переработанные в духе феодальной идеологии кельтские народные сказания о короле Артуре, вожде бриттов в V–VI веках, который защищал от англосаксов еще не захваченные ими земли Англии. В рыцарских романах король Артур изображен могущественным властелином всей Британии и половины Европы, при его дворе собирается цвет рыцарства и царит культ благородной отваги и любви. Ради личной славы либо ради дамы сердца король и его рыцари совершают фантастические подвиги, которые и составляют сюжет «романов Круглого Стола», названных так потому, что король Артур велел якобы соорудить круглый стол для придворных пиршеств, за которым все рыцари чувствуют себя равными. Основных персонажей и обстановку романов Круглого Стола Марк Твен использовал как аллегорическую рамку для своего памфлета «Янки при дворе короля Артура».

Кромвель Оливер (1599–1658) — один из крупнейших деятелей английской буржуазной революции середины XVII века. Будучи фактическим руководителем парламентской «новой армии», он разбил войска короля Карла I и после установления республики был избран в ее исполнительный совет. Выступая с позиций крупной буржуазии, Кромвель подавлял демократическое движение левеллеров («уравнителей»), жестоко расправился с национально-освободительным движением в Ирландии и Шотландии и к 1653 году, опираясь на армию, стал фактическим диктатором Англии под именем лорда-протектора.

Томас Мэлори — английский рыцарь XV века, автор книги «Смерть Артура» (1485), представляющей собою компиляцию и перевод на английский язык главнейших французских рыцарских романов Круглого Стола. Эта книга, много раз переиздававшаяся, послужила главным источником при написании М. Твенем «Янки при дворе короля Артура». Рассказ о том, «Как сэр Ланселот убил двух великанов и освободил замок», представляет точное воспроизведение главы из книги Мэлори.

Штат Коннектикут во времена Твена был одним из наиболее промышленно-развитых районов США, а Хартфорд, главный город штата, — типичным американским промышленным центром; сам Твен много лет жил в Хартфорде.

Городок в штате Коннектикут, недалеко от Хартфорда.

По романам Круглого Стола, одна из резиденций короля Артура.

Древние рукописи на пергаменте, первоначальный текст которых был стерт и заменен новым, с целью экономии дорогостоящего материала для письма (пергамент изготавливался из свиной кожи).

Арканзас — один из рабовладельческих штатов США, где среди плантаторов процветали дикие нравы, произвол и кулачная расправа.

Команчи — одно из кочевых охотничьих племен североамериканских индейцев, ставшее жертвой территориальной экспансии США; изгнанные со своих исконных земель американскими буржуазными колонизаторами, команчи были в 1867 году поселены в ужасных условиях в так называемой «резервации», в районе реки Красной, но и эта земля была вскоре у них отнята, и команчи почти полностью вымерли.

Хэмптонкортские картоны — серия рисунков на библейские темы итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санцио (1483–1520), которые предназначались для воспроизведения на коврах, но так и не были вытканы; одно время эти картоны хранились во дворце английского короля Карла I, Хэмптонкорте (отсюда их условное название).

Имеется в виду эпизод из библии: Иосиф, проданный своими братьями в египетское рабство, мудро истолковал привидевшийся фараону сон о тучных и тощих коровах как предсказание длительного неурожая, посоветовал сберечь на этот случай хлеб и таким образом спас страну от бедствий; за это фараон сделал его первым министром.

Симон де Монфор — граф Лестерский (1206–1265), возглавил борьбу части английских крупных феодалов в союзе с городами за ограничение королевской власти; взял в плен короля Генриха III и его сына принца Эдуарда и на время стал диктатором Англии; убит в сражении; Гэвстон Пьер — сын гасконского дворянина, фаворит английского короля Эдуарда II (1284–1327); пользовался неограниченным влиянием; был обезглавлен по настоянию придворной феодальной знати; Мортимер Роджер (1287–1330) — граф, любовник жены короля Эдуарда II Изабеллы Французской; чтобы захватить английский престол, он добился вместе с Изабеллой заключения короля в тюрьму, где тот был удушен; Вилльерс Джордж, впоследствии герцог Букингемский (1592–1628) — первый министр английского короля Якова I, фактически самолично решал все государственные дела; был казнен королем Карлом I.

Артемус Уорд — псевдоним американского писателя-юмориста Чарльза Феррера Брауна (1834–1867), с которым Твен был лично знаком.

Лактанций — Люций Цецилий Фирмиан, римский писатель-христианин IV века, родом из Африки; автор многих богословских сочинений.

В романы Круглого Стола вплетается мистическая христианская легенда о «святом Граале», то есть о чаше с кровью Христа, якобы собранной при распятии одним из его учеников; в рыцарских романах XII века на поиски этой чаши, как символа нравственного совершенства, отправляются рыцари Персиваль, Ланселот, Говэн и другие.

Имеются в виду многочисленные попытки итальянских и английских мореплавателей (начиная с конца XV века и в течение трехсот лет) открыть морской путь в Китай и Индию мимо северных берегов Америки.

Лига — мера длины.

Имеется в виду город Хартфорд.

В одном эпизоде из библии рассказывается, как мальчишки дразнили «плешивым» пророка Елисея и за это сорок два из них были растерзаны медведями.

Бьюкенен Джеймс (1791–1868) — президент США с 1857 по 1861 год; накануне гражданской войны был весьма непопулярен в народе, как ставленник земельных магнатов Юга и сторонник рабства негров.

Джек Кэд — ирландец, возглавивший восстание английского мелкого дворянства и крестьян против крупных феодалов и королевской администрации (1450); Уот Тайлер — вождь крупного крестьянского восстания в Англии (1381).

Том Сэйерс — английский боксер, Джон Хинэн — американский боксер, — участники сенсационного спортивного поединка, состоявшегося в Англии в 1860 году; Джон Л. Салливан (1741–1795) — американский генерал, прославившийся своей храбростью во время войны за независимость Соединенных Штатов от Англии (1776).

Господствующая церковь.

Округ Колумбия состоит в сущности из одного города — столицы США Вашингтона.

Твен приводит название популярной в 80-х годах XIX века американской песенки; оркестр феи Морганы — сатира на американскую музыку времен Твена, прообраз современного джаза.

Буквально — «старый порядок»; после первой буржуазной революции во Франции этим выражением стали обозначать дореволюционную феодальную Францию и феодальное общество вообще.

Чосер Джефри (1340–1400) — крупнейший писатель английского позднего средневековья; лучшее его произведение «Кентерберийские рассказы» — сборник стихотворных и прозаических новелл, которые якобы рассказывают друг другу паломники по дороге в Кентербери.

В годы малолетства французского короля Людовика XV страной управлял регент — герцог Филипп Орлеанский (1674–1723); это был период упадка дворянской монархии, когда королевский двор, дворянство и духовенство — дошли до крайнего цинизма и распущенности; отсюда выражение: «епископ эпохи Регентства» — как синоним безнравственности.

Все подробности о жизни отшельников, приведенные в этой главе, заимствованы нами из книги Лекки, но сильно смягчены; наша книга — не историческое сочинение, а повесть, и откровенные подробности, изложенные историком, по большей части столь пахучи, что в повесть их поместить нельзя (прим. авт.)

«Страшные слова» янки представляют шуточные комбинации из сложных немецких слов-фраз; первое переводится приблизительно так: «Константинопольская компания по производству вольнок»; второе: «Гнусные попытки нигилистов взорвать динамитом театральную кассу»; третье: «Жалостная комедия свадьбы верблюжьего пастуха, состоящего на тропической транспортной службе Трансваальской армии»; четвертое: «Мастер, изготавливающий мраморные памятники мавританке, матери убийств, учинившей всеобщую резню в Мекке»; последнее «страшное слово» — бессмысленный набор звуков.

Имеется в виду мраморная башня в итальянском городе Пиза, сооруженная в 1174–1350 годах; башня накренилась вследствие оседания грунта, а затем была укреплена и оставлена в наклонном положении.

Кошельки-пистолеты, в виде трубочки, из которой при нажатии пружины выскакивала монета, были в ходу в Америке во времена Твена.

Мильрейс — португальская золотая монета, равная 1000 рейсам; Твен ошибочно считал, что мильрейс равен 1/1000 рейса, а потому приводит его в качестве мелкой монеты.

Гораций Коклес (то есть Одноглазый) — легендарный герой древнего Рима; во время войны с этрусками в 507 году до н. э. он, по преданию, защищал мост через Тибр до тех пор, пока римляне не разобрали мост за его спиной, чтобы преградить врагам вход в Рим; за этот подвиг римляне воздвигли Горацию статую.

Игра на повышение и на понижение — биржевые спекуляции, состоящие в искусственном изменении курса (стоимости) акций.

Отлучение от церкви (или интердикт) — наказание, налагавшееся в средние века римскими папами и католическими епископами на отдельных лиц, области и даже государства; интердикт являлся орудием борьбы пап со светской властью.

Кельтские родовые общины, остатки которых сохранялись в горной Шотландии вплоть до середины XVIII века.